

Р. В. ИЕЗУИТОВА, Я. Л. ЛЕВКОВИЧ

*Пушкин*  
И  
*Петербург*

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ПОЭТА

Санкт-Петербург  
Специальная Литература  
1999

УДК 929 882.0  
И30



**ISBN 5-263-00046-4**

© Издательство «Специальная Литература», 1999

*lib.pushkinskijdom.ru*

**В** 1999 году не только в России, но и за рубежом будет широко отмечаться 200-летие со дня рождения А. С. Пушкина. Его творчество давно стало неотъемлемым культурным достоянием всех народов, а он сам вошел в число «вечных спутников» человечества. И все же, как замечательно сказал В. А. Жуковский, его поэтический наставник, «Пушкин — просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих все, что дорого русскому сердцу».

Пушкина подарил нам XIX век, и вот уже более ста лет воплощенное в его творчестве неисчерпаемое богатство духовных ценностей сохраняет свою актуальность. Его короткая, драматически напряженная жизнь явилась подлинным прорывом в поистине необозримое будущее. Пушкин всегда будет примером многогранной и целостной личности, живым воплощением великой национальной идеи. Отделенный от нас немалой исторической дистанцией, Пушкин тем не менее — наш современник, наставник и учитель на протяжении всей нашей жизни.

Нельзя представить себе детства без пушкинского Лукоморья, населенного сказочными персонажами, дающими первые и незабываемые представления о добре и зле. Особенно близок Пушкин юности с ее дерзаниями, порывами к небывалому и, казалось бы, невозможному, со стремлением вырваться из пут обыденности, с неприятием фальши и деспотизма, какие бы обличья они ни принимали. Зрелый возраст найдет у Пушкина мудрую умиротворенность, нравственное достоинство, которое не могут поколебать никакие сотрясающие мир бури и катаклизмы. Сам не дожив до старости, Пушкин предлагает уходящему из жизни поколению спокойную мудрость и надежду на более светлое продолжение жизни в своих потомках, опору на вечные и незблемые начала бытия. Враждующим народам Пушкин настойчиво советует, «распри позабыв, в великую семью» соединяться, а своему собрату-поэту следовать в творчестве лишь «веленью Божию», отбросив «заботы суетного света».

Великая сила поэзии Пушкина в ее безграничности и неисчерпаемости. Этим определяется постоянное и непрерывное движение научной мысли, пылливо исследующей жизнь и творчество величайшего из русских гениев. Двухсотлетний юбилей Пушкина открывает новые перспективы для более глубокого проникновения в прекрасный мир его творчества.





*А. С. Пушкин*  
Гравюра Т. РАЙТА. 1837

## Введение

Если попытаться собрать вместе все то, что в разное время и по разному поводу Пушкин писал или говорил о Петербурге, картина получится удивительная. Ни один город России, не исключая и Москвы, не упоминается у него столь часто и не вызывает такого постоянного и острого интереса. Многие пушкинские тексты, к какому бы роду и жанру они ни принадлежали, буквально пронизаны Петербургом. Как только он не называет этот город! Торжественно, официально (Санкт-Петербург, Петрополь, Петроград), иногда — с оттенком почтительной иронии (Северный Стамбул), шутливо-фамильярно (Питер, Питербург-городок, Санкт-Питер) и даже несколько пренебрежительно (Чухляндия) и т. п. Какими только эпитетами не наделяет он столицу Российской империи: от восторженно-благоговейных («пышный град Петра», «строгий», «стройный», «полнощных стран краса и диво» и др.) до «Петербурга свинского». Гамма этих определений настолько широка, что, кажется, нет никакой возможности уловить подлинную сущность отношения Пушкина к городу, в котором прошла почти вся его взрослая, сознательная жизнь! Пушкин то тяготился суетой и чопорностью петербургского уклада, то с грустью и нежностью вспоминал «город пышный, город бедный». Много раз уезжал из него по своей и не по своей воле и возвращался опять, снова проклиная «неволю невских берегов». Его поэзия вместила в себя все многообразие ликов и живописных красок этого удивительного города, который стал личной судьбой поэта, настоящей творческой его средой, а в последние годы жизни и домашним, семейным очагом.

Стоит задуматься над тем, почему, любя и прославляя Москву — «России дочь любиму», — поэт предпочитал все же жить в Петербурге. О Москве Пушкин пишет с неизменной нежностью («первопрестольная столица», «древняя столица», «белокаменная матушка-Москва») и совсем уж по-родственному, тепло и интимно («наша матушка»). Иронии в этих высказываниях почти не ощущается. Даже шутливо-снисходительное «москаль» звучит у него добродушно, ибо старинное это слово напоминает о прошлом Москвы, которая есть душа и сердце России, воплощение ее исторической мощи



*Вид Старой площади в Москве*  
С оригинала Ж. ДЕЛАБАРТА. 1799

и силы. Город этот окружен у Пушкина ореолом светлых, дорогих его сердцу воспоминаний: о далеких детских годах, о возвращении из ссылки (славная столица бурно чествовала тогда «прощенного» поэта, которого новый монарх торжественно «возвращал» России). В Москве Пушкин неизменно весел и молод, влюбчив и беспечен. Конечно, здесь тоже служили, выбивались в люди, заботились о карьере, о приумножении доходов, но все же сугубо личные, семейные интересы брали верх, и общий настрой московской жизни был патриархальный, чуждый чопорности и холодной казенщины жизни петербургской. Здесь была лучшая в России «ярмарка» невест, «сборное место для всего русского дворянства, которое из всех провинций съезжалось в нее на зиму». «Тут молодые люди, — вспоминал Пушкин, — знакомились между собой; улаживались свадьбы... Москва славилась невестами, — шутивно замечал он, — как Вязьма пряниками». А еще славилась она своими чудачествами, о которых Пушкин пишет с такой же добродушной и мягкой шутивостью. В Москве как-то сами собой приходили в голову мысли о женитьбе, уютной домашней жизни. Здесь Пушкин встретил свою невесту, женился, зажил своим домом... Но, несмотря на все это, московским жителем он не стал.

Поэта неудержимо тянуло в Петербург.

Уподобляя современную Россию большому барскому дому, Пушкин писал: «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет». И хотя он отдавал явное предпочтение деревне (располагающей к творческим занятиям), он не мог, разумеется, избежать

Петербурга, ибо через него, и только через него, проходил главный путь в глубины национального русского существования.

Город этот был весь повернут к настоящему и будущему России, с ним были связаны лучшие ее надежды и чаяния. Здесь бурлили и кипели все те силы, которые определяли облик современной Пушкину русской и даже европейской жизни. Выбора у него, в сущности, не было: поэту надлежало быть там, где решались и вершились судьбы его Родины.

Пушкин провел в Петербурге в общей сложности около шестнадцати лет. С этим городом связаны годы его отрочества и юности, сначала учеба в Царскосельском лицее (1811—1817), а затем служба в Петербурге (1817—1820), откуда поэт на долгие шесть лет отправился в ссылку. Только в 1827 году Пушкин смог вернуться в Петербург, из которого ему приходилось часто уезжать то в Москву и Михайловское, то в Тверскую губернию, Арзрум или Болдино. Так продолжалось около четырех лет, пока весной 1831 года он окончательно не обосновался в Петербурге. Здесь прошли последние годы его жизни, трагически оборвавшейся 29 января (по старому стилю) 1837 года.

Три десятилетия русской истории (1810-е — 1830-е гг.) получили название пушкинской эпохи, хотя, как известно, современниками поэта были многие выдающиеся люди, прославившие свои имена на всю Россию. Однако именно Пушкин сумел с необычайной художественной силой и многогранностью выразить в своем творчестве эту историческую эпоху, ее великое значение, исключительное богатство ее духовной жизни. По живому голосу поэта, испытывая воздействие этой яркой, неординарной личности, как по камертону, настраивалась вся разнообразная культурная жизнь столицы, в свою очередь мощно влиявшая на историческое бытие России. Архитектурный пейзаж Петербурга оставил неизгладимый след в творчестве Пушкина. Он не только ощутил красоту классически совершенных форм этого города, но и сумел средствами поэтического слова воссоздать гармонически прекрасный образ Северной Пальмиры, «полнощных стран красы и дива».

На страницах произведений Пушкина, таких как «Евгений Онегин», «Домик в Коломне», «Станционный смотритель», «Медный всадник», «Египетские ночи» и другие, Петербург живет яркой и таинственной жизнью. Пушкинские герои обитают не только в прекрасных дворцах и особняках, но и в окраинной Коломне, в уединенных местах Васильевского острова. Мы видим, как по водной глади Невы скользят лодки, слышим, как звучит роговая музыка, а в гавань входят корабли во всем многоцветии флагов. Распахнуты двери театров и концертных залов. Знаменитые люди России встречаются и беседуют с пушкинскими героями.



Петр I

С оригинала БЕННЕРА. 1817

От современности поэт обращается к славным страницам прошлого. В «Арапе Петра Великого» впервые возникает тема Петра I как основателя Петербурга, города-порта в устье Невы, открывшего России пути приобщения к европейской цивилизации. В оставшемся незавершенным труде «История Петра» Пушкин рассказывает о начале строительства города на Неве и прослеживает год за годом возникновение и обустройство любимого детища Петра I. В стихотворении «Пир Петра Первого» основатель Петербурга показан милостивым и мудрым монархом, отцом своих подданных. Работая над «Историей Пугачева», «Дубровским» и «Капитанской дочкой», Пушкин не обходит стороной петербургскую тему: в Кадетском корпусе воспитывался Владимир Дубровский, выпущенный корнетом в гвардию, в царскосельском парке Маша Миронова случайно встречает даму «в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке», которая оказывается государыней Екатериной II, объявившей помилование Петруше Гриневу. События Отечественной войны 1812 года, современником которых был Пушкин-лицеист, воссозданы в «Воспоминаниях в Царском Селе». Казанский собор вдохновляет поэта на создание стихов, посвященных Кутузову («Перед гробницею святой»), Военная галерея Зимнего дворца вызывает в памяти образ



другого героя Отечественной войны — Барклая де Толли («Полководец»). Если к приведенному выше перечню произведений Пушкина добавить послания, адресованные друзьям и добрым знакомым, лирические стихотворения, посвященные прекрасным женщинам, одарившим поэта мгновениями любви и творческого вдохновения, то круг петербургских произведений Пушкина станет еще шире, ибо постепенно весь многообразный мир столичной жизни окажется в орбите пушкинского притяжения.

Петербург нашел в лице Пушкина своего поэта, сумевшего постигнуть душу города, его сокровенную суть. С этого времени его стали называть пушкинским Петербургом, в любви к которому поэт признался на всю Россию, на весь мир:

*Люблю тебя, Петра творенье,  
Люблю твой строгий, стройный вид,  
Невы державное течение,  
Береговой ее гранит,  
Твоих оград узор чугунный,  
Твоих задумчивых ночей  
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,  
Когда я в комнате моей  
Пишу, читаю без лампады,  
И ясны спящие громады  
Пустынных улиц, и светла  
Адмиралтейская игла.*

\* \* \*

Во множестве книг и статей раскрываются широта и многообразие тех жизненных впечатлений, которыми Петербург наделял Пушкина, которые сформировали его личность и помогли его творческому развитию. И все же нельзя сказать, что петербургская биография Пушкина изучена полностью, закрыта для новых к ней обращений.

За последние годы появилось немало документальных публикаций о нем. Но время высвечивает в Пушкине все новые и новые грани, а это ставит перед пишущими о нем авторами задачи, связанные с пересмотром многих ставших привычными суждений. Настала пора присмотреться даже к тому, что до сих пор казалось простым и абсолютно ясным.

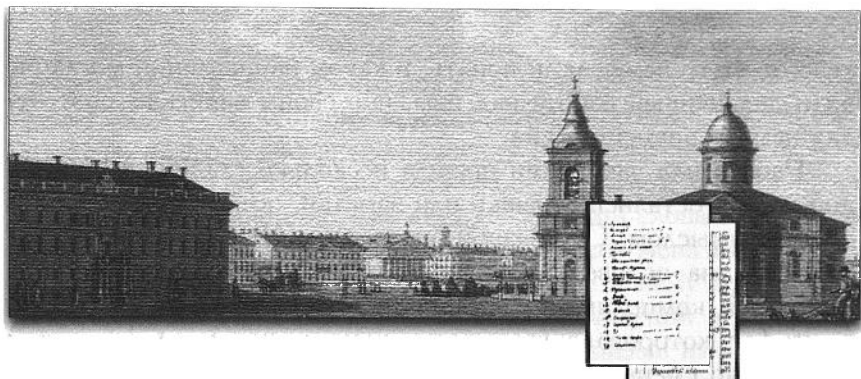
В своей книге авторы — доктор филологических наук Р. В. Иезуитова и кандидат педагогических наук Я. Л. Левкович стремились, опираясь не столько на косвенные свидетельства разного рода, сколько на живое слово самого Пушкина и его современников, раскрыть процесс духовного становления поэта. В книге широко используются



новейшие научные открытия и документальные находки (в том числе и самих авторов книги), приводятся и некоторые пушкиноведческие гипотезы, помогающие разобраться в сложных ситуациях общественно-литературной жизни Петербурга пушкинской поры.

В подборе иллюстраций неоценимую помощь оказали сотрудники Всероссийского музея А. С. Пушкина Е. Н. Иванова и Е. В. Пролет, что позволило использовать для воссоздания зрительного образа пушкинского Петербурга лишь материалы, современные той эпохе. Авторы выражают также благодарность директору музея С. М. Некрасову и главному хранителю Т. Г. Александровой за содействие и консультации.





## «Бояр старинных я потомок»

«**В** 1821 году, — пишет Пушкин в отрывке, который печатается обычно под заглавием „Начало автобиографии“ (1834), — начал я свою биографию и несколько лет кряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства». Нам остается, пожалев вслед за Пушкиным об утрате этого ценнейшего исторического документа, который значительно облегчил бы работу биографов поэта, внимательно всмотреться в то, что уце-



лело от этого замысла, и понять, в каком направлении могла бы идти дальнейшая работа над ним, ибо своим запискам поэт отдал немало времени и сил.

Работа над записками прошла несколько стадий, и от каждой из них остались отрывки или заметки, объединенные неким общим замыслом. От связной биографии (1821—1825), создававшейся на основе дневников и писем, Пушкин двигался к свободной композиции мемуарного повествования. Целостный текст (от которого сохранилось лишь несколько фрагментов) постепенно сменился отдельными и даже вполне самостоятельными зарисовками, которые затем вошли как мемуарные эпизоды в «Опровержение на критики» и в так называемые «Table-talk» (т. е. «Застольные разговоры»). В Болдинскую осень 1833 года Пушкин вернулся к мысли о создании еще одного нового текста записок, и, видимо, тогда же им была написана первая «Программа автобиографии», хронологически доведенная до 1815 года. Она-то и послужит канвой для нашего рассказа о самых ранних петербургских годах Пушкина и о его первых впечатлениях от переезда в Петербург. Позже, т. е. около 1834 года, Пушкин, опираясь на эту хронологическую канву, начнет заново писать свою автобиографию. Сохранившийся фрагмент дает отчетливое представление о том, какой мыслилась Пушкину его биография.

Пушкин не стремился сделать ее историей своей души,— внутренний мир поэта, его искания, победы над собою, «мечтания» и даже «проказы» отразились в поэзии. В ней он изливался до конца, обнажая подчас скрытые пружины своих поступков, настроения и потаенные мысли. Биография мыслилась совсем в ином аспекте: он не отказался от исповеди перед читателем, но не ей принадлежало главное место. Важнее было другое — осознание себя участником исторической жизни, современником значительной эпохи, участником и свидетелем ее великих трагедий, наблюдателем ее величия, скорбным летописцем ее темных деяний. В них должно было отразиться не только и не столько личное, сколько историческое и гражданское самосознание поэта.

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие»,— писал Пушкин в одной из заметок, напечатанных в альманахе «Северные цветы на 1828 год». Поэту было чем гордиться: по отцов-

ской линии он происходил из старинного дворянского рода, насчитывающего к моменту его рождения уже несколько столетий. Летом 1825 года Пушкину пришлось объясняться с Рылеевым, упрекавшим его в дворянской спеси: «Ты сердисься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством». На самом деле, считал Пушкин, его дворянство еще «старее», иными словами, ему более шестисот лет. «Мне досадно, что Рылеев меня не понимает», — жаловался поэт, разъясняя в письме к нему свою позицию: «Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им».

Пушкин всегда интересовался историей своего рода, уходящего корнями в глубь веков. Начиная несколько раз работу над своей автобиографией, он пытался самостоятельно, на основании семейных преданий и сохранившихся исторических документов, выстроить свою генеалогию: «Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорит летописец, т. е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского». В стихотворном памфлете «Моя родословная» (1830), отвечая на оскорбительные выпады Фаддея Булгарина, пытавшегося представить Пушкина безродным потомком арапчонка Ибрагима Ганнибала, поэт напоминал об исторических заслугах своих предков по отцовской линии:

*Мой предок Рача мышцей бранной  
Святому Невскому служил.*

Время исправило историческую ошибку поэта: Александру Невскому служил не Рача (Радша, живший в Киеве задолго до рождения князя), а его правнук Гаврила Алексич, старший дружинник Александра. Спустя несколько столетий потомки Гаврилы Алексича — «новгородская ветвь Пушкиных» — обжиwali земли в устье Невы, на которых уже при Петре I возник Санкт-Петербург. Так волею судеб история связала старинный дворянский род Пушкиных с теми процессами национальной жизни, которые привели в конце концов к появлению на карте Российской Империи новой столицы:

*И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова.*



В истории своих предков Пушкин, принадлежавший к «московской ветви» рода, ценил не богатство и знатность, а прежде всего живое и деятельное участие в жизни России, их причастность к историческому бытию страны, яркую и незаурядную личность многих из Пушкиных, оставивших заметный след в памяти новых поколений. В «Моей родословной» (1830) поэт напоминает об участии своих предков в событиях смутного времени, в избрании на царство Михаила Романова:

*Водились Пушкины с царями;  
Из них был славен не один,  
Когда тягался с поляками  
Нижегородский мещанин,*

*Смирив крамолу и коварство,  
И ярость бранных непогод,  
Когда Романовых на царство  
Звал к грамоте своей народ,  
Мы к оной руку приложили;  
Нас жаловал страдальца сын.*

«Четверо Пушкиных, — уточняет поэт в „Начале автобиографии”, — подписались под грамотою о избрании на царство Романовых, а один из них, окольный Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества... при Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Циклером и Соковниным. Прадед мой, Александр Петрович, был женат на меньшей дочери графа Головина, первого Андреевского кавалера. Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия, зарезав свою жену, находившуюся в родах. Единственный сын его, Лев Александрович, служил в артиллерии, и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года».

Исправляя неточность этого утверждения, отец поэта С. Л. Пушкин, ревниво оберегавший славу своего рода, писал, что его отец «не содержался в крепости 2-х лет; он находился некоторое время под домашним арестом — это правда, но пользовался свободой». Трудями современных исследователей (и прежде всего С. К. Романюка и В. П. Старка) была развеяна семейная легенда Пушкиных о причастности деда Пушкина к событиям 1762 г. и о его заключении в крепость как сторонника Петра III, однако сам поэт был убежден в обратном и не осуждал своего деда (а также других своих предков) за несо-

гласие с волею русских монархов. Он всячески подчеркивал, что дух своеволия, непокорности и упрямства является отличительной семейной чертой рода Пушкиных. Ощущал он присутствие этого духа и в собственном характере. В «Моей родословной», отвечая на клеветнические выпады Ф. Булгарина о «темном» якобы происхождении Пушкина, поэт писал:

***Упрямства дух нам всем подгадил:  
В родню свою неукротил,  
С Петром мой пращур не поладил  
И был за то повешен им.***

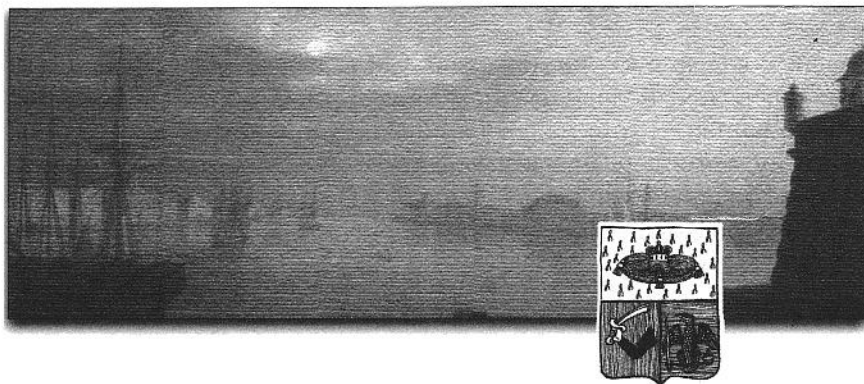
Речь идет о Федоре Матвеевиче Пушкине, который действительно «уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Циклером и Соковниным». Однако он был не повешен, как считал поэт, а обезглавлен. Пострадала и семья Федора Матвеевича, как, впрочем, ранее того и другие представители этого славного рода.

Можно сделать вывод, что допуская отдельные неточности потомок мятежных Пушкиных был прав в главном: оппозиция деспотической воле самых знаменитых русских монархов была-таки отличительной чертой многих его предков по отцовской линии. Она-то и определила дальнейшую судьбу этого некогда влиятельного и богатого рода. В шуточных по тону строфах «Моей родословной» Пушкин пишет о временах Екатерины II, когда «присмирел наш род суровый»:

***Под родовой своей печатью,  
Я кипу грамот сохранил  
И не якшаюсь с новой знатью,  
И крови спесь угомонил.***

Так комментирует поэт далеко не забавные, исторически значимые события, которые привели некогда знаменитый род к оскудению. Дед поэта после событий 1762 года «уже в службу не вступал, и жил в Москве и в своих деревнях». Он был далеко не беден, но уже ни он сам, ни его сыновья не играли в государстве тех ролей, которыми прославились их предки. Сам же поэт писал о себе с тонкой иронией:

***Я грамотей и стихотворец,  
Я Пушкин просто, не Мусин,  
Я не богач, не царедворец,  
Я сам большой: я мещанин.***



## Родовое гнездо Ганнибалов

**П**етровская эпоха, оттеснившая предков поэта по отцовской линии с исторической арены, способствовала возвышению семейства Ганнибалов, к которому принадлежала мать поэта Надежда Осиповна. Надо сказать, что по материнской линии она также происходила из рода Пушкиных. Бабушка поэта, Мария Алексеевна Ганнибал, была внучкой Федора Петровича Пушкина (родного брата пушкинского прадеда Александра Петровича) и доводилась, следовательно, троюродной сестрой своему будущему зятю Сергею Львовичу Пушкину.

В «Начале автобиографии», характеризуя своих предков с материнской стороны, Пушкин писал: «Родословная матери моей еще любопытнее. Дед ее был



негр, сын влиятельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из серала, где содержался он аманатом (заложником. — *Р. И.*), и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году, с польской королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром, но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом».

Далее описывается полная превратностей и ярких событий жизнь Ганнибала, но для нашей темы особое значение имеет тот ее период, когда испытанный возвышения и опалы Ганнибал удалился от дел и поселился в приобретенном им имении Суйда Петербургской губернии, которое Пушкин считал подаренным Ганнибалу благоволившей к нему императрицей Елизаветой Петровной. В «Немецкой биографии» Ганнибала (доставшейся Пушкину от его двоюродного деда, сына Арапа Петра Великого — Петра Абрамовича Ганнибала) сообщается, что основатель дворянского рода А. П. Ганнибал именно в Суйде «начал вторично, как мудрец, деревенскую жизнь в тишине и покое».

Ряд мемуарных источников (в частности «Начало автобиографии» Пушкина) указывают на петербургские земли, с находящимися на них имениями Суйда, Кобринно, Тайцы и др., как на «пожалованные» Абраму Петровичу императрицей Елизаветой. Так, по-видимому, считали дети и внуки Ганнибала. Документально это не подтверждается. В «Духовной А. П. Ганнибала» (полный ее текст опубликован в ценном исследовании Н. К. Телетовой «Забывшие родственные связи А. С. Пушкина») прямо сообщается о «пожалованных» ее императорским величеством в вечное и потомственное владение «имениях» в Псковской губернии («Михайловской губы с принадлежащими к ней усадьбами и деревнями») и о «присовокупленной» Ганнибалом мызе Суйда «со всеми ж к оной мызе принадлежащими деревнями в Ингерманландии» (т. е. в Петербургской губернии).

«Духовная» помимо своего главного назначения — служить при разделе имущества (как движимого, так и недвижимого) между многочисленными детьми Ганнибала, у которого было четыре сына и три дочери, — свидетельствует о намерении Абрама Петровича основать именно в Ингерманландии (т. е. под Петербургом) родовое, семейное гнездо Ганнибалов. С этой



целью с того самого момента, когда, выйдя в отставку, Абрам Петрович зажил «философом» в имении Суйда, он начал постепенно прикупать соседние с нею земли (Елицы, Тайцы), а также создал новую мызу — Руново, предназначая ее для младшего из сыновей — Осипа, родного деда Пушкина. Это показывает намерение А. П. Ганнибала окончательно обосноваться под Петербургом и говорит о той глубокой и неразрывной внутренней связи, которая существовала между Ганнибалом и Петром I. В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин писал: «Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности».

Мы вправе предположить, что и прадед Пушкина, подобно своему главному «благодетелю», не любил Москвы и никогда не стремился в ней жить. Совсем иное дело детище Петра I —



*И. А. Ганнибал*

Неизвестный художник. 1790-е годы

Петербург, где в 1779 году Абрам Петрович построил себе дом, в котором останавливался, приезжая в столицу. «Домом этим, — пишет Н. К. Телетова, — пользуются впоследствии сыновья Иван и Петр». (Дом этот сохранился до наших дней. Его нынешний адрес: ул. Чайковского, 29.) За энергичными действиями А. П. Ганнибала отчетливо просматривается желание связать судьбу своего рода именно с Петербургом.

Так еще до рождения поэта определилась особая, «петербургская» линия его будущего, ибо судьба пушкинских предков по материнской линии с момента основания Петербурга была тесно спаяна с историей новой России. Ганнибалы никогда не были для Пушкина только его предками. Они были в его сознании сподвижниками великих русских монархов, неким историческим звеном, связующим личную судьбу поэта с поворотными моментами в жизни России. Пушкин гордился своим прадедом А. П. Ганнибалом, его сыном И. А. Ганнибалом — «наваринским» Ганнибалом, видным военачальником екатерининской эпохи. Об их исторических заслугах перед Россией поэт напомнил в резко полемических, направленных против Ф. Булгарина (Фиглярина) строфах «Моей родословной»:

*Решил Фиглярин, сидя дома,  
Что черный дед мой Ганнибал  
Был куплен за бутылку рома  
И в руки к шкиперу попал.*

*Сей шкипер был тот шкипер славный,  
Кем наша двинулась земля,  
Кто придал мощно бег державный  
Рулю родного корабля.*

*Сей шкипер деду был доступен,  
И сходно купленный арап  
Возрос усерден, неподкупен,  
Царю наперсник, а не раб.*

*И был отец он Ганнибала,  
Пред кем средь чесменских пучин  
Громада кораблей встлала,  
И пал впервые Наварин.*

Прадед Пушкина еще при своей жизни стремился «застраховаться» от раздоров и разногласий между детьми на почве имущественных притязаний. В своей «Духовной» он четко



определил владения каждого из детей. Суйду он назначал старшему сыну Ивану — Наваринскому Ганнибалу, человеку доброму и благородному; мызу Елицы — Петру (с ним позднее Пушкин будет активно общаться в свои «михайловские» приезды в 1817, 1819, 1824 годах); Исааку — мызу Тайцы и деду поэта Осипу — мызы Руново и Кобрино. Желая предотвратить процесс разорения созданного им дворянского рода, А. П. Ганнибал попытался организовать свои имущественные дела по принципу майората (т. е. создания «неделимого имения», переходящего из рода в род по старшинству). Такого рода процессы наблюдал в свое время и Пушкин. Он писал об «обеднении русского дворянства», происходившем «от раздробления имений, исчезающих с ужасающей быстротою». Прадед Пушкина предотвратить этого также не сумел. Вскоре после смерти А. П. Ганнибала (он умер 20 апреля 1781 года), уже в 1782 году, был произведен новый раздел имущества между его детьми, не по воле покойного (отразившейся в его «Духовной» 1776 года), а «по закону 1731 г.» (отменившему майоратную форму наследования, действовавшему в государстве).

С этого времени, собственно, и начинается история той семейной ветви Ганнибалов, к которой принадлежит Пушкин. Вот как об этом пишет он сам: «Дед мой, Осип Абрамович (настоящее имя его было Януарий, но прабабушка моя не согласилась звать его этим именем, трудным для ее немецкого произношения: *Шорн Шорт*, говорила она, *делат мне шорни репят и дает им шертовск имя*), — дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего». Тогда-то и породнились Ганнибалы с домом Пушкиных.

«И сей брак, — заканчивает свой рассказ Пушкин об Осипе Абрамовиче Ганнибале, — был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостию вмешалась в это дело».

Драматическая коллизия, в которой оказалась М. А. Ганнибал, самым непосредственным образом повлияла и на судь-

бу матери поэта — Надежды Осиповны Ганнибал. Сначала укрытая от Марии Алексеевны и затем ей возвращенная, она по личному распоряжению Екатерины II была взята под опеку старшим из Ганнибалов — Иваном Абрамовичем. Земли О. А. Ганнибала в Петербургской губернии (мызы Кобринно и Руново), доставшиеся ему после раздела 1782 года, специальным указом императрицы от 1784 года были переданы его жене и малолетней дочери. Сам Осип Абрамович вынужден был поселиться в псковском своем имении, селе Михайловском, где и скончался в 1806 году. Еще при жизни он успел передать значительную часть своего «движимого» Устинье Ермолаевне Толстой, той самой женщине, на которой пытался жениться при живой жене и брак с которой был расторгнут по решению Святейшего Синода. Завершая свой рассказ о бурной и неординарной жизни Осипа Абрамовича, Пушкин пишет: «11 лет после того бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Святогорском монастыре». Смерть О. А. Ганнибала, как это ни странно звучит, имела положительные последствия для его дочери, ставшей владелицей имения Михайловское, которому предстояло сыграть столь значительную роль в жизни поэта. С ним оказалась связанной почти вся жизнь Пушкина, начиная с ранних юношеских лет и заканчивая его похоронами в том же Святогорском монастыре, который стал семейной усыпальницей Ганнибалов и Пушкиных.

Вернемся, однако, к концу XVIII столетия, когда «родовое гнездо» Ганнибала в Петербургской округе постепенно начало распадаться, но еще (благодаря И. А. Ганнибалу, владевшему Суйдой) оставалось во владении детей Абрама Петровича. Правда, круг этих владений постепенно сужался: в 1786 году продал Тайцы Исаак Абрамович Ганнибал, в 1792 году расстался с мызой Елицы Петр Абрамович Ганнибал, в самом начале 1800-х годов пришла пора Кобринно и Рунова, а затем рухнул и последний оплот петербургских имений Ганнибалов — Суйда, и потомки Арапа Петра Великого остались лишь псковскими помещиками.

Однако прежде чем покинуть эти места окончательно, семейство Ганнибалов (вплоть до самой смерти Ивана Абрамовича) нет-нет да и соберется в Суйде, в каменном доме, окруженном липовым садом со всевозможными барскими «затаями» —



Н. О. Пушкина

КСАВЬЕ ДЕ МЕСТР. 1800-е годы

островами и скамьей, выдолбленной в гранитном валуне. Или посетит старинную церковь в селе Воскресенском, подле нее покоился прах основателя рода и его жены — прадеда и прабабки великого поэта. «Нет никаких свидетельств, — замечает Н. К. Телетова, — что Пушкин бывал во владениях своего прадеда близ столицы». Однако владения эти самым тесным образом оказались связанными с молодостью его родителей.

Детские годы матери поэта, родившейся в 1775 году, прошли в этих местах, так как

именно ей стали принадлежать с 1784 года Руново и Кобрينو. В Петербурге и его окрестностях встретила она и свою молодость. Интересные подробности об этом периоде ее жизни сообщает Александр Юрьевич Пушкин, племянник Марии Алексеевны Ганнибал, которая, как он пишет, «поселилась в С.-Петербурге, купила в Преображенском полку дом, где и воспитывала Надежду Осиповну, а я с 1785 года находился в Сухопутном кадетском корпусе, почти всякую неделю по воскресеньям и в праздники бывал у них и рос почти вместе с Надеждой Осиповной, которая, не имея родных братьев, любила меня как родного». Жилось, однако, нелегко. В «Программе записок» Пушкин пишет о бедности бабушки и матери. Можно не сомневаться и в помощи им со стороны Ивана Абрамовича, ибо особым пунктом программы в «Записках» стоит: «Иван Абрамович. — Свадьба отца. Смерть Екатерины»: Вот какие разъяснения можно в этой связи найти в воспоминаниях А. Ю. Пушкина: «Сергей Львович был нам по отцу своему внучатым братом; он служил тогда лейб-гвардии в Измайловском полку офицером и часто бывал у Марии Алексеевны, а в 1796 г., во время кончины императрицы Екатерины, женился на Надежде Осиповне; дом свой Марья Алексеевна продала и жила с зятем в Измайловском полку, где в 1797 г. родилась у Сергея Львовича и Надежды Осиповны дочь Ольга».

О ранних петербургских годах родителей Пушкин знал по семейным рассказам. Задумывая свою биографию, он предполагал подробно описать их. В той же «Программе записок» есть разделы, касающиеся отца Пушкина: «Отец и дядя в гвардии. Их литературные знакомства». Поэт, видимо, собирался рассказать о литературных интересах и культурной среде В. Л. и С. Л. Пушкиных, многое объясняющих в детстве самого Пушкина, в особой атмосфере семьи, в которой он рос, а ранее того — и в самом выборе Сергеем Львовичем невесты, которую недаром называли «прекрасной креолкой». К сожалению, эта романтическая пора жизни родителей Пушкина не была им описана, хотя сохранившиеся крупницы достоверных сведений до некоторой степени восполняют этот пробел. Известно, например, что венчались родители Пушкина в церкви села Воскресенского, расположенного вблизи Суйды, и можно предполагать присутствие на свадьбе И. А. Ганнибала, а может быть, и других членов этой большой семьи.

Точный адрес первой семейной квартиры Сергея Львовича и Надежды Осиповны в Петербурге установлен В. П. Старком



*С. Л. Пушкин*

К. ГАМПЕЛЬН. 1824



	29	Внѣ нумъ Гербстаре иои доверн Гейца дарва николаевои доороган Ег ловѣв Гемилъ Исфаромовъ нума Московская Цехова Вдова Марфа Терасинова	ум Ма ца во Ма тол реса
73	21	Водворъ полеснаго р дистратора ивама са силево шварцова Удѣ во Мозора Тергя Хсод га пушкина родился свѣ Александръ Грѣшнѣв Гомн в дня воспріемникъ Трафѣ артѣмій Ивановичъ веро цовъ нума матѣознате каго Тергя пушкина вдов ва олеа василевна пу шкина	1868 ум ти дир Сни сла рѣв але лѣт сѣл ум но аат ива ро ант рѣ
74		Водворъ Барона голдр карлѣ Еррова унлицѣ во Готонн марѣ вла Димировѣ Илвикон	

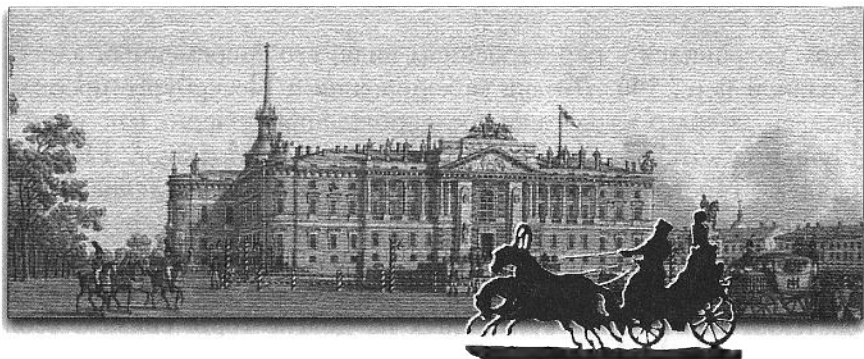
Метрическая запись о рождении А. С. Пушкина



(дом сохранился в перестроенном виде, его современный адрес: Соляной пер., 14). Жизнь молодоженов в Петербурге продолжалась недолго — вскоре после рождения дочери, как пишет Пушкин, «отец уходит в отставку, едет в Москву». Первый раздел «Программы» заканчивается словами «рождение мое».

Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года — т. е. в канун нового столетия. В этом, несомненно, заключен особенный и даже символический смысл. Удалившаяся от служебных и светских забот семья Пушкиных на долгие годы связала себя с неторопливым и ровным укладом московской жизни. В Москве охотно селилось старинное русское барство, к которому С. Л. Пушкин принадлежал по своему рождению. В Москве будущий поэт ощущал себя Пушкиным, в Петербурге чаще вспоминались Ганнибалы.





## «Видел я трех царей...»

**Д**ела, однако, требовали присутствия Надежды Осиповны в Петербурге: переселившись окончательно в Москву, необходимо было решить и судьбу принадлежавших ей мыз. Уже осенью 1799 года, т. е. когда Пушкину было всего несколько месяцев, семья приезжает в Петербург. О причинах столь срочной поездки можно только догадываться. Тот же А. Ю. Пушкин пишет: «...наш полк в то время был уже в походе, где я и получил об рождении Александра Сергеевича от сестры письмо, что он на память мою назван Александром; а я заочно был его восприемником. В конце того же года, возвратясь из похода в Москву, я уже Сергея Львовича с семейством не застал; они уехали к отцу своему Осипу Абрамо-

вичу в Псковскую губернию в сельцо Михайловское, а Марья Алексеевна в Петербург для продажи Кобрина».

Осень 1799 года застала родителей поэта в Михайловском. Причины этой неожиданной поездки могли заключаться как в желании О. А. Ганнибала увидеть зятя и внуков, так и в необходимости оговорить деловую сторону задуманной продажи Кобрина. К сожалению, мы не располагаем более точными сведениями на этот счет, как не знаем и того, брала ли Н. О. Пушкина крохотного Александра с собою в довольно утомительную по тем временам поездку, или же он оставался в Петербурге на попечении бабушки. Зато совершенно очевидным является то, что новая беременность Н. О. Пушкиной, возраст ее детей (Ольги и Александра) не позволяли семейству вернуться в Москву тогда же, осенью 1799 года. Пушкины зимовали в Петербурге, где, скорее всего, жили вместе с М. А. Ганнибал в Литейной части (Соляной пер., 14). Эта квартира, видимо, является первым петербургским адресом и самого Пушкина. Здесь начинается его петербургская биография.



*Павел I*

С оригинала БЕННЕРА. 1817



Первые месяцы жизни поэта ознаменовались для него событием историческим — его первой встречей с императором Павлом I, положившей начало драматической истории отношений поэта с русскими самодержцами. Пушкин был склонен считать эту не совсем обычную встречу неким предвестием тех бурных событий, которыми в дальнейшем была отмечена его жизнь. В письме к Н. Н. Пушкиной от 20 и 22 апреля 1834 года он писал: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим теской; с моим теской я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями!» Так, в шуточной и одновременно иронической манере, пишет Пушкин о начале своих «ссор» с царями, которыми была полна вся его жизнь.

Где же состоялась эта первая встреча? С чьих слов знает о

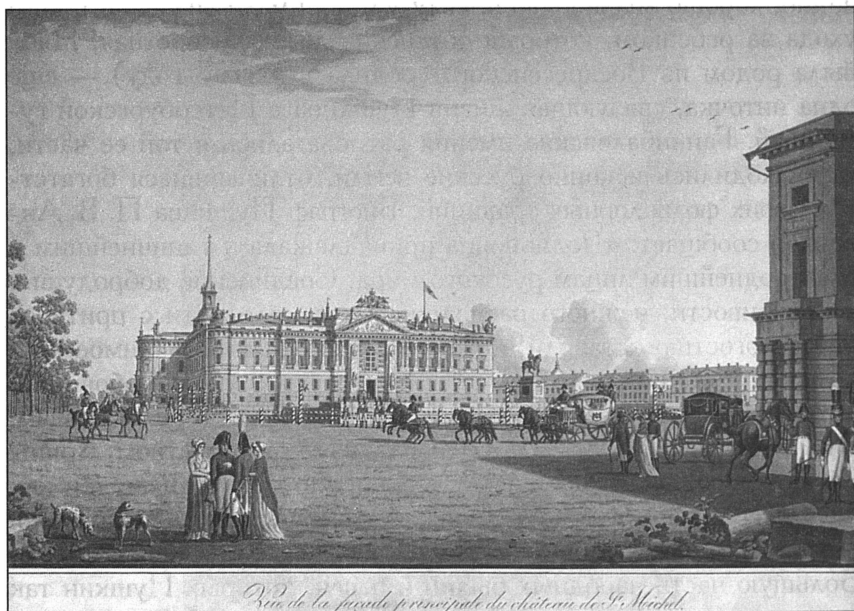


*Мария Федоровна, императрица*

С оригинала БЕННЕРА. 1817

ней Пушкин? К какому времени она относится? На каждый из этих вопросов можно попытаться дать ответ.

Нет никакого сомнения в том, что происходило это в Петербурге и, скорее всего, где-то ранней осенью 1800 года. Более точной датой мы не располагаем, но если вспомнить, что Пушкину только в конце мая 1800 года исполнился год, то аргументы в пользу осени получают дополнительный вес. До того времени ребенок едва ли начал ходить. Он, скорее всего, сидел бы на руках у няни, и даже такой самодур, как Павел I, не смог бы потребовать строгого соблюдения этикета от младенца. Иное дело малолетний подданный, которого ведут за руку! Важная деталь, упоминаемая Пушкиным, — снятый с него нянькой по требованию императора картуз. Она свидетельствует также в пользу осени с ее прохладной погодой. Как бы то ни было, но для Пушкина встреча эта явилась первым проявлением какого-то, пусть невольного, неосознанного, но неповиновения, может быть, первым знаком тяготевшей над ним судьбы — «писать стихи да ссориться с царями». Недовольство первого из них —



Михайловский замок

Г. ЛОРИ, с оригинала Б. ПАТЕРСЕНА. 1804



Павла I — будущий великий поэт сумел заслужить уже на втором году своей жизни.

Как пишет Ю. Тынянов в своем замечательном романе «Пушкин», это происшествие напугало родных поэта, и оно, видимо, не раз служило темой воспоминаний и разговоров в кругу родственников. Впоследствии семейное предание было заново им осмыслено и поставлено в особый ряд.

Из лаконичной записи Пушкина следует, что единственной свидетельницей драматического происшествия его первых детских лет была няня. Она же была и первой рассказчицей об этой встрече.

У детей Пушкиных, по воспоминаниям сестры поэта Ольги Сергеевны, было, как принято в дворянских семьях прошлого столетия, несколько нянь. Поначалу за будущим поэтом ходила нянька Ульяна (родилась в 1767 году), а более опытная Арина Родионовна оставалась при его сестре Ольге.

Вскоре подросший мальчик был также передан ей, но это произошло не ранее 1805 года. Родители Пушкина (о которых мы судим обычно слишком строго и подчас поверхностно), очевидно, хорошо знали свою прислугу и понимали значение такого ухода за ребенком, который обеспечивала их крепостная. Няня была родом из Воскресенского (родилась в 1758 году), — еще одна ниточка, связующая жизнь Пушкина с Петербургской губернией. Ганнибаловские имения располагались в той ее части, где находились исконно русские земли, отличавшиеся богатством своих фольклорных традиций. Биограф Пушкина П. В. Анненков сообщает: «Родионовна принадлежала к типичнейшим и благороднейшим лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостью оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною, неизменною любовью и, в годы возмужалости и славы, беседовал с нею по целым часам. Это объясняется еще и другим важным достоинством Арины Родионовны: весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностью, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народной поэзии и впечатлениями ее».

Образ няни, созданный Пушкиным, прекрасен в своей простоте и сердечности. Он проходит через всю творческую жизнь поэта, через годы гонений и испытаний. «Подруга дней моих суровых», — писал о няне поэт в посвященном ей стихотворении. Такой она останется для Пушкина до конца ее дней. Она скончалась после недолгой болезни 29 июля 1828 года в Петербурге, в доме О. С. Павлищевой (Пушкиной). Похоронена Арина Родионовна на Смоленском кладбище. В Кобрине же в сохранившемся до нашего времени домике няни ныне находится музей.

До нас дошло собственное свидетельство Пушкина о его первой встрече и с преемником Павла I, воцарившимся на престоле далеко не самым безупречным образом, с императором Александром I, которому предстояло сыграть в жизни Пушкина одну из мрачных ролей. Она произошла в Москве, во время одного из немногих приездов императора в древнюю столицу, которую, как заметит Пушкин, этот монарх также не любил. В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин писал:



Александр I

С оригинала БЕННЕРА. 1817



*Елизавета Алексеевна,  
императрица*

С оригинала БЕННЕРА. 1817

«В 1810 г. первый раз я увидел государя. Я стоял с народом на высоком крыльце Николы на Мясницкой. Народ, наполнявший все улицы, по которым должен он был проезжать, ожидал его нетерпеливо. Наконец показалась толпа генералов, едущих верхами. Государь был между ними. Подъехав к церкви, он один перекрестился, и по сему знаменью народ узнал своего государя. Через два года перед началом войны — государь опять явился в древней столице, требуя содействия от своего дворянства, которое славно отвечало ему устами графа Мамонова. В 1818 году приехал он в Москву, восстановленную и обновленную. Во время присутствия державного семейства пушечная пальба возвестила Москве рождение в. кн. Александра Николаевича».

Что же касается третьего из императоров, Николая I, то, если не считать случайных встреч в Царском Селе, где в лицейские годы воспитывался Пушкин и где царская фамилия прово-





*Великий князь Николай Павлович,  
будущий император Николай I*

С оригинала БЕННЕРА, 1817

дила обычно вторую половину лета, поэт встретился с ним лицом к лицу в Чудовом дворце в Москве, куда был вызван из михайловской ссылки и где после более чем часовой беседы с царем был «прощен» и возвращен в столицу. История взаимоотношений Пушкина с Николаем — одна из самых драматических страниц его биографии — начнется значительно позднее, в эпоху, наступившую в России уже после поражения декабрьского восстания.

Возвращаясь к ранним детским годам поэта, отметим, что 1800 год — важная веха в его биографии; здесь как бы обрываются последние нити, связывающие семейство Пушкиных с Петербургом. Осенью семейство (исключая бабушку Марию Алексеевну) возвращается в Москву: в «Исповедных ведомостях» московского церковного прихода родители поэта упоминаются лишь с весны 1801 года. В том же 1800 году, несколько позже (видимо, устроив все дела по продаже петербургского



*Великая княгиня  
Александра Федоровна,  
будущая императрица*

С оригинала БЕННЕРА, 1817

имения), уезжает из столицы Мария Алексеевна, а Кобрино и Руново переходят к другим владельцам (Ш. К. Жандр и сестрам Жиоржи). На вырученные за них деньги покупается подмосковное имение Захарово.

Десять ранних лет жизни Пушкина прошли в Москве и Захарове.

В «Программе автобиографии» этому периоду уделен особый раздел, в одном из последних пунктов которого снова появился Петербург: «Охота к чтению. Меня везут в Петербург. Езуиты. Тургенев. Лицей».





## «Меня везут в Петербург...»

**Т**ысяча восемьсот одиннадцатым годом помечен в пушкинской «Программе автобиографии» особый период. Он обозначает начало жизни в Петербурге и первые месяцы пребывания в Лицее.

О чем же собирался рассказать поэт? Прежде всего (и, видимо, подробно) о своем дяде Василии Львовиче Пушкине, ибо с ним оказался связанным переезд в Петербург и поступление в Лицей.

До полных своих двенадцати лет, проведенных почти безвыездно в Москве (а в летние месяцы — в Захарове), Пушкин находился на попечении домашней прислуги и гувернеров. Вспоминая эти ранние годы, Пушкин писал: «В России домашнее воспитание есть



*О. С. Павлицева (сестра А. С. Пушкина)*

Е. А. ПЛЮШАР. 1830-е годы

самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем». Семейство Пушкиных вовсе не составляло исключения из общего для всего дворянского сословия правила, скорее даже наоборот, отражало некую «среднюю» норму, принятую в привилегированных классах общества. Вот как пишет об этом первый биограф Пушкина П. В. Анненков: «Воспитание детей в семействе Пушкиных не отличалось от общепринятой тогда системы. Как и во всех хороших домах того времени, им наняли гувернантов, учителей и подчинили их совершенно этим воспитателям с разных концов света». Родители будущего поэта не уклонялись (как нередко утверждается в пушкиноведческой литературе) от участия в



*Л. С. Пушкин (брат А. С. Пушкина)*

А. О. ОРЛОВСКИЙ. 1820-е годы

процессе воспитания детей, но следовали прочно сложившейся в их среде традиции — не вмешиваться во взаимоотношения учеников и их наставников. Это нередко приводило к драмам, порою даже весьма серьезным. (В «Программе» имеются на этот счет глухие намеки.) Так, после упоминания имени одного из гувернеров (Русло) следует фраза «нестерпимое состояние».

Иностранцы гувернеры, которым русские дворянские семьи поручали воспитание своих детей, не ставили перед собою каких-либо сложных и ответственных педагогических задач. Они обучали языкам, свободному и непринужденному поведению, умению держать себя в свете. Не стремились они и к строгой систематичности знаний. Обязательных учебных программ тогда не существовало, и знания, полученные от гувернеров, носили по большей части случайный и поверхностный характер. Юный Пушкин мало вынес из такого обучения и в известных строках своего «Онегина» («Мы все учились понемногу/Че-



му-нибудь и как-нибудь») совершенно точно определил характер подобного домашнего воспитания.

Родители поэта, люди образованные и просвещенные (в особенности С. А. Пушкин), не могли не понимать существенных недостатков подобной педагогической системы. Осознавая свою неспособность всерьез заняться детьми, они (и в этом едва ли можно сомневаться) намеревались дать сыновьям (и особенно Александру как старшему из них) надлежащее образование, соответствующее дворянскому достоинству и положению семьи в свете. Они стремились подготовить каждого из них к служебной деятельности, хотя, разумеется, не совсем отчетливо представляли себе, какому роду службы отдать предпочтение. Эти колебания отражаются в соответствующих записях «Программы»: «Езуиты» (имеется в виду Иезуитский пансион в Петербурге. — *Р. И.*) и «Лицей», в которых идет речь о продолжении учебы юного Пушкина.

Менее всего Сергей Львович и Надежда Осиповна думали о своем сыне как о будущем поэте (хотя поэтические наклонности, как об этом в один голос говорят все свидетели детских лет Пушкина, проявлялись у него с самого раннего возраста). Пушкина не готовили к литературному поприщу. Семейная обстановка благоприятствовала, однако, созреванию поэтического дарования Пушкина: в числе ближайших друзей семьи были Карамзин, Дмитриев, Жуковский, а незадолго до отъезда в Петербург и Батюшков. Именно в доме родителей, интересовавшихся литературой и принимавших у себя лучших литераторов, будущий поэт пристрастился к чтению книг. Недаром «охоту к чтению» Пушкин считал важнейшим занятием в детские годы и в «Программе» собирался посвятить ей особый раздел. Возможно, поэт вспоминал при этом те бессонные ночи, которые он тайком проводил в библиотеке своего отца, буквально «пожирая без разбора» (как выражался П. В. Анненков) все попадавшиеся ему под руку книги. Пользовался он также богатыми книжными собраниями дяди Василия Львовича Пушкина и дальнего родственника Дмитрия Петровича Бутурлина.

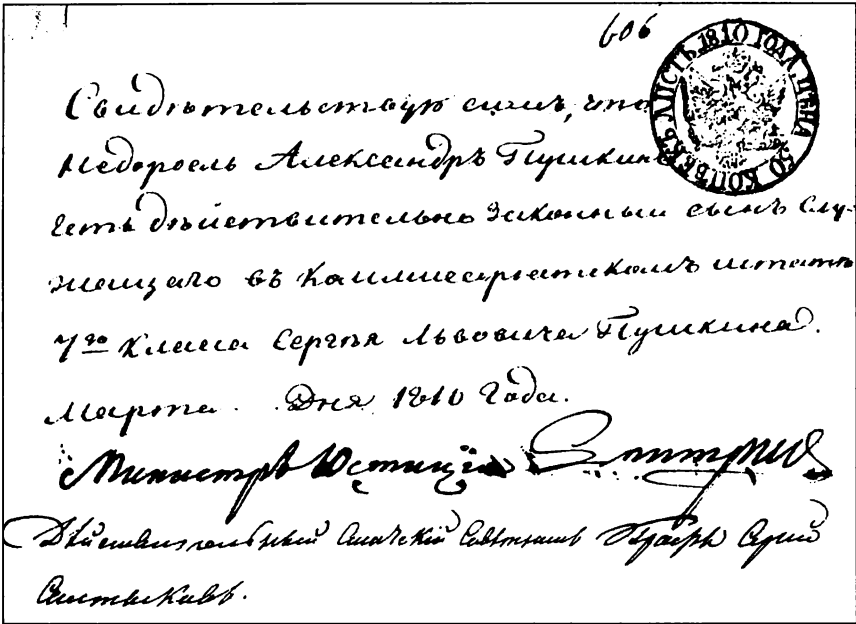
Домашнее воспитание, при всей его несистематичности и сумбурности, — существенная веха в духовном становлении Пушкина-ребенка. Замечательно точно сказал об этом самый близкий из лицейских друзей Пушкина Жанно (Иван) Пуштин: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о

чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал высказываться и важничать, как это часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-либо выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым, признак доброй почвы».

Приняв решение об образовании сына в закрытом учебном учреждении, родители Пушкина не остановили свой выбор на Университетском благородном пансионе (одном из лучших закрытых учебных заведений страны), что было бы более естественно: пансион находился в Москве, и его кураторами и попечителями в разное время были люди из литературной и общественной среды, близкой Пушкиным, — И. П. Тургенев, М. Н. Муравьев. Директором же пансиона в начале 1800-х годов был А. А. Прокопович-Антонский, с которым дружили А. И. Тургенев и Жуковский. Московские друзья, вне всякого сомнения, помогли бы Сергею Львовичу определить сына в Университетский пансион. Однако выбор пал на Петербург, и в этом нельзя не увидеть последовательно проводимого в жизнь родителями Пушкина плана — открыть сыну с помощью столичного образования путь в высокие служебные сферы, помочь ему прочно стать на ноги. Для этой цели сначала был избран иезуитский коллегиум (или пансион), где обучались дети аристократов, известных сановников и высшей знати. Для «устройства этого дела, — отмечает П. В. Анненков, — родители Пушкина специально ездили в Петербург».

В 1811 году стало известно об организации нового учебного заведения для юношества — Царскосельского лицея.

Совершенно новой и неожиданной была сама идея — образовывать вблизи одной из летних царских резиденций, чуть ли не в самом дворце, учебное заведение государственного типа, положив в его основу наиболее передовые и смелые педагогические принципы. Первоначально предполагалось, что именно здесь завершат свое образование великие князья Николай и Михаил Павловичи. Правда, от этой мысли отказались почти сразу — отрицательно отнеслась к такому проекту их мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Однако особое



Свидетельство, выданное недорослю Пушкину  
при определении его в Лицей. 1810

внимание к вновь созданному заведению со стороны императора и членов царской семьи резко выделило Лицей из числа существовавших в то время частных и государственных пансионов. Лицеом заинтересовались дворянские семьи, желавшие дать своим детям образование в привилегированном учебном заведении.

Царскосельский лицей возник на волне либерального движения, вызванного проектами реформ М. М. Сперанского. Поначалу активно поддержанный Александром I, знаменитый реформатор ставил своей целью «правление, доселе самодержавное, учредить на непрременном законе». Создание учебного заведения нового типа было призвано «образовать юношество, особенно предназначенное к важным частям службы государственной». Автором проекта «Постановления о Лицее» был сам Сперанский, стремившийся подготовить для России эрудированных, широко мыслящих деятелей, способных управлять страной на новых, конституционных началах. Создание Лицея — одно из последних начинаний Сперанского (вскоре его постигла





*М. М. Сперанский*

П. Ф. СОКОЛОВ. 1830-е годы

жестокая опала). Оно завершило собою «дней Александровых прекрасное начало», постепенно сменившееся ара́кчеевщиной и отказом от осуществления намеченных ранее реформ.

Много позднее, в апреле 1834 года, посетив Сперанского, звезда которого вновь взошла при Николае I, Пушкин записал в дневнике свой разговор с ним: «Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: „Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как Гении Зла и Блага“». Живым олицетворением этого Блага был, несомненно, Лицей.

Сперанский и те, кому предстояло проводить в жизнь принципы, провозглашенные в проекте «Постановления» (прежде всего директор Лицея В. Ф. Малиновский, к сожалению рано умерший), отнеслись к этому делу с полной серьезностью. Лицей собрал под одной кровлей блестящее созвездие педагогов-просветителей — А. П. Куницына, И. К. Кайданова, Н. Ф. Кошанского, П. Е. Георгиевского и других подлинных энтузиастов



своего дела, влияние которых на духовное формирование лицеистов оказалось огромным и плодотворным. Лицейские наставники — по большей части высокообразованные люди — прошли серьезную подготовку в лучших учебных заведениях России и Европы. Воспитанниками Московского университета были В. Ф. Малиновский и Н. Ф. Кошанский, Петербургского педагогического института — А. П. Куницын, А. И. Галич, И. К. Кайданов, Я. И. Карцев. Некоторые из них слушали лекции в лучших европейских университетах. Каждый из наставников Лицея оставил глубокий след в жизни юных лицеистов, со многими из них выпускники поддерживали отношения и в дальнейшем.

Лицейское воспитание, основанное на передовых педагогических идеях, активно противостояло рутине и кастовой замкнутости принятых в то время методов обучения. Рассчитанная на шесть лет, программа обучения включала русский и иностранные (французский, немецкий, латынь) языки, историю и словесность, статистику и политическую экономию, математику и изящные искусства (занятия живописью и рисованием). С переходом учеников на старший курс (последнее трехлетие) программа становилась более сложной: воспитанникам по существу читали университетские курсы. Лицейские лекции легли в основу ряда книг, изданных позднее, например таких значительных, как «Право естественное» А. Куницына (она стала одной из причин гонения на университеты), «Риторика» Н. Кошанского (издания 1829 и 1832 годов), «Опыт науки изящного» (1826) и двухтомная «История философских систем» (1818—1819) А. Галича. Отразились эти лекции и в учебниках по истории И. Кайданова, служивших пособием в учебных заведениях начала XIX века. Распространенное в популярной пушкиноведческой литературе мнение, что за исключением, пожалуй, А. Куницына и А. Галича, лицейские профессора были сухими педантами и схоластами, не имеет серьезных оснований. Лицей, вне всякого сомнения, был лучшим в России учебным заведением в системе государственного образования. Не случайно поэтому число родителей, пожелавших определить в него своих детей, оказалось весьма значительным. Однако был произведен тщательный отбор кандидатов, допущенных к испытаниям, отобраны 30 мальчиков 11—14-летнего возраста из числа лучших, хотя и не обязательно самых богатых или знатных се-

мейств русского дворянства. Анненков справедливо указывает на помощь Сергею Львовичу в этом деле не только А. И. Тургенева, но и самого директора Лицея В. Ф. Малиновского, с которым отец поэта был дружен и близко знал его братьев, живших в Москве.

«Василий Львович, — пишет Анненков о дяде поэта, — привез племянника в Петербург и держал его у себя, пока он приготавливался к экзамену». Дядя поэта В. Л. Пушкин, один из известнейших московских литераторов, был остроумен, забавен, но при этом простодушен и доверчив. Служил Василий Львович постоянной мишенью для острых и даже язвительных дружеских шуток, однако умел, когда надо, сразить эпиграммой или сатирическим памфлетом литературного противника, невежду или чиновного льстеца. В. Л. Пушкин был опытейшим литературным бойцом, охотно участвовал в стихотворных баталиях сторонников Н. М. Карамзина с его литературными противниками, объединившимися вокруг А. С. Шишкова, личности по своему также весьма примечательной.

Адмирал в отставке, А. С. Шишков был одним из самых яростных приверженцев «старого слога», образцы которого находил не только в памятниках церковнославянской письменности, но и в творчестве «старинных российских стихотворцев» (и Ломоносова прежде всего). Литературную славу принесло ему вышедшее из печати в 1802 году «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», в котором Шишков резко выступил против карамзинской языковой реформы с позиций, как он заявлял, патриота, озабоченного современным состоянием отечественной словесности. Ее упадок произошел, по мнению этого автора, от увлечения всем чужеземным, от забвения коренных основ национальной культуры. В консервативно настроенных кругах шишковское «Рассуждение...» с его резкими выпадами против Карамзина было воспринято в качестве манифеста и послужило сигналом к полемике. Сторонникам же Карамзина, в число которых входил и В. Л. Пушкин, оно помогло теснее сплотиться на платформе защитников «нового слога».

Такова была предыстория той ожесточеннейшей войны карамзинистов и шишковистов, которая особенно остро разгорелась в 1811 году, когда сторонники Шишкова образовали в Петербурге литературное общество «Беседа любителей русского слова».



*А. С. Пушкин*

А. Ш. О. ВЕРНЕ. 1-я четверть XIX в.

Приезд в Петербург в 1811 году в разгар «войны с Шишковым» (как определит Пушкин в «Программе автобиографии» ситуацию в петербургских литературных кругах в момент своего появления в столице), конечно же, способствовал формированию эстетических взглядов будущего поэта. Усвоив еще в детские годы уважительное отношение к Карамзину, Дмитриеву, Жуковскому и другим московским карамзинистам, Пушкин оказался внут-

ренне подготовленным к сознательному восприятию тех идей, которые отстаивал карамзинский лагерь. Надо полагать, мальчик с интересом прислушивался к разговорам Василия Львовича на литературные темы.

Поэзия, стихотворство составляли не только главный, но, пожалуй, и единственный смысл существования В. Л. Пушкина. Василий Львович обычно находился в возбужденном состоянии от обуревавших его впечатлений и чувств. Совместная жизнь с ним в течение нескольких месяцев была для юного Александра Пушкина вхождением в самую гущу русской литературной жизни, постижением всех ее больших и малых событий, узнаванием многих сложностей и тонкостей литературного быта.

В «Программе» вслед за упоминанием Василия Львовича следуют три литературных имени (Дмитриев, Дашков, Блудов), а затем загадочная фраза «Война с Ш.». Пушкинисты по-разному прочитали эту неразборчивую запись. Некоторые полагали даже, что речь идет не о «войне», а «возне», так как далее следовало неразобранное слово (точнее, буква), а затем инициалы А. Н., под которыми подразумевалась Анна Николаевна Ворожейкина, гражданская жена Василия Львовича (о шутилке «возне» с ней пишет в своих воспоминаниях И. И. Пущин, познакомившийся с Пушкиным еще до поступления в Лицей). Между тем известный пушкинист Б. В. Томашевский совершенно правильно, на наш взгляд, прочел неразборчивый текст

как «война с Ш.», но не объяснил, кого же имел в виду Пушкин под литерой «Ш.». Контекст записи не оставляет сомнения в том, что речь идет о войне с Шишковым и о том участии, которое приняли в ней молодые петербургские литераторы, упомянутые в «Программе». Дашков написал полемическую статью против работ Шишкова, названную «О легчайшем способе возражать на критики». Блудов и Дашков, с которыми Пушкин будет не раз встречаться позднее, первыми дерзнули выступить против Шишкова в открытую. Приехавший в Петербург Василий Львович поспешил встретиться с этими полемистами и с головою ушел в литературные баталии. Юный Пушкин вникал в их рассуждения и споры, быстро схватывая самую суть. Вражда с Шишковым и его окружением, неприятие «Беседы» и «беседчиков» вошли неотъемлемой частью в его собственную творческую биографию.

Ярким литературным впечатлением петербургской жизни юного Пушкина стало знакомство с только что созданной фривольной поэмой «Опасный сосед», прославившей Василия



*В. Л. Пушкин*

И. О. ВИВЬЕН. 1823 (?)



Львовича едва ли не больше, чем его серьезное творчество. Именно эта — смешная, талантливо написанная — поэма породила музы юного гения и его парнасского дяди.

Иначе складывались отношения с Дмитриевым, которого Пушкин знал с самых ранних детских лет. В 1811 году именитый поэт занимал пост министра юстиции и проживал в Петербурге. Человек сдержанный и даже холодный, он во всем избегал крайностей. Он был осторожен и уклончив и, в полную противоположность экспансивному Василию Львовичу, не торопился оказать помощь ближнему или ввязаться в острые литературные баталии. Дмитриев в это время — важный государственный сановник, и даже «Беседа любителей русского слова» (детище адмирала Шишкова), не особенно колеблясь, выбирает его почетным членом. Он словно создан украшать собою пышные церемонии и собрания, его уважают и молодые, пылкие карамзинисты, и их седовласые, важные и суровые противники. Можно предположить, что летом — ранней осенью 1811 года вместе с дядей Василием Львовичем Александр не раз побывал у Дмитриева. Но сановный поэт (в своем творчестве он исповедует совершенно иные, более демократические идеалы и пролагает пути молодой, становящейся литературе), видимо, не внушил юному Пушкину особой симпатии. Позднее, в 1820 году, их отношения осложнились из-за поэмы «Руслан и Людмила», которую Дмитриев принял холодно, не оценив ее смелых поэтических красот. Из Кишинева Пушкин писал Гнедичу, задетый придирками Дмитриева, воспитанного на французских классиках: «...посмотрим, где очутится Ив. Ив. Дмитриев — со своими чувствами и мыслями, взятыми из Флориана и Легве». Дмитриев не оказал помощи и родителям Пушкина во время тяжбы Н. О. Пушкиной с Петром Абрамовичем Ганнибалом, предъявившим ей счет по долгу покойного ее отца. На ее имение Михайловское был наложен арест, но И. И. Дмитриев как министр юстиции не помог семье своих друзей и дал санкцию на предъявление Н. О. Пушкиной иска Ганнибала. Однако в более поздние годы, когда И. И. Дмитриев явно «подобрел» к поэту (хотя замечательный талант юного Пушкина он признавал с самого начала), Пушкин постепенно сблизился с живущим уже в Москве на покое литературным патриархом, знавшим многое и многих: во время своих приездов в Москву Пушкин бывал у него и даже записывал его рассказы.



*И. И. Дмитриев*

Неизвестный художник. 1806—1810

Дмитриева-поэта Пушкин оценивал неоднозначно. Ценил его поэтический дар, он был равнодушен к басенному творчеству Дмитриева, отдавая явное предпочтение крыловским басням. При первых своих встречах с Дмитриевым юный Пушкин присматривался к маститому поэту. Однако он не стал его кумиром, как, спустя несколько лет, другой из москвичей — Карамзин.

В первый приезд в Петербург Пушкин волею судеб оказался в самой горячей точке русской литературной жизни, среди наиболее активных и деятельных противников Шишкова. Он смог близко наблюдать «войну» с «Беседою» не со стороны, по рассказам и слухам, а изнутри противоположного лагеря. Возможно, тогда далеко не все в этой вражде он до конца понял и воспринял, но именно петербургские встречи 1811 года заложили прочный фундамент будущих художественно-критических симпатий и антипатий Пушкина. Недаром еще на лицейской



скамье Пушкин не задумываясь встал под знамена карамзинистов. Путь его в «Арзамас», шутовское литературное общество, созданное в 1815 году горячими приверженцами Карамзина и не менее яркими противниками «Беседы», был предопределен той культурно-бытовой средой, в которой началась сознательная жизнь Пушкина. Эти же ранние петербургские впечатления дадут о себе знать и в годы учебы в Лицее, где окончательно определяются его литературные ориентации.

О том, какими были первые месяцы пребывания Пушкина в Петербурге и какое впечатление произвел на него знаменитый столичный город, мы узнаем из воспоминаний И. И. Пущина. Познакомившись с Александром Пушкиным во время приемных испытаний в Лицей, проводимых министром народного просвещения А. К. Разумовским, Пущин обратил внимание на ум и находчивость своего нового товарища. Встреча с таким человеком, как Иван Пущин (лицейское его прозвище — Жанно), в пору духовного становления будущего поэта принадлежит к числу больших его жизненных удач. Для Пушкина — это первый и самый близкий ему по духу друг. Недаром в посвященном Пущину послании, переданном с Александрой Муравьевой в Сибирь, Пушкин обратил к нему слова горячей благодарности за поддержку в трудный час (Жанно посетил опального поэта в Михайловском) и за те искренние дружеские чувства, которые Пущин питал к Пушкину с самой первой их встречи и до конца своих дней. «Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин поступает в Лицей, то на другой день отправился к нему как к ближайшему соседу», — сообщает Пущин.

Василий Львович Пушкин с племянником сначала поселились в отеле «Бордо» (современный адрес: наб. Мойки, 82), но к моменту приемных экзаменов в Лицей перебрались на более дешевую квартиру, в дом купца Николая Кувшинникова (наб. Мойки, 13).

Пушины жили тоже на Мойке, в близком соседстве (наб. Мойки, 14). Трехэтажный дом, украшенный балконами и аркой, принадлежал деду Жанно — адмиралу екатерининских времен Петру Ивановичу Пущину. В своих воспоминаниях Пущин подробно рассказывает о поступлении в Лицей и о первых впечатлениях от общения с поэтом: «Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил; большую же часть времени прово-





*Петербург. Вид Мойки от Полицейского моста*

Д. КЛАРК и М. ДЮБУРГ, с оригинала МОРНЕЯ. 1815

дил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтобы недаром пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда гулял с ним в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай». Надо полагать, Иван Пущин первым познакомил Александра с городом: не только Летний сад и набережную Мойки, Невский проспект и Дворцовую набережную, но и другие красивые места Петербурга показал он юному москвичу, и, видимо, тогда же они и полюбились ему.

Маршруты такого рода «странствий» по Петербургу были в достаточной мере разнообразными. Хотя не все из них попали в поле зрения Пущина-мемуариста, но об одной из поездок на Крестовский остров, куда на ялике возил мальчиков дядюшка Василий Львович, Пущин вспоминает. Здесь он был свидетелем внезапной вспышки пушкинского гнева, поскольку резвый и ловкий мальчик (не желавший ни в чем уступать своим сверстникам) не смог на этот раз «одним ударом уронить все кегли». С тонкой наблюдательностью рисует мемуарист психологический портрет Пушкина-мальчика накануне его поступления в



Лицей: «Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой ... перебежал его.

Из других товарищей, — продолжает свой рассказ Пушкин, — видались мы иногда с Ломоносовым и Гурьевым. Madame Гурьева нас иногда и к себе приглашала». Этим, видимо, и ограничивалась «светская жизнь» Пушкина в Петербурге.

12 августа Пушкин был зачислен в Лицей и 9 октября 1811 года переехал в Царское Село.





## Лицейское чудо

**Д**евятнадцатого октября 1811 года в торжественной и праздничной обстановке состоялось открытие Лицея. И. Пущин вспоминает: «Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение.

В лицейском зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном с бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую руку стола стояли мы в три ряда; при нас — директор, инспектор и гувернеры; по левую — профессора и другие чиновники



лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, в. к. Константина Павловича и в. к. Анны Павловны. Приветствовав собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя». День этот навсегда запечатлен и в стихах Пушкина...

*Вы помните: когда возник Лицей,  
Как царь для нас открыл чертог царицын.  
И мы пришли. И встретил нас Куницын  
Приветствием меж царственных гостей.*

О чем же собирался рассказать Пушкин в своих записках? В «Программе автобиографии» он выделяет крупным планом несколько главных фигур, давая их в строго определенной последовательности: «Малиновский. Государь. Куницын. Аракчеев».

Первым, как видим, назван не царь, а В. Ф. Малиновский, директор Лицея. Именно он, а не Куницын (как это может показаться из стихотворения) произнес первую речь на церемонии открытия, но произнесена она была «слабым и прерывистым» от волнения голосом, почему и была воспринята присутствующими без особого внимания. Однако Пушкину Малиновский, главный герой праздника, запомнился, может быть, потому, что на первое (невыигрышное!) впечатление накладывалось то отношение к директору, которое сложилось у лицеистов на протяжении трехлетней его деятельности на этом посту. Он стал для своих воспитанников не строгим начальником, а благородным и добрым наставником. Смерть Малиновского в марте 1814 года была для Пушкина первой тяжелой утратой. О ней он также собирался рассказать в своих записках, ибо в числе пяти лицеистов участвовал в погребении Малиновского на одном из петербургских кладбищ 24 или 25 марта 1814 года.

Директорство В. Ф. Малиновского (1811—1814) было для Лицея временем подлинного ренессанса. Благодаря умному и энергичному управлению Василия Федоровича провозглашенные в «Постановлении о Лицее» принципы начали претворяться в жизнь. Он сумел (хотя и не сразу) превратить казенное





*В. Ф. Малиновский*

Неизвестный художник

учебное учреждение в уютный домашний очаг, с предельной добросовестностью организовав учебу и отдых своих воспитанников. В Лицее, напоминает Пушкин, «...были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. ... Для Лицея отведен был огромный четырехэтажный флигель дворца со всеми принадлежащими к нему строениями». В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и комнаты гувернеров, «во втором — столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией; в третьем — рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом чрез хоры придворной церкви. В верхнем — дортуары». Пушкинский дортуар (№ 14) располагался рядом с дортуаром Пущина (№ 13) — еще одно счастливое совпадение, способствовавшее упрочению их дружбы.

Вернемся, однако, к дню открытия Лицея, каким сохранился он в памяти Пушкина. Следующим после Малиновского в «Программе автобиографии» назван Александр I. Впервые на-



Царское Село. Лицей

В. П. ЛАНГЕР. 1820

блюдая монарха вблизи, Пушкин, видимо, намеревался в записках подробно рассказать не только об этой (второй по счету) встрече со своим будущим гонителем, но и о множестве других, случайных и мимолетных. Царское Село, в котором почти безвыездно в течение шести лет жили лицеисты, было любимейшей из летних резиденций монарха, обычно прогуливавшегося по аллеям царскосельских парков, запросто бывавшего в некоторых избранных домах (например, Н. М. Карамзина или И. Вельо), которые посещал и Пушкин. Возможность наблюдать императора вблизи, иметь представление о его привычках, влечениях и человеческих слабостях — одним словом, о далеко не безупречной частной жизни царя — привела к тому, что торжественный ореол, которым была окружена импозантная фигура Александра I, постепенно тускнел. Именно в лицейские годы исподволь, но неуклонно растет антипатия к самодержцу. Если в первые лицейские годы Пушкин уважительно пишет об императоре (например, выполняя заказ И. Мартынова, написал стихи «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.»), то со временем его отношение к монарху приобретает насмешливо-



иронический оттенок. Характерно, что первые две эпиграммы на Александра I («Двум Александрам», которую без особой натяжки можно считать пушкинской, и «На Баболовский дворец») сочинены еще в Лицее: в первой из них царь уподоблен своему двойному тезке — бравому, но тупому лицейскому дядьке Александру Павловичу Зернову; во второй «российский полубог» представлен распластным у ног прелестной Софьи Вельо, дочери царскосельского банкира. Не столь уж большой промежуток времени отделяет по-детски шаловливую карикатуру (к сожалению, не сохранившуюся) Пушкина-лицеиста на въезд императора через Триумфальные ворота в Павловск от острой и злой эпиграммы «На Александра» («Воспитанный под барабаном...»), относящейся уже к послелицейским годам.

Задумывая дать в своих записках портреты исторических лиц, с которыми оказалась связанной собственная его жизнь, Пушкин, видимо, намеревался выстроить лицейскую портретную галерею по принципу контраста: робеющий, взволнованный Малиновский и сверкающий регалиями, красивый и холеный Александр I (в зашифрованных строфах X главы «Евгения Онегина» Пушкин скажет о нем:

*Властитель слабый и лукавый,  
Плешивый щеголь, враг труда).*

Первому из них, человеку благородному и полезному для России, оставалось жить неполных три года, второму — все-сильному самодержцу — предстояло пройти четырнадцатилетний путь, отмеченный постепенным отказом от либеральных начинаний молодости и завершившийся декабрьской катастрофой.

То же самое можно сказать и о следующей, упомянутой в пушкинской «Программе», паре — Куницыне и Аракчееве. Первый, подобно Сперанскому, носитель высокой образованности, гражданственности и человечности, стал в начале 1820-х годов жертвой политических гонений, был уволен по доносу Рунича из Петербургского университета, куда перешел из Лицея. Второй, которого Пушкин метко назовет «всея России притеснитель», входящий в силу временщик, личный друг Александра I (за свои верноподданические услуги он получит титул графа), был одним из самых непопулярных в обществе сподвижников императора. Не случайно свою головуокружительную



карьеру он сделал при «поправлении» правительственного курса. В 1811 году служебное восхождение будущего военного министра лишь начиналось, и то, что Аракчеев попал в поле зрения совсем юного Пушкина, свидетельствует о его наблюдательности и проницательности.

1811 год — преддверие Отечественной войны 1812 года — явился важной исторической вехой для судеб всей страны, ибо в дальнейшем пути Александра I и Аракчеева с их окружением, с одной стороны, и русских просветителей, подобных Малиновскому и Куницыну, — с другой, резко разошлись. Для Пушкина этот знаменательный год стал началом нового этапа его жизни, вступлением на путь, означенный в речах первых и лучших наставников Лицея.

Об огромном впечатлении, произведенном на слушателей речью Куницына при открытии Лицея, писали многие современники, но особенно яркую, запоминающуюся картину нарисовал Пушкин: «Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина». О чем же пылко и увлекательно говорил оратор? «Наука общежития есть первый предмет воспитания, — обращался он к ученикам Лицея (а не к Александру, о котором вообще не упомянул в своей речи). — Под сим словом разумеется не искусство блистать наружными качествами, которое нередко бывает благовидною личиною грубого невежества; но истинное образование ума и сердца». Готовя лицеистов к государственной деятельности, лицейский наставник наметил программу будущих занятий: «Вам раскрыт будет состав гражданского общества; разбирая части сего многочисленного здания, вы увидите, что ни поданные без повиновения, ни граждане без точного исполнения должностей своих, ни общество без едино-



А. А. Аракчеев

Н. И. УТКИН, с оригинала Г. ВАГНЕРА.  
1818



душия членов его благоденствовать не могут». Далее Куницын нарисовал выразительный портрет весьма типичного для времени государственного деятеля-невежды, объясняя лицеистам тот вред, который происходит от его нерадения и неумелости: «Не зная первоначальных причин благоденствия и упадка государств, он не в состоянии дать постоянного направления делам общественным; при каждом шаге заблуждается, при каждом действии переменяет свои виды. Исправляя одну погрешность, он делает другую; искореняя одно зло, получает основание другому...»

А. П. Куницыну, одному из любимых лицейских наставников, Пушкин посвятил глубоко прочувствованные строки в стихотворении «19 октября 1825 г.»:

*Куницыну дань сердца и вина:  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень,  
Или чистая лампада возжена.*

Эта «чистая лампада», зажженная при открытии Лицея, не переставала освещать своим светом все шесть лет лицейского обучения. Соединенные вместе в детские и юношеские годы лицеисты пушкинского выпуска всю жизнь свято чтят Лицей, гордились им, ибо он стал для них не только школой, учебным классом, но и отчим домом, заменившим многим из них домашний очаг, семью, близких и даже родных. Огорченные было поначалу решением министра просвещения А. К. Разумовского запретить выезд воспитанников из Царского Села вплоть до окончания всего учебного курса, ученики пушкинского выпуска постепенно успокоились, привыкли к своему положению и начали даже находить в нем преимущества. Затворничество теснее сплотило лицеистов и сделало их членами одной семьи, способствовало формированию лицейского братства. Впрочем, родные и близкие могли посещать Лицей по выходным дням, что не всегда удавалось. Разрешением этим пользовались и перебравшиеся вскоре в Петербург родители Пушкина. Сначала Надежда Осиповна с детьми, а затем и Сергей Львович регулярно навещали Александра в Царском Селе.

И. Пущин писал: «...разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и



И. И. Пушкин

Ф. ВЕРНЕ. 1817



А. М. Горчаков

Ф. ВЕРНЕ. 1817

зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицея».

Пушкинскому (первому) выпуску предстояло прославить не только свои имена, но и то учебное заведение, которому лицеисты были обязаны успехами на разных поприщах служения своей стране. Люди разных дарований и склонностей, именно в Лицее они получили возможность для их реализации, здесь были заложены нравственные основы их деятельности. Лицей воспитал видных государственных деятелей, дипломатов, таких как А. М. Горчаков и С. Г. Ломоносов; известного морехода Ф. Ф. Матюшкина; не слишком преуспевших, но добросовестных и честных чиновников «службы царской» (Д. Н. Маслов, П. М. Юдин, П. Ф. Гревениц); храбрых офицеров (К. К. Данзас, С. С. Есаков и др.); целую плеяду поэтов, знатоков и любителей музыки, талантливых, всесторонне одаренных людей (А. А. Дельвиг, Н. А. Корсаков, М. Л. Яковлев, А. Д. Илличевский и др.); просто самоотверженных друзей, всегда готовых прийти на помощь (И. В. Малиновский прежде всего), и, наконец, видных деятелей декабристского движения (И. И. Пущин, В. Д. Вольховский, В. К. Кюхельбекер и связанный с декабристами А. П. Бакунин).

В 1839 году государственный секретарь М. А. Корф (лицейские прозвища — Модинька, дьячок Мордан) — может



быть, самый удачливый среди лицейстов первого выпуска — в своем дневнике (неизвестные фрагменты которого обнаружил в статье «В одном классе» Н. Я. Эйдельман) подвел некие жизненные итоги лицейстов первого выпуска. Он выстроил иерархию лицейстов согласно доставшимся на долю каждого из них успехам, ревниво отметив тех, кто сумел сделать служебную карьеру (пусть не такую блистательную, как он сам), тех, кто мог, но ленился или не сумел этого сделать, и с презрением осудил неудачников. Итог, с его точки зрения, оказался неутешительным: «Общий результат в 22 года (после окончания Лицея): из 29 человек: 9 умерли (это — Ржевский, Корсаков, Дельвиг, Илличевский, С. Брогльо, Есаков, Костенский, Саврасов и Пушкин.— *Р. И.*), 2 умерли политически (Корф имеет в виду находившихся в Сибири Кюхельбекера и Пущина.— *Р. И.*). Из остальных 18: 5 в чистой отставке, 13 в службе, в



А. С. Пушкин

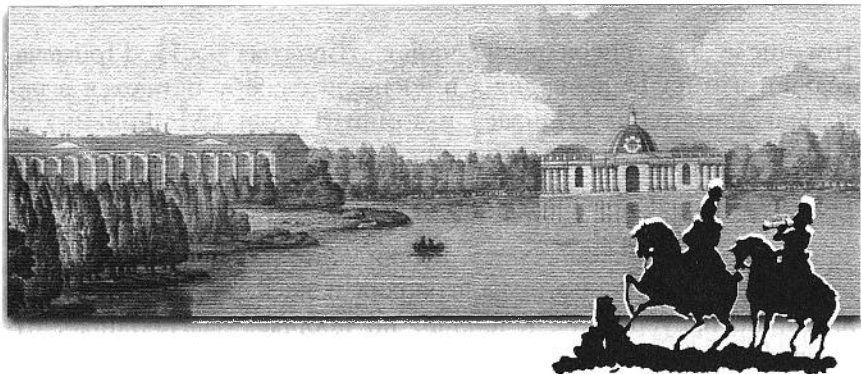
Автопортрет в круге. 1817—1818 (?)

том числе 5 в генеральских чинах. Женатых — 11. Примечательно, что из 13 вышедших в военную службу остаются в ней только двое: один (Данзас) в армии и один (Матюшкин) во флоте». Оценив своих товарищей единственным, с его точки зрения, верным и надежным критерием, Корф не смог все же избежать и характеристики нравственных качеств бывших своих товарищей-лицеистов. Тогда, неожиданно для него самого, выстроилась совершенно иная иерархия и на первый план вышли люди, не преуспевшие в жизни, но добрые, благородные, отзывчивые, такие как Малиновский, Маслов, Корнилов, Тырков, Яковлев и другие. В этом списке верных и надежных людей особым номером стоит недавно умерший Пушкин. «Это историческое лицо довольно означить просто в моем списке, — записывает не любивший поэта М. Корф. — Пушкин прославил наш выпуск, и если из двадцати человек один достиг бессмертия, то это, конечно, уже очень, очень много». К этим словам трудно что-либо добавить.

Первый выпуск Лицея (1811—1817) вошел в историю русской культуры как выпуск пушкинский, затем именем Пушкина стали называть и сам Лицей.

\* \* \*

О пушкинском Лицее существует огромная научная и научно-популярная литература (несколько книг выпущено только в самые последние годы). Бывшие воспитанники Лицея, ценившие и уважавшие его традиции, бережно сохранили бумаги лицеистов первого выпуска (их дневники и письма, рукописные журналы и поэтические сборники, рисунки, карикатуры). Почти полностью сохранилась и обширная лицейская документация (материалы официальной переписки, аттестации воспитанников). Но разыскания продолжаются, обнаруживаются новые документы (М. П. Руденской был найден в свое время план лицейского здания, по которому и проведена его нынешняя реставрация; в научных изданиях публикуются записи лицеистами лекций профессоров — Кошанского, Георгиевского, Куницына). Все это дает возможность представить полную и целостную картину лицейских лет Пушкина. Мы же ограничимся коротким рассказом о пребывании поэта в Лицее, сыгравшем исключительную роль в его духовном становлении.



## Будни и праздники

**П**осле 19 октября в Лицее началась и стремительно потекла будничная жизнь по раз и навсегда установленному порядку. Вставали воспитанники по звонку в шесть часов утра, одевались, шли на молитву в зал. «Утреннюю и вечернюю молитву,— замечает И. Пущин,— читали мы вслух по очереди». Читал молитвы и юный Пушкин: сюда, в детские годы, уходит своими корнями далеко не простое его отношение к православию. Пушкин знал с юных лет все особенности церковного ритуала, питал глубокое уважение к вере предков, следовал в соблюдении церковных обрядов общепринятой традиции, но отличался равнодушием к сугубо внешней набожности, характерной, например, для его сокурс-

ника по Лицею «Лисички» — Комовского. Детский дневник этого лицеиста буквально испещрен покаянными признаниями и отмечен тягой к ортодоксальной церковности, по-видимому вполне искренней.

Двойственная природа пушкинского «веровосприятия» не позволяет ни безоговорочно зачислить его в атеисты (как это делалось без каких бы то ни было оговорок вплоть до недавнего времени), ни объявить его (впадая в другую крайность) глубоко верующим христианином. Слишком многое в пушкинском творчестве (в особенности в ранние годы) противоречит подобному взгляду.

Участие во всех церковных обрядах было для лицеистов строго обязательным, как и уроки закона Божьего. В 1811—



*Царское Село. Вид на Лицей и церковный флигель  
Екатерининского дворца*

С. ГОССЕ, по оригиналу А. А. ТОНА. 1824



1816 годах его преподавал в Лицее священник придворной церкви Н. В. Музовский, которого сменил потом Г. П. Павский.

Распорядок дня лицеистов, по свидетельству того же Пушкина, выглядел следующим образом:

«От 7 до 9 часов — класс.

В 9 — чай; прогулка — до 10.

От 10 до 12 — класс.

От 12 до часу — прогулка.

В час — обед.

От 2 до 3 — или чистописанье, или рисованье.

От 3 до 5 — класс.

В 5 часов — чай; до 6 — прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный класс.

По средам и субботам — танцеванье или фехтованье.

Каждую субботу баня.

В половине 9 часа — звонок к ужину.

После ужина до 10 часов — рекреация. В 10 — вечерняя молитва, сон».

Главные вехи лицейской жизни Пушкина обозначены им самим в «Программе автобиографии». Их немного, значительно меньше, чем в дошедших до нас биографических источниках, и чтобы не упустить важное для самого поэта, мы ограничимся в изложении последующих событий канвою «Программы».

Вслед за описанием дня открытия Лицея Пушкин предполагал рассказать о тех, кто ведал каждодневной жизнью воспитанников. «Начальники наши» — это те, кто обустроивал лицейский быт и следил за соблюдением внутреннего распорядка: инспектора, гувернеры, дядьки (помощники гувернеров) — одним словом, низовой слой лицейской администрации, в наибольшей степени подверженный перестановкам и заменам. В. Ф. Малиновский стремился, чтобы дело воспитания детей было поручено людям честным и добросовестным, не терпел халатности и жестокости. В Лицее были запрещены телесные наказания, и проступки воспитанников не карались жесткими, калечащими детскую психику мерами. Но всего предусмотреть не удавалось ни Малиновскому, ни его преемникам. Одно время дядькой лицеистов был некто Константин Сазонов, убивший в окрестностях Царского Села нескольких человек. Это взволно-



вавшее всех происшествие отразилось в известном пушкинском экспромте, в котором юный насмешник задел и лицейского лекаря Пешеля.

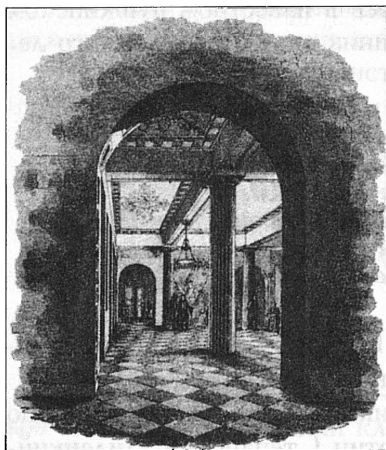
*Заутра с свечкой грошовой  
Явлюсь пред образом святым:  
Мой друг! остался я живым,  
Но был уж смерти под косяю:  
Сазонов был моим слугою,  
А Пешель — лекарем моим.*

Часто болея в лицейские годы, Пушкин имел основания сомневаться в действенности способов лечения этого эскулапа.

Первыми лицейскими «начальниками» были надзиратель по учебной и нравственной части Мартин Степанович Пилецкий-Урбанович, которого сменил Василий Васильевич Чачков; гувернеры — Сергей Гаврилович Чириков (ставший затем учителем рисования) и Александр Николаевич Иконников; помощник гувернера (дядька) Александр Павлович Зернов. Отношения с «начальниками» у Пушкина складывались непросто, и видимо, их-то и имел он в виду, включая в программу записок особую рубрику «Мое положение». Далее упоминается М. С. Пилецкий-Урбанович («Мы прогоняем Пилецкого»). Это первый из лицейских конфликтов с «начальством», в котором Пушкин выступил одним из главных зачинщиков.

Пилецкий-Урбанович был принят в Лицей по протекции самого министра народного просвещения А. К. Разумовского. Отталкивающая внешность сочеталась у него с показной ласковостью, коварство и жестокость — с циничным презрением к людям, с ханжеством. Корф вспоминал: «...со своею длинною и высохшею фигурою, с горящими всеми огнями фанатизма глазами, с кошачьими приемами и походкой, наконец, с жестоко-хладнокровною и ироническою, прикрытою видом отцовской нежности, строгостью он долго жил в нашей памяти как бы какое-нибудь привидение из другого мира».

Пушкин с самого начала оказался в числе наиболее неприемлемых противников Пилецкого. Глухая вражда закончилась открытым столкновением, в котором Пушкин явно первенствовал. Поводом к этому своеобразному бунту послужили насмешки Пилецкого над родными лицейцами, приезжавшими повидаться со своими детьми в выходные дни. Возмущенные



Вид Большого лицейского зала

Ф. ДАВИНЬОН,  
с оригинала В. П. ЛАНГЕРА

лицейсты, собравшись в конференц-зале, потребовали отставки Пилецкого, грозя покинуть Лицей, если этого не произойдет. Опираясь на свидетельства участника этой сцены Ф. Матюшкина, П. В. Анненков так описывает ее финал. Со словами: «Оставайтесь в Лицее, господа», — Пилецкий покинул конференц-зал, и вскоре А. К. Разумовский дал согласие на его увольнение.

Другая шумевшая лицейская история (с «гоголем-могелем») произошла после смерти Малиновского, в период «безначалия». Подробно опи-

санная Пушциным и отразившаяся в ряде лицейских стихотворений Пушкина, в программу записок она не попала. Опустим ее и мы.

В конфликтных ситуациях в полной мере раскрывался живой, импульсивный характер Пушкина, умевшего, когда требовалось, постоять за интересы товарищей. Но эти же особенности мгновенных, острых реакций на происходившее не могли не осложнять и его взаимоотношений с ними: Пушкину порою было нелегко среди сверстников. Поначалу, как вспоминает Пушцин, он не возбуждал общей симпатии. «Это удел эксцентрического существа среди людей, — замечал Жанно. — Пушкин иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти». Нередко случались стычки, ссоры (и даже детские драки), причем Пушкин в них далеко не всегда оказывался правым. «Чтобы полюбить его настоящим образом, — утверждал Пушцин, — нужно было взглянуть на него с полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище». Постепенно, и не без помощи Жанно, отношения Александра с товарищами выровнялись, приобрели ту благожелательность, о которой пишет мемуарист,

чему в немалой степени способствовала творческая одаренность Пушкина, сразу же выдвинувшая его на особое место в среде сверстников. Со многими из них (не только с Пушиным, но и с Дельвигом, Кюхельбекером, Горчаковым, Малиновским, Данзасом и др.) Пушкин сошелся совсем близко. К концу учебы это было спаенное крепкой дружбой лицейское братство, живую причастность к которому Пушкин будет ощущать всю жизнь.

В Лицее придавалось огромное значение нравственному воспитанию личности: с одной стороны, осуществлялся строгий контроль за воспитанниками (так, уже в сентябре 1813 года был исключен из Лицея Гурьев, обнаруживший порочные наклонности), с другой — совершенствовался, очищаясь от негодных элементов, состав педагогов-наставников, надзирателей, гувернеров и дядек.



А. А. Дельвиг

П. Л. ЯКОВЛЕВ. Конец 1810-х годов



Принятая в Лицее система воспитания гибко учитывала разнообразие индивидуальностей учеников, их способности и склонности. Дошедшие до нас дневники и письма лицейстов выразительно и ярко характеризуют тягу к самоусовершенствованию, стремление «очиститься» от недостатков и избежать дурных поступков путем строгого самоанализа и самоосуждения.

Установка на воспитание добродетели (общественной и личной), характерная для просветительства, лежала в основе лицейского воспитания. Она, вне всякого сомнения, была, хотя и по-своему, воспринята юным Пушкиным. Примечательным пунктом программы его записок являются «Философические мысли». Что подразумевалось под этим, мы точно не знаем, но скорее всего автор имел в виду стремление осмыслить окружающий мир, понять в нем свое место (характернейшая особенность переходного возраста), а также попытки самостоятельного творчества именно на этой основе. Можно предположить, что первые крупные произведения Пушкина имеют философскую окраску: комедия «Философ» и прозаическое сочинение «Фатам, или Разум человеческий». К сожалению, произведения эти до нас не дошли: они помогли бы точнее и глубже представить внутренний мир Пушкина лицейских лет.

В «Программе автобиографии» после рубрики «Философические мысли» следует пункт «Мартинизм» (по имени одного из основателей масонства — Сен-Мартена). С мартинизмом Пушкин ознакомился еще до поступления в Лицей, ибо этими идеями были увлечены его ближайшие родные — отец и дядя Василий Львович, а также их ближайшее литературное окружение. В Лицее приверженцами мартинистов являлись Ф. М. Гауеншильд и М. С. Пилецкий-Урбанович, что, надо полагать, несколько осложнило восприятие юным Пушкиным масонских идей, ибо оба наставника в своей повседневной жизни оказались весьма далекими от тех идеалов и устремлений, которыми отличался мартинизм в России в лице его лучших представителей. Возможно, мы так и не смогли бы правильно расшифровать, какое содержание вкладывал Пушкин в это понятие, если бы не располагали его высказыванием, правда позднейшим (из статьи «Александр Радищев»), о русском мартинизме. Пушкин писал, что еще со времен Радищева «существовали в России люди, известные под именем *мартинистов*». Он вспоминал: «Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполи-

тическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды. ... Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франмасонских ужинах. Радищев попал в их общество». Позднее, уже в 1821 году, находясь в Кишиневе, Пушкин вступил в масонскую ложу «Овидий», о чем имеется соответствующая запись в его кишиневском дневнике. В 1822 году масонские ложи в России были запрещены, и Пушкин, давший подписку о непринадлежности к тайным обществам, от масонства окончательно отошел.

Творческая личность Пушкина формировалась в эпоху великих исторических событий. На время его учебы выпал знаменитый 1812 год, рассказ о котором должен был составить особую главу пушкинских записок: в «Программе» он выделен графически в особую строку, обведенную рамочкой. Однако о ее содержании мы можем судить лишь гипотетически: автор не дает никаких разъяснений. Реконструировать ее состав следует с величайшей осторожностью, ибо мы точно не знаем, какими событиями — большими или малыми — запомнился 1812 год Пушкину. Несомненным остается лишь факт острейшей реакции всех без исключения лицеистов на войну с Наполеоном. «Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!» — вспоминает Пушкин.

Общее воодушевление разделял и Пушкин, описавший эти же сцены в своих стихах. Например, в тех, которые припомнились в этой связи Пушкину:

*Сыны Бородина, о Кульмские герои!  
Я видел, как на брань летели ваши строи;  
Душой восторженной за братьями летел...*



*Благословение ратников*

Об этом же Пушкин вспоминает и в одной из своих последних лицейских годовщин «Была пора: наш праздник молодой...»:

***Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирает  
Шел мимо нас.***

Узнав, что русская армия оставила Москву, лицеисты плакали, не стесняясь окружающих, и с детской запальчивостью бросали под стол свои французские учебники, проводив к театру военных действий полки петербургского народного ополчения. На первый взгляд кажется странным, что первые в Лицее (по горячим следам событий) поэтические отклики на «грозу двенадцатого года» принадлежат не Пушкину. 7 сентября 1812 года, после получения известия о взятии Москвы французами, А. Дельвиг написал свою «Русскую песнь».

В поэзию Пушкина тема Отечественной войны 1812 года вошла позднее, когда он смог осмыслить происходившее в ши-



*М. И. Кутузов*

С. КАРДЕЛЛИ, с рисунка А. О. ОРЛОВСКОГО



рокой исторической перспективе, охватить общую динамическую картину военных событий. В самую напряженную пору войны — осенне-зимнюю кампанию 1812 года — Пушкину всего лишь 13 лет, он только пробует перо, еще не готов (а может быть, и не решается?) подать свой голос во славу сражающихся россиян. Но он с жадностью внимает другим поэтическим голосам, звучавшим тогда на всю Россию. Есть все основания полагать, что уже в это время лицеисты познакомились с «Певцом во стане русских воинов» Жуковского, принесшим его автору славу русского Тиртея (воина-поэта). Это стихотворение, каждую строчку которого знала наизусть вся страна, стало для Пушкина одним из стимулов к собственному творчеству. Воздействие Жуковского отзовется во множестве пушкинских стихов, в размерах и ритмах «национальных» лицейских песен («В лицейской зале тишина» и др.).

События, происходившие на полях военных сражений, сразу же становились известными в Лицее. «Всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции. Кошанский читал их нам громогласно в зале, — пишет Пущин. — Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное». Газета «Северная почта» сообщала в одном из своих номеров 1812 года о подвиге генерала Раевского, поведшего в бой своих совсем еще юных сыновей — Александра и Николая. Выйдя из Лицея, Пушкин подружится со всей этой замечательной семьей и совершит с ними в 1820 году поездку на Кавказ и в Крым.

Всплеск бурного восторга среди лицеистов вызвало известие о том, что французы оставили Москву. Началось бегство Наполеона из России с остатками его непобедимой некогда армии. Жизнь, нарушенная было угрозой военной опасности, стала постепенно входить в привычное, будничное русло. По-прежнему с жаром обсуждали военные известия, с нетерпением ожидали сводки и реляции, но в классах, конференц-зале, на прогулках в парках все чаще звучали мирные разговоры, война отодвинулась за пределы России, и на первый план снова выступили дела учебные.





Н. Н. Раевский

С. КАРДЕЛЛИ. 1810-е годы

Регулярно проводимые лицейскими наставниками аттестации воспитанников дают обильную пищу для размышлений о том, насколько учебная программа и самый характер лицейского преподавания способствовали выявлению природных дарований Пушкина. Нередко можно встретить утверждение, что лицейское обучение, к тому же осуществляемое не очень опытными педагогами, носило поверхностный характер. С этим трудно согласиться, ибо именно в Лицее были заложены серьезные основы систематических знаний, позволивших Пушкину в дальнейшем без особого напряжения самостоятельно наверстать упущенное в Лицее. Пушкин рос живым, не всегда послушным, не слишком прилежным ребенком и далеко не все принимал и воспринимал в уроках своих наставников. Даровитый ребенок учился неровно. К чести лицейских педагогов надо сказать, что



разнообразные способности и склонности будущего великого поэта не остались незамеченными. Наибольших успехов добивается он в изучении гуманитарных наук — французского языка (которым, по общему признанию, он владел, пожалуй, лучше всех своих товарищей, недаром его лицейское прозвище — Француз), российской словесности (правда, не сразу; первые отзывы Н. Ф. Кошанского не позволяют как-то выделить Пушкина из числа других воспитанников), истории («дарованный очень хороших, довольно прилежен, успехов очень хороших», — отметит в «Ведомости об успехах лицеистов» Кайданов). Амплитуда этих первых характеристик колеблется от самых высоких оценок успехов Пушкина до весьма скептических и даже резких высказываний на его счет. Де Будри — может быть, самый прозорливый из лицейских педагогов — напишет о нем: «Он проникателен и даже умен. Крайне прилежен, и его приметные успехи столь же плод его рассудка, сколько и его счастливой памяти». К сожалению, В. Ф. Малиновский не сразу разобрался в своем гениальном воспитаннике. «Ветрен и легкомыслен, искусен во французском языке и рисовании, в арифметике ленится и отстает», — гласит запись в его книжке. Любопытен отзыв о юном Пушкине А. Куницына (в достаточной мере критический): «Весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне неприлежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения». С математикой будущий поэт явно не в ладу: отзыв профессора Карцева (кстати, прекрасного математика) категоричен: «Очень ленив, в классе невнимателен и нескромен, способностей неплохих, но, к сожалению, только для пустословия, успевает весьма посредственно». Однажды на вопрос Карцева, что получилось в алгебраической задаче, Пушкин ответил: «Нуль». «У вас, Пушкин, — сердито заявил педагог, — в моем классе все кончается нулем». История эта припомнилась Пушкину, отметившему вместе с тем, что большинство педагогов с благоговением смотрели на растущий талант Пушкина.

Сам поэт связывал пробуждение своего творческого дара с впечатлениями лицейской юности:

*В те дни в таинственных долинах,  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,  
Являться Муза стала мне.*

N<sup>o</sup> 1. VUE DE TSARSKO-CELO, COLONNE NAVALE.*Царское Село. Чесменская колонна*

М. Ф. ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ. 1811

Стихи в Лицее писали многие: Илличевский, который считался поначалу лучшим лицейским поэтом; Дельвиг, чей поэтический дар выявился едва ли не сразу («Он знал почти наизусть Собрание русских стихотворений, изданное Жуковским», — скажет о нем Пушкин). В 1813 году взялся за перо и Кюхельбекер, которому не сразу и не без труда далась русская «про-содия». Но юный Пушкин выделялся и на этом ярком, запоминающемся фоне как своим удивительным даром воплощать в художественно совершенной форме любую тему — от самой возвышенной и торжественной до простой, незатейливой и буднично обыденной, — так и своей поистине феноменальной памятью на стихи (услышав однажды, он запоминал их надолго, и в нужный момент те или иные строчки оживали в его сознании, — количество стихотворных цитат в его собственных произведениях, письмах, критических заметках не поддается исчислению).

Уже в марте 1812 года Илличевский пишет своему приятелю П. Фуссу: «Что касается до моих стихотворческих занятий, то я в них успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого



человека, который, живши между лучшими стихотворцами, приобрел много в поэзии знаний и вкуса». Речь идет о Пушкине, вместе с которым, несмотря на запреты сочинять, Илличевский «пишет украдкой». Когда же этот странный запрет был снят, открылись возможности для постоянного «сочинительства». 26 апреля того же года, в день Пасхи, Илличевский сообщает приятелю, что написал уже две басни. Около этого времени написаны самые первые, до нас не дошедшие, пушкинские стихи.

«Как теперь вижу тот послеобеденный класс, когда, окончив лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишия, которые всех восхитили», — вспоминает Пущин, точно указывая, что было это «чуть ли не в 1811 году, и никак не позднее первых месяцев 12-го года».

С этим свидетельством согласуются и собственные слова Пушкина, признавшегося, что писать он начал «с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени».

Первое стихотворение Пушкина было опубликовано в «Вестнике Европы» в 1814 году и называлось «К другу стихотворцу». Оно настолько понравилось издателю журнала В. В. Измайлову, что тот попросил «сочинителя» присланной в журнал пьесы под названием «К другу стихотворцу» «объявить публике свое имя». Имя это довольно скоро приобретает громкую известность. Для знакомства с молодым «чудотворцем» (так назовет его Жуковский) специально приезжали в Лицей известные и именитые люди. Посещали его и старинные друзья семьи — Карамзин, Вяземский, Батюшков. Образовавшийся в сентябре 1815 года «Арзамас» заочно принял юного поэта в свое общество,



В. А. Жуковский  
О. А. КИПРЕНСКИЙ. 1816

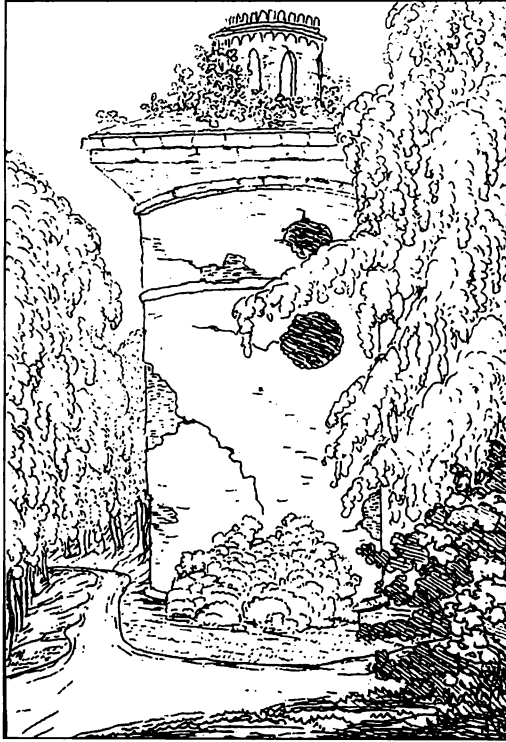
дав ему прозвище Сверчок (официальная церемония принятия Пушкина в «Арзамас» состоялась позднее — осенью 1817 года).

Незадолго до того Пушкина посетил в Лицее и Жуковский, как бы заново познакомившийся со своим совсем еще юным собратом по перу: «Я был у него на минуту в Сарском Селе. Милое, живое творенье! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности!» (Из письма П. А. Вяземскому от 19 сентября 1815 года.) С этого момента Жуковский берет Пушкина под свое покровительство, следит за его успехами, поощряет его, становится его поэтическим наставником. Пушкин же именно с этой встречей связывал свое окончательное самоопределение. Вызванные ею размышления и чувства составляют содержание послания «К Жуковскому» (1816) с его знаменательными словами:

*Благослови, поэт...*

О чем же писал Пушкин в своих первых лицейских стихах? До нас дошло несколько произведений 1813 года. Первое из них — достаточно традиционное по форме любовное послание «К Наталье», адресованное молодой и привлекательной актрисе крепостного театра графа В. В. Толстого. Лицейисты, не выезжавшие в Петербург, были частыми посетителями Царскосельского театра. «Миловидная жрица Тальи» — Наталья — стала предметом общего увлечения, но только Пушкин рискнул сделать ее героиней своих стихов. В них впервые появляется образ лицейского затворника — молодого монаха, живущего в келье, — шутливая ипостась авторского «я» в лицейской лирике Пушкина (к этому же времени относится и поэма «Монах», сохранившаяся лишь частично). Игривая интонация этих стихов, их грациозная шутовость еще не свидетельствуют о серьезности раннего пушкинского увлечения. «Первая любовь», о которой Пушкин собирался рассказать в своих записках, связана с Натальей Кочубей, юной аристократкой, дочерью будущего канцлера, жившей в летние месяцы 1813—1815 годов с родителями в Царском Селе.

Очаровательная, застенчивая и изящная девочка (именно такой предстает она на известном портрете О. Кипренского), Наташа Кочубей оставила глубокий след в душе поэта, не раз



Царское Село. Башня Руина

В. А. ЖУКОВСКИЙ. 1820-е годы

возвращавшегося впоследствии к воспоминаниям о своей первой любви.

Образ этот навсегда слился с картинами Царского Села, его великолепных парков:

*Дубравы, где в тиши свободы  
Встречал я счастьем каждый день,  
Ступаю вновь под ваши своды,  
Под вашу дружескую тень.*

*И для меня воскресла радость,  
И душу взволновали вновь  
Моя потерянная младость,  
Тоски мучительная сладость  
И сердца первая любовь.*



Н. В. Кочубей

О. А. КИПРЕНСКИЙ. 1813

Чувство к Наталье Кочубей постепенно иссякло, растворилось в других настроениях и впечатлениях и перешло в область лицейских преданий, донесших до нас имя той, кому посвящены «Измены»:

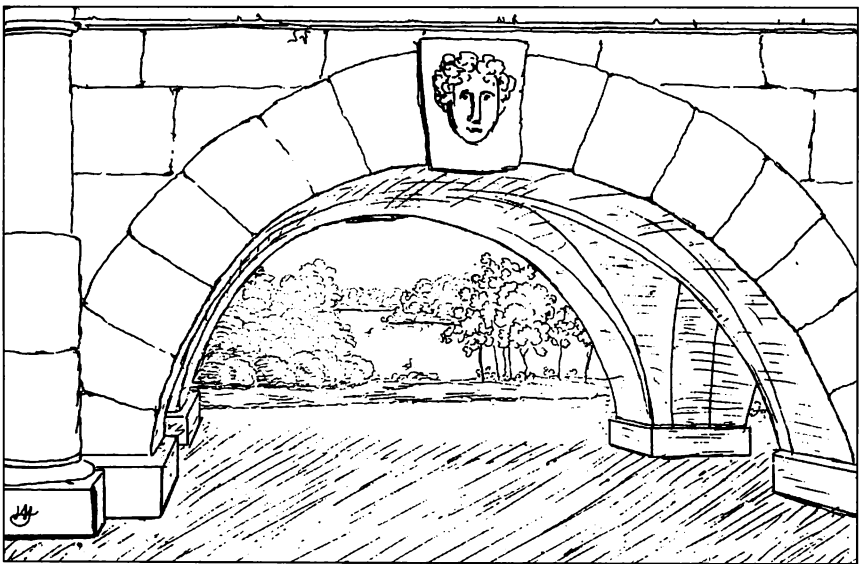
*Все миновалось!  
Мимо промчалось  
Время любви...*

Героиня стихотворения (гордая Елена) — это и есть Наташа Кочубей, ибо она, а не известная Екатерина Бакунина, по свидетельству М. Корфа, была «первой лицейской любовью Пушкина»: ее имя вписывает поэт в «Программу автобиографии» под датой «1813 год».



Серьезными испытаниями и важными событиями был отмечен и следующий, 1814 год, когда поэт перешагнул черту, отделявшую детство и отрочество от юности. Год начался тяжелыми впечатлениями: часть января Пушкин провел в лазарете, где лечился от простуды, а в конце марта 1814 года умер В. Ф. Малиновский, и Пушкин оказался участником его похорон, состоявшихся в Петербурге. Это был первый выезд Пушкина в столицу после трехлетнего перерыва, но запомнился он лишь печальной церемонией погребения и торжественной клятвой в вечной дружбе, данной на могиле другу Ивану Малиновскому. Однако вскоре последовали лучшие времена: 8 апреля в Петербурге было получено известие о взятии союзными войсками Парижа. Так закончилась война России с наполеоновской Францией: победа была полной, ошеломившей мир и показавшей русскую мощь. Легко представить себе радость лицестов, теперь уже встречавших возвращавшиеся на родину боевые полки.

День в день, ровно через три года после открытия Лицея, 19 октября 1814 года, в Царское Село вступил вернувшийся из



Царское Село. Пандус

В. А. ЖУКОВСКИЙ. 1820-е годы



Парижа лейб-гвардии гусарский полк. Расквартированный в царскосельской Софии, он внес оживление в монотонную жизнь лицеистов. Встречи с гусарами явились для юного Пушкина первой и оттого, может быть, особенно авторитетной политической школой, своеобразным клубом. Молодые офицеры (М. Г. Хомутов, В. Д. Олсуфьев, П. Х. Молоствов и, наконец, молодой Николай Раевский) стали его старшими товарищами и даже менторами. Пушкин жадно впитывал их рассказы о войне, усваивал их политические мнения, вслушивался в резкие суждения о современном состоянии России. Царскосельские гусары, веселые и бесшабашные, беспечные и независимые, были для Пушкина примером для подражания. Его неудержимо тянуло к ним, он шутил и проказничал в их кругу и одновременно получал серьезные уроки независимого поведения, умения противостоять деспотизму и тирании во всех их проявлениях. Туда, в последние лицейские годы (когда строгий режим содержания воспитанников оказался несколько ослабленным), уходит своими корнями пушкинское вольномыслие, ставшее позже главной чертой его мироощущения и каждодневного поведения. В этой новой и особенно привлекательной для юного лицеиста среде зародилась и окрепла его дружба и с будущими деятелями тайных обществ (П. Я. Чаадаевым, например), с молодыми вольнодумцами, пылкими ораторами петербургских политических кружков и салонов (подобными П. Каверину). В лирику Пушкина проникают теперь эпикурейские мотивы. Раскрепощенная от официально-регламентированных пут, свободная в своих проявлениях личность заявляет о себе во весь голос, и молодое, вольнолюбивое офицерство подхватывает летучие, афористичные строфы пушкинских посланий и эпиграмм:

*Пока живется нам, живи,*

*Гуляй в мое воспоминанье,*

*Молись и Вакху и любви.*

*И черни презирай ревнивое ротанье:*

*Она не ведает, что дружно можно жить*

*С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;*

*Что ум высокий можно скрыть*

*Безумной шалости под легким покрывалом.*

В самом конце 1814 года Пушкин пишет одно из лучших своих стихотворений, посвященных Отечественной войне, — «Воспоминания в Царском Селе» — с великолепными баталь-



ными сценами и глубокими историческими аналогиями. Стихотворение строится как воображаемая прогулка по аллеям ночного Екатерининского парка:

*С холмов кремнистых водопады  
Стекают бисерной рекой,  
Там в тихом озере плещаются наяды  
Его ленивою волной;  
А там в безмолвии огромные чертоги,  
На своды оперишись, несутся к облакам.*

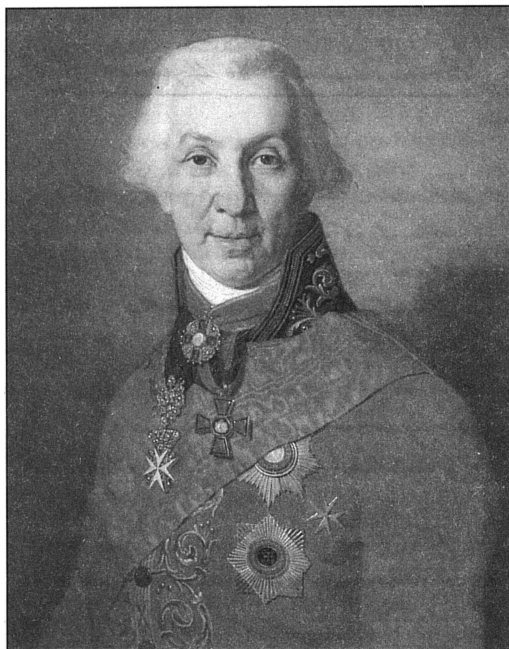
.....  
*Не се ль Элизиум полнощный,  
Прекрасный Царскосельский сад,  
Где, льва сразив, почил орел России мощный.*

В этих картинах уже ощущается дыхание и мощь пушкинского гения: недаром, прочитанное на публичном экзамене в январе 1815 года, оно поразило присутствовавших и вызвало искренний восторг Державина. Вот эта сцена в ее мельчайших подробностях, какой она запомнилась Пушкину: «Я прочел мои „Воспоминания в Царском Селе“, стоя в двух шагах от Державина, голос мой оторчески зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...» Навсегда сохранились в памяти Пушкина и те слова, которые произнес тогда дряхлеющий патриарх русской поэзии: «Вот кто заменит Державина». На этой поистине исторической ноте обрывается пушкинская «Программа автобиографии». Последними ее пунктами стали «Экзамен» и «Стихотворение», т. е. «Воспоминания в Царском Селе».

Этими событиями завершился важнейший этап в жизни Пушкина (его детство и отрочество). Вступление (еще на лицейской скамье) во взрослую жизнь должно было, видимо, составить содержание следующих глав записок, которые еще предстояло обдумать.

Много стихов шуточных, легких, грациозных посвящено лицейским друзьям поэта (А. Горчакову, А. Дельвигу, И. Пущину, С. Ломоносову и др.). В них выражаются эпикурейские идеалы юного, только начинающего жить полной жизнью автора, воспеваются дружеские пирушки, любовные увлечения, игры, забавы — все то, чем прекрасна молодость. В «Пи-





*Г. Р. Державин*

В. Л. БОРОВИКОВСКИЙ. 1811

рующих студентах» (1814) поэт сзывает друзей в веселый круг, где молодые повесы шумно празднуют свою встречу с Вакхом:

*Друзья! досужный час настал;  
Все тихо, все в покое;  
Скорее скатерть и бокал!  
Сюда, вино златое!  
Пити, шампанское в стекле.  
Друзья! почто же с Кантоном  
Сенека, Тацит на столе,  
Фольянт над фолиантом?  
Под стол холодных мудрецов,  
Мы полем овладеем;  
Под стол ученых дураков!  
Без них мы пить умеем.*

Незамысловатые устремления к радостям бытия — вот жизненное кредо первого из лицейских поэтов. В шуточной

эпитафии самому себе, исполненной самоиронии и добродушия, поэт заявляет:

*Здесь Пушкин погребен: он с музой молодою,  
С любовью, ленью провел веселый век,  
Не делал доброго, однакож был душою,  
Ей-богу, добрый человек.*

Лицейская поэзия Пушкина, светлая, мажорная в своей основе, отразила и перепады лирических настроений ее автора. Исполнены грусти и элегических раздумий пейзажные миниатюры царскосельского затворника:

*Вянет, вянет лето красно;  
Улетают ясны дни;  
Стелется туман ненастный  
Ночи в дремлющей тени;  
Опустели злачны нивы,  
Хладен ручеек извивый;  
Лес кудрявый поседел;  
Свод небесный побледнел.*

(К Наташе, 1814)

В стихотворении «Мечтатель» (1815) воссоздан ночной пейзаж, который юный поэт мог наблюдать даже из окон своей «кельки»:

*По небу крадется луна,  
На холме тьма седеет,  
На воды пала тишина.  
С долины ветер веет.*

В минуты грустных раздумий поэт помнит о друзьях:

*Играйте, пойте, о друзья,  
Утрайте вечер скоротечный;  
И вашей радости беспечной  
Сквозь слезы улыбнуся я.*

(Друзьям, 1816)

Стремительный творческий рост юного поэта ставит его вровень со старшими, даже с Жуковским, соавтором которого Пушкин выступил при создании гимна «Боже, царя храни». Первая строфа, взятая из переведенного Жуковским английского текста, была продолжена великолепными пушкинскими



Пуримель.  
Миза севр. Грома

Мизей

Молитвы Богу, с оудеграмм.  
13.

~~Крамми~~ ~~Самвион~~ ~~Степанов~~  
 там в границах  
 Крамми шавеса  
 Даржаво  
 Мир в он покрыва  
 Ветер седидишисо  
 Отноше надеждоно  
 Кваломисво хрорноса  
 Мав остидебл

\*  
 Ариши во уралоу каш  
 Моуно арамиса каш  
 Вхрима шав-  
 Уав ~~уав~~ уавкенид  
 Квалодаренид,  
 Врдуз имприменид-  
 Коф ~~уав~~ дант-

«Там громкой славою...»

Автограф. 1816

стихами «Там громкой славою...». Гимн исполнялся хором лицеистов 14 октября 1816 года в день рождения императрицы Марии Федоровны, а создавался ко дню 19 октября, к празднованию дня Лицея, а значит, он стал одной из первых поэтических лицейских годовщин.

Уже с конца 1815 года в поэзии Пушкина все настойчивее начинают звучать ноты элегические, печальные, задушевные. Пушкин снова влюбился, и на этот раз уже серьезно, в сестру своего лицейского товарища — Екатерину Павловну Бакунину, прелестную двадцатилетнюю девушку, которая была предметом обожания не одного лишь Пушкина и заставляла страдать, как пишет Пушкин, «не одно юное сердечко...» Для Пушкина же она стала Музой, вдохновительницей его стихов, вызвавшей в его душе бурю чувств, заставившей его страдать от неразделенной, а потому еще более пылкой, любви. Чувство Пушкина к Бакуниной вызвало целый поток признаний, элегий, поэтических сетований. Бакунинский цикл, состоящий из двух десятков стихотворений, — подлинная жемчужина лицейской лирики Пушкина. Среди них и знаменитый «Певец»:

*Слыхали ль вы за рощей глас ночной  
Певца любви, певца своей печали?  
Когда поля в час утренний молчали,  
Свирели звук унылый и простой —  
Слыхали ль вы?*

Высокая одухотворенность, тончайшая психологическая нюансировка настроений, широкая гамма переживаний — от бурного негодования до тихой печали — отличительные свойства стихотворений бакунинского цикла. В них Пушкин уже проявил себя не робким учеником своих предшественников (Жуковского и Батюшкова), а вполне самостоятельным и зрелым мастером, великолепным лириком. Записи «Лицейского дневника», первого в ряду известных нам пушкинских дневников (к сожалению, сохранившегося не полностью), комментируют и объясняют то состояние, в котором создавались эти стихи.

29 ноября 1815 года Пушкин записывает: «Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! — наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая



*Е. П. Бакунина*

Автопортрет. 1816

минута». И еще: «Как она мила была! как черное платье пристало к милой Бакуниной!»

«Лицейский дневник» не ограничен миром интимных переживаний, связанных с любовью к Бакуниной. В нем отражаются широта и разнообразие интересов Пушкина в пору его возмужания. Здесь и записанный (вероятнее всего, со слов его новых друзей-гусар) анекдот о «носе Багратиона» (в несколько иной редакции он войдет в пушкинские «Table-talk»), и текст сатирических куплетов Д. В. Дашкова «Венчание Шутовского», свидетельствующий о близком знакомстве Пушкина-лицейста с арзамасскими баталиями, и, наконец, небольшой прозаический набросок в жанре психологического портрета о гувернере Иконникове, личности неординарной, странной, но по-своему интересной. В дневник вносится и сообщение особой важности: «Жуковский дарит мне свои стихотворения» (т. е. I часть «Стихотворений В. Жуковского». — *Р. И.*), что означало признание Пушкина как поэта в петербургских литературных



кругах, близких Карамзину. Позднее, в 1816 году, Пушкин получит от Жуковского «Певца в Кремле» с лестной надписью «Поэту-товарищу от автора».

К этому времени в Лицее вовсю кипит и собственная литературно-художественная жизнь. Задумываются и осуществляются журналы. По словам историка Лицея К. Я. Грота, это было «одно из ярких выражений лицейских ежедневных интересов и внутренней интимной жизни, взаимных отношений воспитанников, а равно и отношения их к наставникам и окружающей внешней жизни». Начало «журнальной» деятельности, охватившей в Лицее самый широкий круг участников, положил М. С. Пилецкий, предложивший образовать общество или кружок для литературных занятий воспитанников. Общество выпустило один номер журнала «Вестник», которому, видимо, предшествовала «Сарско-Сельская лицейская газета» (несохранившаяся). Лицейские журналы были рукописными, их издателями и редакторами выступали Корсаков, Илличевский, Дельвиг и даже не склонный к сочинительству Данзас. В 1812 году к этой работе подключился и Пушкин. Достоверно известно, что он участвовал в создании «самого аристократического» журнала «Неопытное перо» (журнал не сохранился), сотрудничал в «Юных пловцах» (о которых известно из письма губернатора Иконникова) и был составителем сборника лицейских эпиграмм «Жертва Мому». Незадолго до выхода из Лицея Пушкин начал собирать и первый сборник своих стихотворений (так называемую «Лицейскую тетрадь»). Тексты для сборника переписывал не только сам Пушкин, но и его товарищи, что уже само по себе характеризует царивший в Лицее дух взаимопонимания, коллективного творчества и особое значение, которое приобрела в стенах Лицея пушкинская поэзия. К этому времени Пушкин написал множество стихотворений высочайших художественных достоинств и стал полноправным участником литературной жизни Петербурга.

Выпускной акт в Лицее (после прошедших в мае 1817 года выпускных экзаменов) состоялся 9 июня. Он был скромным, почти домашним, и происходил в присутствии Александра I и нового министра просвещения А. Н. Голицына. Краткую, ничем не запомнившуюся речь произнес новый (с 1816 года) директор Е. А. Энгельгардт, с которым Пушкин, несмотря на все усилия последнего, так и не сблизился. Блистательный оратор



Е. А. Энгельгардт  
Неизвестный художник

Куницын на этот раз читал официальный отчет. Царь ограничился кратким «отеческим наставлением» окончившим учебу воспитанникам Лицея.

Затем хором была исполнена на слова Дельвига «Прощальная песнь», взволновавшая и растрогавшая всех, с ее удивительными пророческими словами:

*Друг на друге остановите  
Вы взор с прощальною слезой!  
Храните, о друзья, храните  
Ту дружбу с тою же душой.*

*То ж к славе сильное стремленье,  
То ж правде — да, неправде — нет.  
В несчастье — гордое терпенье,  
И в счастье — все равно привет!*

Таким был последний дружеский завет; тогда же лицеисты дали клятву в вечной дружбе, а день 19 октября, ежегодно (за

Приветствую вас душой, и в сердце  
 воспоминаний и надежд, и в мысли  
 людей, которые вдали от вас  
 живут, и в сердце: в сердце  
 и в сердце.

Александр Пушкин

Запись в альбом Е. А. Энгельгардту. 1817

Автограф А. С. ПУШКИНА

немногими исключениями) отмечаемый бывшими лицеистами, стал для них символом высокой духовной связи, соединившей их в братство.

Слова припева «Прощальной песни»:

**Судьба на вечную разлуку,  
 Быть может, здесь сроднила нас! —**

для многих оказались пророческими, в том числе и для самого автора песни.

11 июня 1817 года Пушкин вместе с Комовским, Масловым, Кюхельбекером, Брогльо, Бакуниным и Ломоносовым покинул Царское Село. Впереди была взрослая петербургская жизнь.





## «В Коломну, к Покрову»

**В** Петербурге Пушкин поселился у родителей, снимавших квартиру в Коломне, в доме адмирала Клокачева на набережной реки Фонтанки, рядом с Калининским мостом (ныне наб. Фонтанки, 185).

В старой Коломне проживали люди среднего достатка, которым были не по карману квартиры в центре города: небогатые дворяне, чиновники, военные в отставке, бедные вдовы, торговцы и ремесленники и другой не преуспевший в жизни народ. «Здесь при свете сальной свечи, согнувшись, сидит трудолюбие, — рассказывает мемуарист, сравнивая Коломну с аристократическими кварталами столицы, — в тесной квартирке, обращенной во двор окнами, скрывается

огромный талант; в бельэтажах здешних домов не бывает раутов; есть лавки, но нет магазинов; по улицам не только гуляют, но и ходят пешком; здесь встают, когда там еще спят, и ложатся спать, когда там собираются к вечерним выездам».

Дом Клокачева, трехэтажный, с низким первым этажом, по фасаду имел 10 окон. Первый — низкий этаж — едва ли годился для дворянской семьи. Во втором этаже снимали квартиру родители Модиньки Корфа. Квартира Пушкиных располагалась на третьем этаже. Она состояла из семи просторных комнат: три из них выходили окнами на улицу, остальные четыре комнаты и служебные, подсобные помещения — во двор, во глубине которого находился небольшой сад.

В воспоминаниях М. Корфа семейный быт Пушкиных предстал во всей своей неприукрашенности: «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня; ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана». Таким был взгляд недоброжелательно настроенного мемуариста, не принимавшего непривычного уклада жизни дворянской семьи и судившего о ней самым поверхностным образом.

Безалаберные и непрактичные, родители поэта не придавали слишком большого значения внешней респектабельности своего жилища. Семья отличалась равнодушием к быту материальному, зато жила широкими культурными интересами, которые вовсе не сводились, как это принято считать, к одним светским развлечениям, а включали театр, литературу, внимание к журнальным новинкам. Надежда Осиповна была все еще красива, любила наряжаться, что Корф также ставит ей в упрек. Семью же это, видимо, не смущало, как позднее и самого Пушкина, когда такого же рода упреки звучали в адрес Натальи Николаевны, которую он горячо взял под защиту. В письме к П. А. Осиповой от 26 октября 1835 года Пушкин пишет: «...бедная моя Натали стала мишенью для ненависти света. Повсюду говорят: это ужасно, что она так наряжается, в то время как ее свекру и свекрови есть нечего». Мемуары Корфа отражают такие же светские пересуды и в отношении родителей поэта. Между тем в холодном, неустроенном родительском доме, несмотря на вечную нехватку свечей и столовых приборов (за



которыми также посылали к образцово-хозяйственным Корфам), жилось вольготно как повзрослевшим детям, так, видимо, и слугам. Сергея Львовича и Надежду Осиповну никак нельзя упрекнуть ни в излишней строгости по отношению к первым, ни в жестокости — ко вторым. Ольга и Александр (младший Левушка находился в Благородном пансионе) имели необходимую свободу для самых разнообразных занятий, что в конечном счете способствовало их стремительному духовному росту.

В петербургские годы Ольга для Пушкина — близкий друг, родственная душа, доверенная его сердечных тайн. Выбирая героиню для своего романа «Евгений Онегин», Пушкин на первых порах видел в сестре ее прототип и лишь в ходе работы над второй главой романа отказался от первоначального замысла. Портрет сестры в ранних черновиках романа отражает размышления автора на эту тему.

Конечно, жизнь в доме Клокачева не была безоблачной: она омрачалась скупостью отца и вспыльчивостью матери, однако благодаря сердечности и доброте бабушки Марии Алексеевны (умершей в 1818 году в Михайловском, а до этого жившей с родителями поэта) взаимные неудовольствия и обиды не приводили к конфликтам и ссорам.

Переезд в Коломну в июне 1817 года не был, однако, для Пушкина первым знакомством с новым местом жительства родителей: в лицейские годы поэт бывал здесь дважды — на рождественских каникулах в конце декабря 1816 года и на Пасху в 1817 году.

О первой из этих поездок почти не сохранилось сведений, кроме лицейского письма А. Горчакова к тетке Е. Н. Пещуровой с сообщением о том, что лицеистам наконец-то разрешили выехать из Царского Села на рождественские праздники. Общая праздничная обстановка города, радость от встречи с родными, семейная трапеза, рождественские подарки, торжественные богослужения в многочисленных церквах — одним словом, все то, что несло с собою в те времена Рождество, по контрасту с лицейским затворничеством поднимало настроение юного лицеиста, а возможность побродить по оживленным улицам, смешаться с шумной, веселой толпой, проехаться (даже в семейном рыдване) по нарядному красочному городу отвлекали от однообразных картин окраинной Коломны. Петербург после

пятилетнего отсутствия — зимний, блестящий — не разочаровал поэта.

На пороге предстоящего окончания Лицея не мог не возникнуть в кругу семьи разговор о будущем Александра. Увлеченный дружбою с гусарами, Пушкин собирался было поступить на военную службу в лейб-гусарский полк. Сергей Львович не возражал против желания сына быть военным, но, может быть вспоминая и свою молодость, предпочел бы видеть его в рядах гвардейской пехоты. Не последнюю роль играли и сугубо «материальные соображения» (гусару требовалось большее содержание, чем «пехотинцу»). Впрочем, планы эти быстро переменялись и выбор был решен в пользу службы гражданской.

Природная живость, отсутствие какого-либо ханжества, наблюдательность и юмор, которыми природа щедро наделила Пушкина, вызывали с его стороны не совсем почтительную реакцию на рождественские таинства. Используя евангельскую легенду, Пушкин остроумно высмеял нравы высшего офицерства из числа аракчеевских фаворитов и любовницу самого грозного временщика — Пукалову.

Такова предыстория первого из пушкинских нозелей (так назывались сатирические куплеты, пародирующие рождественский миф). Он начинался строкой «В конюшнях Левашова рождается Христос». Вопрос о времени написания этого нозеля остается пока открытым, но приуроченность воссозданной в нем ситуации к рождественским дням конца 1816 года представляется наиболее вероятной.

Второй раз лицеисты были отпущены в Петербург весной, на Пасху, которая приходилась в 1817 году на 25 марта. «...Недавно я говел, — сообщает Пушкин Вяземскому в письме от 27 марта, — исповедовался — все это не забавно». Как видим, настроение у пишущего эти строки не слишком веселое. Ранней весной Петербург не кажется заманчивым — влажный воздух, по большей части пасмурная погода, серые краски. Да и общая атмосфера страстной недели иная, нежели в Рождество, более сумрачная, торжественная. Посещал ли Пушкин церковь на Пасху? Ответ может быть только утвердительным, ибо это было строго обязательно для русского дворянина, тем более жившего в столице, на виду...

Дом Клокачева относился к приходу Покровско-Коломенской церкви, что стояла на небольшой Покровской площади



«Домик в Коломне»

Рисунок А. С. ПУШКИНА. 1830

(ныне пл. Тургенева, церковь не сохранилась). В этой скромной церквушке поэт бывал не раз, переехав в Коломну. Слушая церковное богослужение, он наблюдал за публикой, обычно простой, невзрачной, не думая о творческом воссоздании своих впечатлений. Однако они оказались глубокими и настолько яркими, что им нашлось место в позднейших творческих замыслах Пушкина. В 1830 году была написана шутливая и одновременно грустная поэма «Домик в Коломне», в которой ожили его юношеские воспоминания. Рассказывая в торжественных октавах простую и незатейливую историю любви Параша, жившей в скромном деревянном домишке со своей матерью-вдовой, поэт включил в поэму и «церковный эпизод»:

*По воскресеньям, летом и зимою,  
Вдова ходила с нею к Покрову  
И становилась перед толпою  
Укрылоса налево.*

Не описывает ли здесь Пушкин то место, с которого сам наблюдал за происходившим в церкви? Недаром эта сцена вызывает в памяти автора воспоминания своей далекой юности:

*Я живу  
Теперь не там, но верно мечтою  
Люблю летать, заснувши наяву,  
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье  
Там слушать русское богослуженье.*

Русское богослужение запомнилось Пушкину, как видим, не строго обязательным присутствием в придворной церкви Екатерининского дворца (на последних курсах лицеистов «прикрепили» к ней), не торжественными молебнами в нарядном Николе Морском, расположенном тоже в Коломне, не даже пасхальной



службой 1818 или 1819 года в маленькой церкви Театральной школы (о чем рассказала в своих воспоминаниях А. М. Колосова-Каратыгина), но впечатлениями от посещения Покровско-Коломенской церкви. Здесь он наблюдал героиню одной громкой истории, случившейся в Коломне во времена его молодости.

Пушкин не был знаком с Екатериной Буткевич, будущей графиней Стройновской, которую ее родители, жившие по соседству с Пушкиными, выдали замуж за семидесятилетнего богача В. Стройновского. Племянник графини, Н. С. Маевский, утверждал (не без оснований), что Пушкин ходил «в церковь Покрова любоваться ею». В этой церкви происходило и венчание молодых (такова, видимо, была воля невесты и ее родителей). Выполняя, скорее всего, волю молодой жены, не желавшей разлучаться с близкими, Стройновский купил тут же, в Коломне, небольшой, но красивый особняк, роскошно отделав его и украсив картинами и статуями. Появление графини Стройновской в высшем петербургском свете наделало много шума. Свой первый танец на балу она танцевала с Александром I и удостоилась внимания одного из тогдашних светских львов, красавца А. И. Чернышева, после чего ревнивый муж перестал вывозить ее в свет и окончательно запер в роскошном особняке. Были ли известны Пушкину подробности дальнейшей судьбы этой глубоко несчастной женщины, мы не знаем, но она в течение многих лет занимала воображение поэта. Работая над своей первой петербургской поэмой «Руслан и Людмила», Пушкин, как считает исследователь Б. Матвеевский, воспользовался некоторыми деталями нашумевшей истории замужества Екатерины Буткевич. В тексте поэмы исследователь усмотрел множество намеков на отталкивающую личность ее престарелого жениха, увидев в похищении Людмилы карлом Черномором отзвуки реальных событий. Скрытый драматизм ощущается в сцене посещения графиней скромной коломенской церкви, воссозданной (уже как личное воспоминание автора) в «Домике в Коломне»:

*Туда, я помню, ездила всегда  
Графиня... (звали как, не помню, право).  
Она была богата, молода;  
Входила в церковь с шумом, величаво;  
Молилась гордо (где была горда!).  
Бывало, грешен, все гляжу направо,  
Все на нее...*



Пушкин, как считает Б. Матвеевский, видел в истории замужества Татьяны Лариной судьбу Екатерины Стройновской. Она оказалась в числе прототипов пушкинской героини, напоминая ее не чертами внешнего или внутреннего облика, но своей женской судьбой (замужеством за богатым, но нелюбимым человеком, верностью своему супружескому долгу).

Так коломенские впечатления органически вошли в мир пушкинского творчества со всем его богатством и разнообразием.

Судьба, однако, подарила Е. Стройновской позднее счастье. В 1835 году, после смерти мужа, она снова вышла замуж за флигель-адъютанта Э. А. Зурова, любившего ее со времен их ранней юности. В. П. Старк, обнаруживший и опубликовавший портреты супругов Зуровых, в своей книге «Портреты и



*Е. А. Зурова, урожд. Буткевич*

Неизвестный художник.

Конец 1830-х — начало 1840-х годов

лица» подробно рассказывает об удачно сложившейся служебной карьере Зурова, в браке с которым женщина, ставшая прототипом пушкинской героини, «нашла, наконец, утешение».

Между тем коломенская жизнь поэта шла своим чередом. В начале 1819 года В. А. Эртель, в то время молодой литератор, вместе с Дельвигом и Баратынским посетил скромное жилище поэта.

Воспоминания Эртеля донесли до нас образ молодого Пушкина в первые годы его послелицейской жизни. В них воссозданы и обстановка, которая окружала тогда Пушкина, и творческие его занятия, и его живой, непредсказуемый в своих реакциях на окружающее темперамент: «Мы взойшли на лестницу; слуга отворил двери, и мы вступили в комнату Пушкина. У двери стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкою на голове. Возле постели и на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. При входе нашем Пушкин продолжал писать несколько минут, потом, обратясь к нам, как будто уже знал, кто пришел, подал обе руки моим товарищам со словами: „Здравствуйте, братцы!“ Вслед за сим он сказал мне с ласковой улыбкой: „Я давно желал знакомства с вами, ибо мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где лучше достать устрицы”».

Смущенный такой репутацией, Эртель перевел разговор в серьезный, уже сугубо литературный план: «Мы говорили о древней и новой литературе и остановились на новейших произведениях. Суждения Пушкина были вообще кратки, но метки; и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность».

Эртель попросил Пушкина прочесть отрывки из новой поэмы. Автор прочел из «Руслана» несколько сцен, вызвав бурное восхищение: «Какая оригинальность в изобретении! какое поэтическое богатство! какие блистательные картины! какая гибкость и сладкозвучие в языке!»

Поэма «Руслан и Людмила» стала настоящим событием в литературной жизни Петербурга конца 1810-х годов. Пушкин читал ее в кругу своих друзей-литераторов, с которыми познакомился и сблизился еще на лицейской скамье.



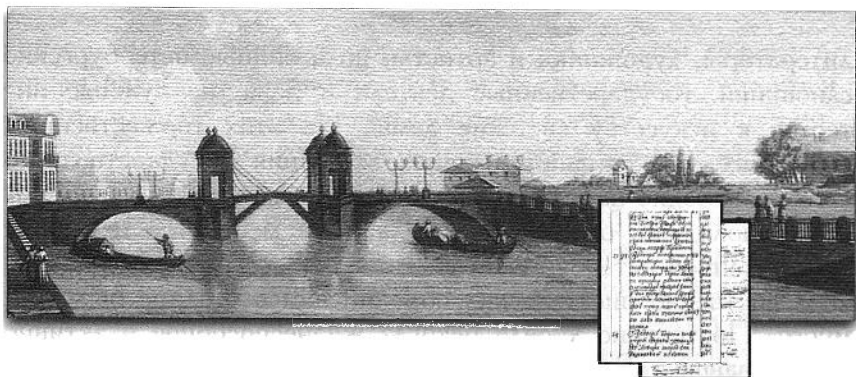
В. А. Жуковский

О. ЭСТЕРРЕЙХ. 1820

Самым значительным из них становится в эти годы Жуковский, живший неподалеку, тоже в Коломне, в доме купца Брагина (ныне пр. Римского-Корсакова, 43) вместе со своим приятелем А. А. Плещеевым.

Здесь звучали главы «Руслана и Людмилы», крепили связи Пушкина с «Арзамасом», ибо общество это было учреждено Жуковским и его ближайшими петербургскими друзьями.





## «Арзамас»

**В** хождению Пушкина в петербургские литературные круги предшествовали заметные перемены: рушились авторитеты, доселе казавшиеся непререкаемыми, изживали себя столпы классицизма, до недавнего времени почти безраздельно владевшие «русской словесностью». Близился конец и «Беседы любителей русского слова», с 1811 года объединявшей всех литературных знаменитостей столицы. Заседания этого общества, сыгравшего поначалу важную роль в консолидации петербургских культурных деятелей, происходили в доме Г. Р. Державина, сохранившегося, правда в перестроенном виде, до наших дней (ныне наб. Фонтанки, 118). В парадном двухсветном с хорами зале этого дома собирались на публичные чтения не только



литераторы, художники и артисты, но и видные петербургские сановники, государственные деятели и даже не чуждые интересы к искусству светские дамы. На этих торжественных собраниях, чем-то напоминающих заседания Государственного Совета, нередко царила скука. Публика зевала и томилась, поэтому молодежь охотнее посещала дома меценатов и салоны просвещенной петербургской знати.

Собственно писательских объединений в столице было немного. Постепенно хирело некогда жизнеспособное и активно действовавшее «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», в котором начиналась литературная деятельность Батюшкова, Гнедича, Востокова; старые формы литературного общения обветшали. Им на смену шли иные силы, выдвигались совсем новые люди — молодые, энергичные, европейски образованные.

Еще на лицейской скамье Пушкин услышал о новом обществе с необычным названием «Арзамас», окруженном ореолом таинственности. Поводом к его созданию послужила комедия А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», премьера которой состоялась 23 сентября 1815 г. на сцене петербургского Нового театра. В ней под видом поэта Фиалкина был высмеян Жуковский, в защиту которого выступили его ближайшие друзья. Было решено создать особое литературное общество — шуточное объединение безвестных любителей словесности — «Арзамас». Оно ведет свое летоисчисление от «липецкого потопа», обрушившегося на «невинно умученные» баллады Жуковского, которые подверглись в комедии Шаховского насмешкам и издевательствам.

Общество, очень быстро вовлекшее в свои ряды всех тех, кто не мирился с рутинной, литературной отсталостью и выступал противником обветшалых догм классицизма, постепенно завоевало симпатии всего образованного Петербурга. Оно не устраивало публичных, многолюдных заседаний, избегало широкой гласности и, казалось, не преследовало серьезных целей. На первых порах число членов «Арзамаса» было настолько незначительным, что не приходилось говорить о его влиянии на умственную жизнь столицы: просто кружок друзей-единомышленников. И все же молодые литераторы, образовавшие общество «безвестных людей», были далеко не ординарными. А. Тургенев, Блудов, Дашков, Уваров, Вигель и, конечно же, Жуков-

ский отличались широкой образованностью, тонким художественным вкусом, а главное, чувством юмора, даром меткого и живого слова, беспашабной веселостью, обычной спутницей молодости. Ко времени создания «Арзамаса» у каждого за плечами был опыт борьбы с литературными староверами из «Беседы любителей русского слова», которых они именуют «губителями русского слова». Открытое столкновение двух позиций, двух взглядов на цели и задачи искусства становилось неизбежным. В «Беседе» витийствуют, читают громоздкие эпопеи и неуклюжие, бездарные вирши, а затем издают плоды своих трудов. В «Арзамасе» потешаются над живыми трупами — «покойниками» из «Беседы», читая им похвальные речи, подтрунивают над чопорной публикой, зевающей на заседаниях общества, смеются и над собою, веселятся, проказничают. В шутивно-пародийных формах арзамасских собраний без труда угадываются демократические порядки. Председателя избирают общим голосованием и облачают в красный колпак, символизируя свободу и независимость мнений; члены общества именуются гражданами или «согражданами».



*П. А. Вяземский*

К. Я. РЕЙХЕЛЬ. 1817

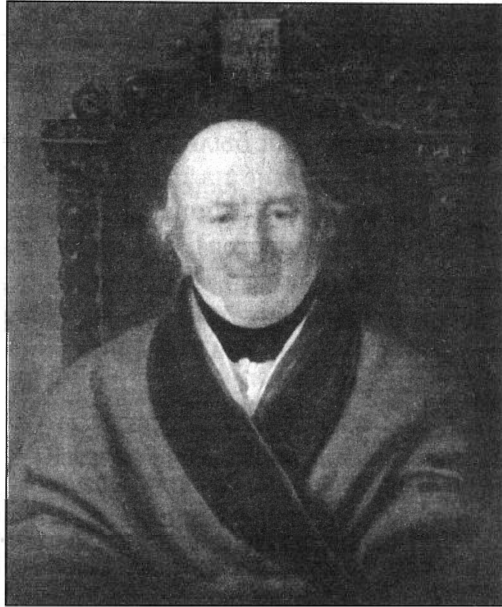


Арзамасские собрания заканчивались дружеским ужином, за которым обычно подавали к столу жареного гуся (город Арзамас славился гусями). Гусь становится шутливой эмблемой общества. Почетные члены общества (число их будет стремительно возрастать) считаются «почетными гусями» «Арзамаса» (Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев и др.). В общество один за другим вступают П. Вяземский, Д. Давыдов, К. Батюшков, В. Л. Пушкин и многие другие. Все они, отрекшись от своих имен, демонстративно нарекаются прозвищами, заимствованными из баллад Жуковского (Ахилл, Кассандра, Светлана, Ивиков журавль, Чу, Эолова арфа, Вот).

Впоследствии, опасаясь обвинений в «недозволенной деятельности», С. Уваров будет всячески подчеркивать дружеский, сугубо частный, развлекательный характер «Арзамаса», однако в обществе отразились глубокие внутренние процессы русской жизни начала XIX века. В боевых схватках арзамасцев с беседчиками, в насмешках над мертвой схоластикой их писаний, в колких выпадах арзамасских пародий и разящей остроте эпиграмм скрывались новые представления о личности, постепенно высвобождавшиеся из-под власти узкословной морали и этики. В «Арзамасе» боролись за подлинно национальную, высокохудожественную литературу, мечтали о гармоническом расцвете человека, горячо ратовали за развитие общественного прогресса. «Арзамас» стал средоточием лучших литературных сил России. По глубокому замечанию Вяземского, «Арзамас» был школой «литературного товарищества», а подчас и литературного ученичества: в нем придавалось огромное значение процессу формирования художника-творца. В этом одна из причин повышенного внимания к творческому росту юного Пушкина, на которого арзамасцы возлагали особые надежды.

Арзамасские традиции Пушкин усвоил в лицейские годы. Юный поэт пристально следил за деятельностью «Арзамаса». «Безбожно молодого человека держать взаперти, — жаловался он князю Вяземскому в письме от 27 марта 1817 года, — и не позволять ему участвовать даже в невинном удовольствии погреть покойную Академию и Беседу губителей Российского слова». Адресованное Жуковскому послание «Благослови, поэт» он многозначительно подписывает «Арзамасец». В свой лицейский дневник, от которого до нас дошел фрагмент с записями конца ноября — декабря 1815 года, юный автор включает





А. А. Шаховской  
Неизвестный художник

первые арзамасские записи — шутовую кантату Д. В. Дашкова «Венчание Шутовского», посвященную «чествованию» автора «Липецких вод» А. А. Шаховского. Записи свидетельствуют, что юный Пушкин имел возможность получать сведения о деятельности «Арзамаса» (особенно бурно протекавшей именно в последние месяцы 1815 года), что называется, «из первых рук». «Шишков и госпожа Бакунина увенчали недавно князя Шаховского лавровым венком, на этот случай сочинили очень остроумную пьесу под названием „Венчание Шутовского“» — таким разъяснением предваряет Пушкин в дневнике запись текста кантаты:

*Вчера в торжественном венчанье  
Творца затей  
Мы зрели полное собранье  
Беседы всей;  
И все в один кричали строй:  
Хвала, хвала тебе, о Шутовской!  
Хвала, Герой!  
Хвала, Герой!*



Пушкинский текст несколько отличается от дашковского. Видимо, он был записан по памяти либо восходил к одному из рукописных списков, имевших хождение в петербургских литературных кругах.

Первые арзамасские уроки были прочно усвоены юным поэтом. Во всяком случае, многие из пародийных образов кантаты, такие как «старик седой» (Шишков), «Хлыстов» (печально знаменитый графоман Хвостов), также другие «певцы, отвергнутые Фебом» (например «Шихматов безглагольный», автор тяжеловесных эпических поэм, избегавший глагольных рифм), нашли себе пристанище в сатирических стихах и эпиграммах юного Пушкина.

*Узрюмых тройка есть певцов —  
Шихматов, Шаховской, Шишков,  
Уму есть тройка супостатов —  
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,  
Но кто глупей из тройки злой?  
Шишков, Шихматов, Шаховской!*

Так еще на лицейской скамье Пушкин стал настоящим арзамасцем: его хлесткие, остроумные стихи становились известными в Петербурге, и юный поэт был принят в дружную семью арзамасцев.

«Я не спросил тогда, за что его называли Сверчком, — пишет в своих мемуарах Ф. Вигель, — теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос». Арзамасское прозвище Пушкина, взятое из баллады Жуковского «Светлана» («Крикнул жалобно Сверчок, Вестник полуночи»), закрепилось за поэтом надолго. Этим именем он подписывает арзамасские стихи и письма, сохраняя в течение всей жизни верность арзамасскому братству. И уже в лицейские годы Пушкин входит в «Арзамас» на равных с его создателями и хранителями.

В конце 1816 года В. Л. Пушкин получит от племянника яркое арзамасское письмо в стихах и прозе, классический образец этого жанра. Легко и артистично меняя тональность, краски, обновляя художественную ткань затейливого арзамасского слога, Пушкин восклицает:

**Тебе, о Нестор Арзамаса,  
В боях воспитанный поэт, —  
Опасный для врагов сосед  
На страшной высоте Парнаса,  
Защитник вкуса, грозный ВОТ!**

Юный проказник, посвященный во все сложные перипетии арзамасских баталлий и шутовых перепалок в среде самих арзамасцев, не без тонкой иронии, хотя и добродушно, задевает в письме дядю, назвавшего юного поэта своим братом по Парнасу:

**Я не совсем еще рассудок потерял,  
От рифм бакхических шатаюсь на Пегасе.  
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад,  
Нет, нет, вы мне совсем не брат,  
Вы дядя мой и на Парнасе.**

Не сохранилось никаких воспоминаний о том, как происходила церемония вступления Пушкина в «Арзамас» после окончания им Лицея. Неизвестна и точная дата этого важного события и в жизни Пушкина, и в истории «Арзамаса». Со слов одного из основателей общества (Д. Н. Блудова), пушкинист П. И. Бартенев относит вступление Пушкина в «Арзамас» к концу сентября — первым числам октября 1817 года. В памяти Блудова сохранились лишь отдельные фрагменты прочитанного Пушкиным на этой церемонии стихотворного приветствия «Арзамасу». Оно облечено в форму «похвальной речи» (и, в нарушение арзамасской традиции, написано стихами), однако обращено не к используемому в таких случаях для создания комического эффекта «покойнику» из «Беседы» (уже прекратившей к тому времени свое существование), а к самому «дивному Арзамасу», объединявшему друзей «смелых муз», иными словами — поэтов-новаторов, ниспровергателей устаревших норм и канонов.

В одном из трех запомнившихся Блудову фрагментов этого послания Пушкин выразительными штрихами воссоздает обобщенный портрет арзамасца с его важнейшими атрибутами: «беспечным колпаком» (символом свободы и независимости арзамасских мнений), шутовской погремушкой (намекающей на шуточный, «несерьезный» характер арзамасских сборищ), лаврами (которыми увенчаны в «Арзамасе» истинные поэты) и розгами, которыми арзамасцы секут своих литературных врагов. К сожалению, сохранившиеся фрагменты не позволяют в пол-



ной мере судить о том, как развивалась и конкретизировалась избранная Пушкиным поэтическая тема. Однако второй из трех сохранившихся фрагментов до некоторой степени восполняет этот пробел, поскольку в нем Пушкин дает меткую характеристику двух наиболее видных и активных деятелей общества, его «устроителей» — Жуковского и Блудова, используя при этом особую художественную палитру арзамасской буффонской поэзии. Комический эффект при создании шуточного портрета Жуковского возникает из сочетания слов и понятий высокого ряда («наш Тиртей», как именовался прославленный автор «Певца во стане русских воинов» и послания «Императору Александру») с обыденной лексикой («Славил... кисель», т. е. переведенную Жуковским «простонародную» идилию швабского поэта Гебеля «Овсяный кисель»).

Более всего был обязан «Арзамас» своими ритуальными зачетами и необычными формами литературного общения Жуковскому. Он пришел в «Арзамас» с опытом шуточного содружества, восходящим ко временам его молодости. В имении его родных Муратове и поместье Чернь А. А. Плещеева (которого Жуковский тоже обратит в «арзамасскую веру») разыгрывались забавные представления, пародировались баллады Жуковского, выпускались юмористические журналы и газеты («Муратовский сморчок», «Муратовская вошь» и др.). Но Жуковский внес в «Арзамас» и нечто большее: он способствовал утверждению в обществе духа подлинного товарищества, равенства всех его членов в сочетании со строгой требовательностью к каждому.

Согласно сложившейся традиции, Жуковский тоже получил арзамасское прозвище (Светлана), взятое из лучшей его баллады и удивительно точно выражающее характер Жуковского — его светлый ум, добродушный характер, доброжелательность, уступчивость и мягкость. Жуковский стал бессменным секретарем общества. Это его рукой были написаны дошедшие до наших дней шуточные — прозаические и стихотворные — протоколы «Арзамаса». Он был изобретателем «арзамасской галиматши», создателем особого «арзамасского наречия», но вместе с тем он был и самым значительным, самым талантливым поэтом «Арзамаса», уступив позднее свое первенство только Пушкину.

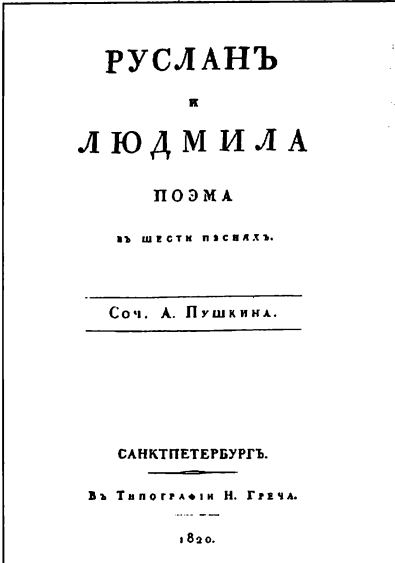
Участие в «Арзамасе», усвоение шуточных форм арзамасской поэзии расширило и обогатило пушкинское восприятие творчества и личности Жуковского. Уже в своем стихотворном

приветствии «Арзамасу» юный поэт придает образу Жуковского легкую юмористическую окраску, чутко улавливая в облике воинственного «Гиртея» иные, мирные и даже идиллические черты.

В послелицейский период образ Жуковского в поэзии Пушкина до известной степени раздваивается. В серьезных, предназначенных для печати стихотворениях Пушкин следует распространённому, во многом традиционному взгляду. Таковы второе послание «Жуковскому» («Когда к мечтательному миру») и надпись «К портрету Жуковского». В стихах же шуточных, бытующих в узком дружеском кругу, образ маститого поэта получает целый комплекс юмористических и даже комических черт. При этом на вооружение берется богатый арсенал арзамасских стихов, в частности шуточная поэзия самого пушкинского адресата. Дружеское общение поэтов отразилось в малых жанрах поэтической юмористики (шуточных экспромтах, эпиграммах, шаржах и пародиях). Возникающий в них художественный образ контрастно сочетает богатство литературных «ликов» Жуковского, сопутствующих возвышенному представлению о многогранности его поэзии, с конкретным образом реальной личности. Прием подобного контраста отчасти организован шуточный экспромт «Штабс-капитану, Гете, Грею» (1817). Комический эффект возникает здесь из несоответствия скромного воинского чина поэта (над которым он сам охотно подтрунивал) со значительностью и важностью той роли, которую он играет на русском Парнасе, где он одновременно совмещает в себе отечественных Гете, Грея, Томсона и Шиллера, мирно уживающихся под одной домашней кровлей со своим скромным «товарищем» — отставным штабс-капитаном Жуковским. Эта биографическая деталь (между прочим, намекающая и на недавнее участие Жуковского в Отечественной войне) делает образ знаменитого поэта более живым, приближает его к читателю.

Таким предстал Жуковский и в шуточных строфах поэмы «Руслан и Людмила», вместившей в себя все богатство послелицейских впечатлений Пушкина:

*Поэзии чудесный гений,  
Певец таинственных видений,  
Любви, мечтаний и чертей,  
Могил и рая верный житель,  
И музы ветреной моей  
Наперсник, пестун и хранитель!*

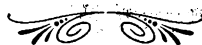


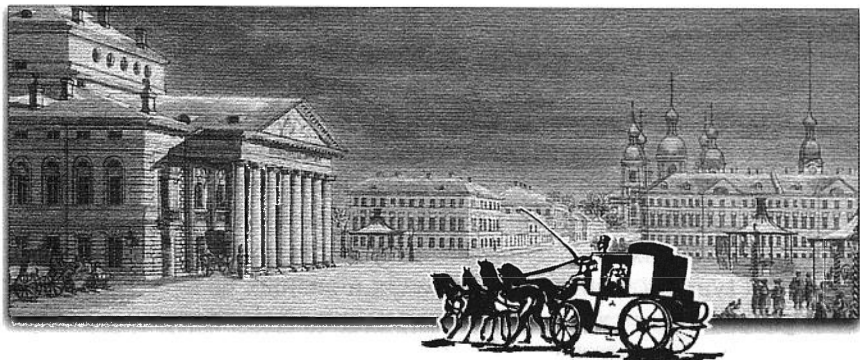
*Титульный лист поэмы  
«Руслан и Людмила».*

1820

Жуковским в период расцвета «Арзамаса» (1815—1817). Вот начало одного из таких писем, которое подтверждает верность Пушкина арзамасскому братству, пронесенную через годы его ссылки. «В лето 5 от Липецкого потопа — мы, превосходительный Рейн (арзамасское прозвище М. Ф. Орлова. — Р. И.) и жалобный сверчок, на лужице города Кишинева, именуемой Быком, сидели и плакали, вспоминая тебя, о Арзамас, ибо благородные гуси величественно барахтались пред нашими глазами в мутных водах упомянутой. Живо представились им ваши отсутствующие превосходительства, и в полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов православного братства, украшающего берега Мойки и Фонтанки». Видимо, арзамасские встречи навсегда остались в памяти Пушкина.

Обратимся и к другим событиям послелицейской поры. Лето 1817 года Пушкин провел в Михайловском, откуда возвратился в конце августа.





## «Вольностью дыша»

**П**етербург готовился к осенне-зимнему сезону. Он встретил поэта шумной сутолокой на улицах, многоголосием толпы, сверкающими огнями вечерних фонарей. Ожили присутственные места, парки, кафе и рестораны, наполнились публичной театры. Столичная жизнь сразу же захватила поэта и вовлекла его в свой бурный круговорот.

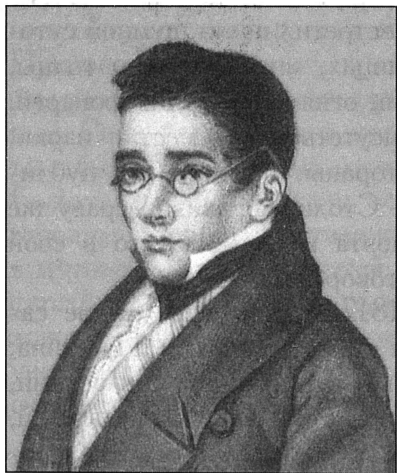
Осень 1817 года — едва ли не самая светлая пора молодости Пушкина, не омраченной еще ссорами с властями, клеветой и завистью недоброжелателей, неурядицами в родительском доме. Богатая новыми впечатлениями и яркими событиями жизнь казалась заманчивой. Опьяняла свобода, возможность распорядиться своим временем, занятиями и



досугом. Перед поэтом раскрылись поистине неисчерпаемые источники творческого вдохновения.

Пушкин с головой окунулся в новую среду, завел знакомства среди щеголей и повес, пережил немало мимолетных увлечений — одним словом, стал по выходе из Лицея вести типичный для человека его круга образ жизни. Ничем, казалось бы, не отличаясь от своих сверстников, молодых петербургских аристократов, Пушкин появляется на балах и званых вечерах, участвует в увеселениях столичной знати, становится заметным в высшем петербургском свете. Но как и герой «Египетских ночей» Чарский (ведущий «жизнь самую рассеянную» и неизбежный на всех балах и приемах, «как резановское мороженое»), Пушкин был истинно счастлив лишь в своей тесной коломенской каморке, где ему вольно дышалось и где он мог свободно творить. Плетнев писал: «Без особых причин никогда он не изменял порядка своих занятий. Везде утро посвящал он чтению, выпискам, составлению планов или другой умственной работе. Вставая рано, тотчас принимался за дело. Не кончив утренних занятий своих, он боялся одеться, чтобы преждевременно не оставить кабинета для прогулки».

Служба не тяготила Пушкина. Вместе с несколькими лицейскими товарищами он был зачислен в Коллегию иностранных дел еще 9 июня 1817 года и почти сразу же подал прошение об отпуске в Псковскую губернию «для приведения в порядок домашних дел». Почти одновременно с ним был зачислен в коллегию и Грибоедов. Тогда, видимо, и состоялось их первое знакомство. Служебные обязанности будущих дипломатов оказались несложными, они не требовали постоянного «присутствия» и ограничивались редкими дежурствами в здании коллегии на Английской набережной (ныне дом 32). Жалованье было довольно скромным (700 рублей в год), его едва ли хватало на лю-



А. С. Грибоедов  
Неизвестный художник.  
1820-е годы

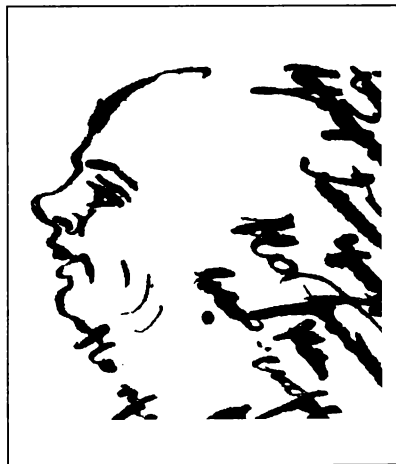


бимые устрицы, да и Сергей Львович не слишком баловал сына. Но молодость брала свое: беспечный, жизнерадостный поэт не унывал, иногда поигрывал в карты, в печати появлялись его стихи, росла его известность в литературных кругах.

В Коллегии иностранных дел служили «не денег ради», но ради будущей карьеры. Служба эта считалась престижной, открывая пути наверх, на дипломатическое поприще, которое избрали лицейские друзья Пушкина Ломоносов и Горчаков. Пушкина же дипломатическая карьера не прельщала, в службе он не преуспел, да и не стремился преуспеть. «Начальников» явно избегал, чиновников сторонился.

С кем встречался Пушкин, бывая изредка «в присутствии»? Маловероятно, чтобы совсем еще юный да к тому же и не слишком радивый чиновник коллегии мог часто общаться со своим прямым начальником К. Нессельроде (личные их отношения завяжутся позднее, уже в 1830-е годы), но зато поэту, видимо, был гораздо ближе ведавший всеми делами коллегии граф И. А. Каподистрия, человек высоких моральных принципов, гуманный и благородный. В трудный для Пушкина час, когда решалась его судьба и всерьез обсуждался вопрос о его ссылке, Каподистрия сумел помочь поэту, определив его в длительную служебную командировку в южные губернии России. События эти развернутся в апреле — мае 1820 года, но до этого времени служба Пушкина была вполне благополучной и не мешала его творческим занятиям.

Над чем же трудился тогда поэт? Прежде всего он продолжил работу над подготовкой к печати сборника своих лицейских стихотворений. По возвращении из Михайловского он получил возможность внимательно изучить советы и рекомендации Жуковского, ознакомившегося с «Лицейской тетрадью». Внеся в тексты стихотворений ряд исправлений, Пушкин продолжил в этой тет-



В. А. Жуковский

Шаржированный портрет.  
Рисунок А. С. ПУШКИНА. 1819



ради работу над новыми, уже петербургскими произведениями. В 1818 году в ней появятся черновики «Руслана и Людмилы», среди которых множество рисунков, портретов, в том числе и забавно шаржированный портрет Жуковского (убедительно атрибутированный Р. Г. Жуйковой).

Круг адресатов пушкинских стихов становится значительно шире. Последними отзвуками пережитой на лицейской скамье влюбленности в Екатерину Бакунину наполнены петербургские элегии Пушкина. Их значительно меньше, чем в лицейские годы, но они намного совершеннее, глубже, серьезнее. «В печальной праздности я лиру забывал», — горько сетует поэт, воскрешая мысленно те дни, когда любовь вдохновляла его, заставляла звучать струны его поэтической лиры. «Не спрашивай, зачем унылой думой» — это как бы последний всплеск угасающего чувства, это исповедь отстрадавшего, опустошенного сердца, маленький шедевр любовной лирики Пушкина. К новому приятелю (также состоявшему на службе в Коллегии иностранных дел) Н. И. Кривцову Пушкин обратит удивительные по мудрой умиротворенности стихи, полные гармонии и музыки:

*Смертный миг наш будет светел;  
И подруги шалунов  
Соберут наш легкий пепел  
В урны праздные тиров.*

Вхождение в новую культурную и социальную среду в первые годы петербургской жизни Пушкина было стремительным и органичным. Пушкин быстро осваивается в ней, приобретает обширные знакомства, отдавая предпочтение людям яркой, неординарной судьбы, известным деятелям литературы и искусства, а также тем, кто играл заметную роль в духовной жизни петербургского общества. Пушкин становится постоянным посетителем салона Лавалей на Английской набережной (ныне дом 4), где бывает весь образованный Петербург. Его приглашает к себе, в дом у Обуховского моста (ныне наб. Фонтанки, 97), президент Академии художеств А. Н. Оленин. Здесь Пушкин впервые встретит А. П. Керн, которая уже в михайловские годы вызовет у него вспышку бурной страсти.

Познакомится он и с семейством своего лицейского друга-гусара Николая Раевского: с его знаменитым отцом, героем Отечественной войны генералом Николаем Николаевичем Ра-



*Н. Н. Раевский (младший)*

Неизвестный художник. 1821

евским, его матерью Софьей Алексеевной Раевской (урожденной Константиновой, внучкой самого М. В. Ломоносова) и сестрами — Екатериной, Софьей, Еленой и Марией, той самой, которая станет женой декабриста С. Волконского и отправится за ним в Сибирь. Каждая из сестер оставила свой глубокий, незабываемый след в жизни поэта. Пушкин бывал у Раевских запросто. Однажды осенью 1818 года, отправившись с Н. Раевским навестить Жуковского и не застав хозяина дома, Пушкин написал ему шуточную записку о недавних героях «Певца во стане русских воинов» — Раевском-отце и Раевском-сыне:

*И Пушкин, школьник неприлежный  
Парнасских девственниц-богинь,  
К тебе, Жуковский, заезжали...*

Начатое в нарочито высоком регистре, послание неожиданно переключается в прозаический, сугубо бытовой план:

*Но к неотисанной печали  
Поэта дома не нашли.*



Далее все повествование стилизуется под античность: «увенчавшись» в знак скорби «кипарисом», друзья уныло бредут домой, передав отсутствующему хозяину приглашение генерала Раевского, также выдержанное в комически возвышенном (с использованием стихотворных цитат из «Певца во стане») стиле:

*Тебя зовет на чашку чая  
Раевский — слава наших дней!*

Игра планами, литературным и бытовым, их взаимные переходы и резкие контрасты создают необычайный по своей выразительности комический эффект. Шутливая записка, прикрепленная, по преданию, к дверям квартиры Жуковского (в доме Брагина), является великолепным примером арзамасского шутового послания, замечательным мастером которого Пушкин становится в эти годы. Произведений подобного рода, посвященных друзьям, знакомым, родным и даже своим литературным наставникам, Пушкин написал в это время множество. Они почти сразу и, как правило, до появления в печати делались известными всему Петербургу, переписывались, запоминались, становились летучими словами, включались в культурный обиход. Завершая свою шутливую записку, Пушкин восклицает:

*Какой святой, какая сводня  
Сведет Жуковского со мной —  
Скажи — не будешь ли сегодня  
С Карамзиным, Карамзиной?*

С Карамзиным у Пушкина — прочные, тесные, доверительно-дружеские отношения, также восходящие к лицейскому времени. В доме Карамзиных, в Царском Селе на Садовой (ныне дом 12), Пушкин бывал почти ежедневно. Осенью 1816 года, переехав на зиму в Петербург, Карамзины поселились на Захарьевской улице в доме Бажановой (дом не сохранился), где прожили три года. С осени 1818 года Карамзины переехали к Е. Ф. Муравьевой, где заняли третий этаж ее большого дома на набережной Фонтанки (ныне наб. Фонтанки, 25). Каждая из этих квартир хорошо знакома Пушкину. Карамзин продолжает опекать юного вольнодумца, стремится как-то умерить его пылкий, независимый нрав, журит за смелые антиправительственные эпиграммы. Республиканец в душе (как любит

*Н. М. Карамзин*

А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ. 1828

пошутить Карамзин), он считает самодержавную форму правления исторически сложившимся укладом Российского государства, ратует за соблюдение монархами начал строгой законности, видит основу ее утверждения в России в укреплении личной и общественной нравственности. Карамзин уже закончил свою работу над восемью первыми томами «Истории государства Российского». В момент появления Пушкина в Петербурге он готовит тома к печати, хлопочет о типографии и бумаге для издания своего колоссального труда. Выход его из печати в феврале 1818 года стал выдающимся событием культурной жизни не только Петербурга, но и всей страны.

Тяжело заболевший в самом начале января 1818 года Пушкин провел несколько недель в постели. Именно в эти дни он смог внимательно и вдумчиво ознакомиться со знаменитым трудом. В сохранившемся фрагменте своих записок Пушкин подробно рассказал о том впечатлении, которое произвела «История государства Российского» на петербургское общество. Вот как описывает он эти бурные споры: «Болезнь остановила на



время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкою. Лейтон (знаменитый петербургский врач. — Р. И.) за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии: но через 6 нед<ель> я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто; их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления одно из самых сладостных. Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, — хоть это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всею своею поэтической прелестью. Это было в феврале 1818 года. Первые 8 томов Русск<ой> Истории Кар<амзина> вышли в свет. Я прочел их в своей постели с жадностию и вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экз<емпляров> разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать Историю своего Отечества, дотоле им неизвестную.

Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моему выздоровлению, я снова явился в свете, толки были во всей силе».

Высоко оценивая «обширную ученость» Карамзина, его добросовестность в работе с источниками, Пушкин не ограничился похвалами, а подробнейшим образом рассказал о тех несогласиях с автором труда, которые высказывались и в великосветских салонах, и на холостяцких ужинах, и в кругу его ближайших друзей. «Ник<ита> Муравьев, молодой человек,



Н. М. Муравьев

П. Ф. СОКОЛОВ. 1824

умный и пылкий, разобрал предисловие или введение», а «Михаил Орл<ов> в письме к Вяз<емскому> пенял Карамз<ину>, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал романа в истории». «Некоторые остряки, — рассказывает Пушкин, — переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. <...> Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм». По рукам ходило несколько эпиграмм на Карамзина, но Пушкин, скорее всего, имел в виду следующую:

*В его Истории изящность, простота  
Доказывают нам без всякого пристрастья  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.*

Карамзин слыл противником проводимых Александром I реформ. В поданной еще в 1811 году «Записке о древней и новой России» он предостерегал царя от всяческих нововведений: «Новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям произвола». Пушкин вспоминает: «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: Итак вы рабство предпочитаете свободе. Кара<мзин> вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая гнев прекрасной души. Разговор переменялся. Скоро Кар<амзину> стало совестно, и, прощаясь со мною как обычно<венно>, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности. Вы сегодня сказали мне <то>, что ни Ших<матов>, ни Кутузов на меня не говорили». Как видим, разговоры Пушкина с Карамзиным касались самых животрепещущих вопросов русской жизни, ее коренных основ, и мнение писателя, сколь бы ни казалось оно консервативным пылкому его собеседнику, оценивалось с величайшим уважением. Что же касается главного труда Карамзина, «Истории государства Российского», то для Пушкина это «не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

В сохранившемся фрагменте записок Пушкин приводит примеры самых неожиданных суждений о труде Карамзина: «Одна дама, впрочем весьма почтенная, при мне открыв II-ю часть, прочла вслух: Владимир усыновил Святополка, однако не любил его... Однако!.. Зачем не но? Однако! как это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? Однако!»



Е. И. Голицына

Д. ГРАССИ. 1-я четверть XIX в.

Кто же была эта дама, столь сурово осудившая знаменитого писателя? Пушкин имел в виду свою петербургскую знакомую княгиню Авдотью (Евдокию) Голицыну, прозванную в свете «Prinzese Nocturne» (княгиней ночи). Ее знаменитые на весь Петербург приемы в доме на Миллионной (ныне дом 30) начинались не ранее 11 часов вечера и продолжались до глубокой ночи. В свое время гадалка предсказала ей смерть ночью, и, вступив в своеобразный спор с судьбою, княгиня Голицына перенесла свои приемы, обычно оживленные, хотя и немногочисленные, на ночное время. Личность этой замечательной и необычной женщины, не считавшейся со многими светскими условностями, привлекала к себе современников. Дом ее, вспоминал один из почитателей хозяйки салона П. А. Вяземский, «был артистически украшен кистью и резцом лучших художников <...> По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать — в этой храмине, тем более что хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служе-



ния». Друзьями Голицыной были умнейшие, талантливейшие люди России. Ее острый живой ум, величественная осанка, прекрасные глаза, горевшие огнем вдохновения, несомненные ораторские способности снискали ей репутацию Пифии. Так называл ее Карамзин, не любивший ночную княгиню, хотя и отдававший должное ее уму и высокой образованности: она знала несколько европейских языков, всерьез занималась высшей математикой, тонко разбиралась в искусстве. Голицына была женщиной европейского уровня, что не мешало ей быть отчаянной, страстной патриоткой, мечтавшей о благе России.

На этой основе произошло ее сближение с братьями Александра Тургенева — Николаем и Сергеем. Оба они провели немало лет за границей: Николай с 1813 года служил русским комиссаром Центрального административного департамента союзных правительств, которое возглавлял барон Штейн, а Сергей во Франции — при дипломатической миссии русского оккупационного корпуса под начальством М. С. Воронцова. Е. И. Голицына уже тогда состояла с братьями Тургеневыми в оживленной переписке, обсуждала дипломатические новости, требовавшие специальных знаний в области законодательства, вопросы правового характера, а также то, что в особенности волновало знаменитых своими либеральными убеждениями братьев, — необходимость отмены «рабства» русских крестьян. Как видим, круг вопросов, не совсем обычный для светской женщины. В сущности, Голицына никогда и не была великосветской дамой в точном смысле этого слова. Она не скрывала своих передовых убеждений и оппозиционных настроений, и власти ее недолюбливали. Позднее, уже при Николае I, за ее домом была установлена слежка.

Поэт познакомился с Голицыной у Карамзиных осенью 1817 года. Пройдет немного времени, и Пушкин не только оценит особое очарование «Пифии-Голицыной», но и влюбится в нее со всем пылом молодости, несмотря на значительную разницу в возрасте (Голицыной уже исполнилось 37 лет, но она была все еще необычайно хороша). 24 декабря 1817 года Карамзин с иронией информирует Вяземского, что «Пушкин влюбился в Пифию-Голицыну и проводит у ней вечера». «Вольномыслие» сообщает их отношениям не совсем обычный ореол. Голицына вызывает у поэта чувства, которым тесно в рамках элегии, мадригала или традиционного любовного послания. Не опасаясь



быть непонятым, Пушкин посылает ей свою тираноборческую оду «Вольность», имевшую невероятный успех у петербургской молодежи.

Тонко обыгрывая необычайную ситуацию — преподнесение прекрасной женщине не любовных, а политических стихов, — поэт надеется на взаимопонимание. Прославляя народную «вольность», он готов пожертвовать собственной «вольностью» во имя красоты:

*Простой воспитанник Природы,  
Так я, бывало, воспевал  
Мечту прекрасную Свободы  
И ею сладостно дышал.  
Но вас я вижу, вам внимаю,  
И что же?.. слабый человек!..  
Свободу потеряв навек,  
Неволю сердцем обожаю.*

В стихотворении «Краев чужих неопытный любитель» Пушкин рисует портрет Голицыной, объясняющий, чем она привлекала к себе поэта:

*Где женщина — не с хладной красотой,  
Но с пламенной, пленительной, живой?  
Где разговор найду непринужденный,  
Блистательный, веселый, просвещенный?  
С кем можно быть не хладным, не пустым?  
Отечество почти я ненавидел —  
Но я вчера Голицыну увидел  
И примирен с отечеством моим.*

Пожалуй, это единственный в своем роде случай, когда увлечение Пушкина прекрасной женщиной сопровождалось их полным политическим единомыслием.

Новые и старые знакомства Пушкина постепенно завязываются в тугую узел. Особенно часто бывает Пушкин у братьев Тургеневых.

Вернувшись из-за границы, Николай Тургенев поселился вместе с братом Александром в просторной квартире, расположенной на верхнем этаже дома А. Н. Голицына. Человек этот, не снискавший уважения у петербургских «либералистов», занимал в те годы пост министра народного просвещения. Один из фаворитов Александра I, в молодые годы Голицын был дружен с отцом братьев Тургеневых — известным просветителем



Н. И. Тургенев

· А. ЗЕНЕФЕЛЬДЕР, с оригинала АНТОНЕНА. 1827



И. П. Тургеневым. В доме на Фонтанке (ныне наб. Фонтанки, 20) под одной кровлей, совершенно в духе времени, когда поляризация общественных сил еще не разделила семьи и не разрушила старые семейно-дружеские связи, мирно уживался крайний монархизм с крайним же политическим вольномыслием. А. Н. Голицын был объектом ожесточенных нападок и беспощадных насмешек и даже язвительных эпиграмм (одна из них — «Вот Хвостовой покровитель» — пушкинская). Братья же Тургеневы имели в обществе репутацию либералов (недаром их называли братьями Гракхами). Все три брата, непримиримые противники «рабства» и самодержавного произвола, стремились к отмене крепостного права. Впрочем, область политики была монополией скорее Николая, чем Александра, не чуждавшегося светской суеты, человека общительного, очень доброжелательного, искреннего и сердечного, преданного своим друзьям. П. А. Вяземский вспоминал: «Он вставал рано и ложился поздно. Целый день был он в беспрестанном движении, умственном и материальном. Утром занимался он служебными делами».

А. И. Тургенев возглавлял Департамент духовных дел иностранных вероисповеданий и относился к своим обязанностям добросовестно. Отличаясь веротерпимостью, он стремился к разумному управлению делами разных вероисповеданий, сглаживал намечавшиеся было конфликты между представителями разных религий — одним словом, активно проводил в жизнь программу сотрудничества в религиозной сфере. Он стал покровителем (и эта мысль прозвучит в обращенных к нему стихах Пушкина) сектантов, не преследовал проповедников разных «ересей». Справедливости ради следует сказать, что проводимая им линия веротерпимости встречала определенную поддержку у А. Н. Голицына, оказывавшего постоянное покровительство сыновьям своего старого друга.

Квартира братьев Тургеневых к моменту появления Пушкина в Петербурге — один из главных центров культурной и политической жизни столицы. Здесь всегда было оживленно и весело. Как «в волшебном фонаре или кукольной комедии, — шутливо замечал московский приятель братьев Тургеневых А. Я. Булгаков, — то один, то другой, то поп, то солдат, то нищий, то мамзель». Об одном из вечеров в 1817 году вспоминал и сам А. И. Тургенев: «...я сблизил пасторов протестантских и

реформатских, и поэт Пушкин угощал их у меня и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим». Запись дает представление о царившей у Тургеневых непринужденной дружеской обстановке и позволяет увидеть, как рождались пушкинские стихи «Тургенев, верный покровитель...»

Замысел стихотворного послания к А. И. Тургеневу возникает и формируется в личном общении Пушкина с арзамасцами. Молодой поэт с удивительной зоркостью всматривается в характер своего адресата, человека необычайной беспечности и рассеянности. В его облике совмещаются, казалось бы, несовместимые черты и свойства: эпикурейские наклонности и аскетизм, веротерпимость с пылким христианством («проповедуешь Христа», с одной стороны, и «верный покровитель попов, евреев и скопцов» — с другой), вечная занятость с постоянной праздностью, неловкость манер с душевным благородством и т. д.

Воссоздавая в шутливой манере образ человека, проводящего свои дни в житейской суете и выступающего одновременно строгим «гонителем» чужой «праздности» и «лености», Пушкин с блеском переадресовывает Тургеневу его же обвинения:

*Нося мучительное бремя  
Пустых иль тяжких должностей,  
Один лишь ты находишь время  
Смеяться лени моей.*

Пушкин вскрывает неподдельный комизм ситуации: упреки в лени и нерадивости исходят от того, кто сам «с глубокой ленью к трудам охоту сочел»; насмешки над любовными увлечениями автора выражает «любовник страстный»; непостоянство осуждается тем, кто сам способен легко забыть «любви своей печаль». Образ адресата сближается с образом автора, для того чтобы в заключительных строках резче выявилось различие их исходных позиций: проповедуемое Тургеневым самоограничение во имя творчества и утверждение поэтом высшей ценности бытия («Поэма никогда не стоит/Улыбки сладострастных уст»).

С Николаем Тургеневым Пушкина связывают общие политические симпатии, неприятие существующих в России порядков, отрицательное отношение к крепостному праву. Ему более



всех Пушкин обязан интересом к экономике (Тургенев уже написал знаменитую книгу «Опыт теории налогов», которую давал в рукописи читать друзьям — Блудову, Дашкову, Жуковскому). Своим умением перенести сложнейшие вопросы политической экономии в сферу практическую, применить к российской действительности теоретические модели, выработанные в европейских странах, Николай Тургенев обогатит не одного только Пушкина. Вокруг будущего руководителя умеренного крыла декабристского движения и в преддверии образования «Союза благоденствия» группируются лучшие молодые умы, деятели тайных обществ: И. Пушин, И. Долгоруков, братья А. и Н. Муравьевы, М. Лунин, П. Каверин и др. Требовательный к себе и другим, Николай Тургенев «воспитывает» Пушкина, журит его за антиправительственные стихи, дает ему почувствовать, что «нельзя брать ни за что жалованье и ругать того, кто его дает». Однажды Пушкин не выдерживает и пытается вызвать Тургенева на дуэль, но, одумавшись, берет вызов обратно.

В доме Тургеневых Пушкин проходит серьезную школу политического воспитания: в атмосфере споров, обсуждения животрепещущих вопросов внешней и внутренней политики царизма рождается замысел оды «Вольность» с ее резким обличением деспотизма и тирании, широкими историческими аналогиями и картинами убийства Павла I. По свидетельству современников, поводом к созданию оды послужили впечатления от заброшенного Михайловского замка, где был убит император. Окна квартиры Тургеневых выходили на дворец, оставленный царской семьей. Проезжая как-то с Пушкиным на извозчике мимо Михайловского замка, Каверин предложил ему написать на эту тему стихотворение. Николай Тургенев уточняет свидетельство Каверина: ода была начата в его комнате и на другой день принесена ему уже завершенная. Еще более значительным было влияние Н. Тургенева на формирование антикрепостнических убеждений Пушкина. Отмена крепостного права и разные способы ее осуществления была излюбленной темой разговоров в тургеневском кругу. Николай Иванович запомнился современникам как страстный защитник интересов русского крестьянства, громивший во всеулышание помещиков-крепостников, которых он презрительно именовал «хамами».

Воссоздавая в зашифрованных строфах X главы «Евгения Онегина» галерею «славных заговорщиков» 14 декабря, Пушкин посвятил «хромому Тургеневу» (Николай хромал с детства) следующие строки:

*Одну Росси<ю> в мире видя,  
Лаская в ней свой идеал,  
Хромой Т<ургенев> им внимал  
И слово: раб<ство> ненавидя,  
Предвидел в сей толпе дворян  
Освободителей крест<ьян>.*

Написанная в 1819 году, после новой летней поездки в Михайловское, «Деревня» (первоначальное название «Уединение») еще в большей степени, чем «Вольность», отражает споры в доме Тургеневых, в которых участвовал и Пушкин. А. Тургенев, ознакомившись со стихотворением, отмечал, что в нем «есть сильные строфы против псковского хамства». Выраженные в стихотворении смелые политические идеи (и главные из них — необходимость уничтожения рабства и дарования свободы русскому народу) близки взглядам Н. Тургенева на крестьянский вопрос. Не случайно «Деревня» воспринималась как манифест передовых политических сил России.

В ноябре 1817 года младший из Тургеневых, Сергей, получив от своих братьев из Петербурга известия о Пушкине, ответил пожеланием: «Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность, и вместо оплакивания самого себя (намек на элегическую поэзию Пушкина. — Р. И.) пусть первая песнь его будет: Свободе». В сущности, так оно и произошло: художественная палитра Пушкина под воздействием новых для него творческих импульсов стала совершенно иной. Элегия и мадригал уступили место политической сатире, эпиграмме, дружескому посланию. Сменились адресаты пушкинских стихов. Ими оказались наиболее яркие личности бурлящего новыми идеями Петербурга, друзья и единомышленники Пушкина — Чаадаев, Каверин, Лунин, М. Щербинин и другие. Изменился и самый характер пушкинской поэзии. Она обрела гражданственность, открытую программность. Мелодику лиризма сменила ораторская интонация. Пушкин становится первым вольнолюбивым поэтом России, выразителем дум и чаяний самой передовой части русского





общества. Пушкин гордился своей Музой, он писал в лирических строфах VIII главы «Евгения Онегина»:

*Она несла свои дары  
И как вакханочка резвилась,  
За чашей пела среди гостей,  
И молодежь минувших дней  
За нею буйно волочилась.*

Политические интересы пронизывали тогда всю жизнь петербургской молодежи — и блестящих офицеров, уже прославивших себя в настоящей войне, и молодых законовевов, и видных дипломатов, прошедших серьезную школу в послевоенной Европе, — одним словом, всех тех, кому в ближайшее время предстояло участвовать в создании тайных обществ. Главные очаги этих обществ находились тогда в Петербурге, и Пушкин оказался тесно связанным с ними.

Где же бывал Пушкин кроме тургеневской квартиры и тех публичных мест, где встречались будущие декабристы? Пушкин назвал эти знаменитые очаги вольномыслия в X главе «Евгения Онегина»:

*Витийством резким знамениты  
Сбирались члены сей семьи  
У беспокойного Никиты,  
У осторожного Ильи.*

Квартиры Муравьевых (ныне наб. Фонтанки, 25) и И. Долгорукова на Екатерининском проспекте (ныне пр. Римского-Корсакова, 37) были местом конспиративных сходов деятелей тайных обществ. Пушкин бывал на них, хотя и не знал о том, что присутствует, например, на заседаниях «Союза благоденствия». Он не только слышал резкие, обличительные речи знаменитых декабристских ораторов, но и сам участвовал в политических спорах, которые питали его вольнолюбивую лирику, и она, в свою очередь, возбуждала общественное негодование, вооружала на борьбу с самодержавием и крепостничеством, звала к свободе.

В число участников названных в X главе «Евгения Онегина» тайных сходов Пушкин включает и себя:

*Читал свои нозли Пушкин.*



Продолжая начатую еще в Лицее шутовскую перелицовку рождественских сюжетов, Пушкин сочиняет новый и значительно более острый ноэль «Сказки» («Ура! В Россию скачет/Кочующий деспот»). Теперь героем ноэля оказался сам император российский, изображенный в сатирическом плане.

В списках и рукописных копиях пушкинские вольнолюбивые стихи разлетелись по всей России. «Наши отроки, — негодовал впоследствии Жуковский, — при плохом воспитании, которое не дает им никакой опоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии мыслями: ты уже многим нанес вред неисцелимый». За эпиграммы не раз журил Пушкина и Николай Тургенев, желавший большей осмотрительности и, как ему казалось, объективности в выражении поэтом общественных эмоций. Но Пушкин стремительно перерастал ученические рамки и мог уже выступать от имени молодого поколения, жаждущего радикальных перемен в русской жизни. И сам он, жадно впитывая эти разговоры, духовно мужал, обретал политическую зрелость и новые идеи для своего творчества. При нем всерьез обсуждались будущее государственное устройство России, конституционные проекты и даже планы царевбийства, то есть участники тайных сходок доверяли поэту:

*Друг Марса, Вакха и Венеры,  
Или Лунии резко предлагал  
Свои решительные меры  
И вдохновенно бормотал  
Читал свои ноэли Пу<шкин>  
Мела<нхолический> Як<ушкин>  
Казалось молча обнажал  
Цареубийственный кинжал.*

Пушкин стоял у самых истоков зарождения декабристского движения, охватившего вскоре всю Россию, и видел, как начинались события, вылившиеся в восстание 14 декабря 1825 года.

*Сначала эти разговоры  
Между Лафитом и Кликю  
Лишь были дружеские споры  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука  
[Все это было только] скука  
Безделье молодых умов  
Забавы взрослых шалунов.*

Далее в тексте X главы следуют знаменитые строки: «Но постепенно сетью тайной».

Не будучи формально членом тайных декабристских обществ, Пушкин, которого, как желчно сострит Вигель, «судьба всегда совала в среду недовольных», прошел все важнейшие стадии формирования декабризма. Впоследствии он будет не раз признаваться, что был «в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков». Рассказы об этих связях, вне всякого сомнения, отразились в его уничтоженных записках. Но и в дальнейшем Пушкин не раз мысленно возвращался к своей молодости и не оставлял мысли воссоздать это интереснейшее время в русской истории. Особенно остро встала перед ним эта задача в середине 1830-х годов, в связи с десятилетием со дня восстания декабристов. Современники надеялись, что, отмечая десятилетнюю годовщину своего вступления на престол, Николай I дарует амнистию заговорщикам, осужденным на каторгу и ссылку. Надеялся на это и Пушкин.

Стремясь осмыслить те исторические события, современником которых он оказался, Пушкин задумал создать грандиозную хронику петербургской (и шире — русской) жизни конца 1810-х — середины 1830-х годов. Будущему роману Пушкин дал название «Русский Пелам», воспользовавшись некоторыми сюжетными деталями и ситуациями популярной в те годы книги английского романиста Э. Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена». Пушкин не копировал и не переиначивал на русский лад характеры и фабулу этого произведения; отталкиваясь от него, он стремился создать нечто новое, сугубо отечественное. В романе, от которого до нас дошли только начальные фрагменты (рассказывающие о детстве и семейной ситуации его героя) и несколько подробных планов-конспектов, Пушкин предполагал широко использовать свои воспоминания о петербургской жизни конца 1810-х годов. Прототипами героев романа стали его давние петербургские знакомые — братья Ф. Ф. и А. Ф. Орловы, Н. Всеволожский, герои скандальной светской хроники тех лет — Шереметев и Завадовский, а также лица, с которыми были связаны важные эпизоды петербургской жизни Пушкина. В конспекте будущего романа, озаглавленном «Характеры», мы находим и его друзей-декабристов. Рубрику «общество умных» Пушкин расшифровывает именами «И. Долгорукова, С. Трубецкого, Н. Му-



равьева etc», что свидетельствует о намерении воспользоваться впечатлениями от общения с деятелями тайных обществ. Упоминается в конспекте и «Мордвинов» — знаменитый адмирал Николай Семенович Мордвинов, член Государственного совета, один из благороднейших личностей той поры, а также «его общество». (Не стоит ли за этим упоминанием близкий к Мордвинову Рылеев?) Во всяком случае, здесь Пушкин намеревался рассказать о представителях русской оппозиции, не принимавшей крайностей аракчеевщины и самодержавия Александра I.

Контрастом к этой группе исторических деятелей служат многочисленные петербургские аристократы из числа «золотой молодежи», прожигавшей свое состояние в кутежах, картежных играх, любовных интригах. Это гвардейское офицерство, чуждавшееся «общества умных», завсегдатаи салонов и, наконец, совершенно особое «сословие» — петербургские игроки, шулера, ростовщики и т. п. Эту разношерстную публику Пушкин знал не понаслышке: он постоянно общался с ними, был в курсе их шумной, скандальной жизни, наблюдал, размышлял, накапливая материал для будущего романа.

Потребовались, однако, годы, чтобы Пушкин смог представить себе этот отрезок своей жизни как некую целостную картину и увидеть ее в движении человеческих судеб, характеров, в борьбе страстей. Сохранившиеся подготовительные материалы к роману «Русский Пелам» дают довольно полное представление о том, как разворачивалась в 1819-м — начале 1820 года столичная жизнь поэта, что именно считал он в ней самым значительным.

Далеко не случайно прототипом главного героя стал один из новых приятелей Пушкина, сослуживец его по Коллегии иностранных дел Никита Всеволожский. Страстный театрал, переводчик, он был основателем «Зеленой лампы», литературно-театрального общества, ставшего одной из побочных управ «Союза благоденствия», общества, отмеченного явным влиянием формирующегося декабризма. Человек незаурядный (прозванный Пушкиным в шутку Аристиппом Всеволодовичем), Никита Всеволодович Всеволожский происходил из богатого дворянского рода, историю которого Пушкин отчасти собирался осветить в романе. Так, говоря о семье героя, «отце и его любовнице», Пушкин имел в виду совершенно конкретную ситуацию, сложившуюся в семействе друга. Его отец, В. А. Всево-

*Н. В. Всеволожский*

А. О. ДЕЗАРНО. 1817

ложский, известный в Петербурге богач, оставив жену, вступил в связь с княгиней Хованской. В романе она носит имя Анны Петровны Вирлацкой. Пушкин во всех подробностях знал обстоятельства нелегкого детства Никиты, потерявшего мать и вынужденного жить в новой семье отца. В начальных фрагментах романа Пушкин с большим психологическим мастерством сумел описать тяжелые переживания мальчика, оставшегося без какой бы то ни было нравственной поддержки. Как и в романе Бульвера-Литтона, русскому Пеламу противостоит его антипод, аморальная личность, вовлекающая героя в бедственные авантюры. Прототипом персонажа Пушкину служил Ф. Ф. Орлов, младший из братьев Орловых. Потомкам знаменитого семейства екатерининских Орловых предстояло сыграть важную роль в преддекабрьские годы. Старший — Михаил Орлов — декабрист, средний из братьев — Алексей — царедворец, будущий фаворит Николая I, один из «усмирителей» декабрьского восстания. Младшему, Федору, была уготовлена судьба игрока,



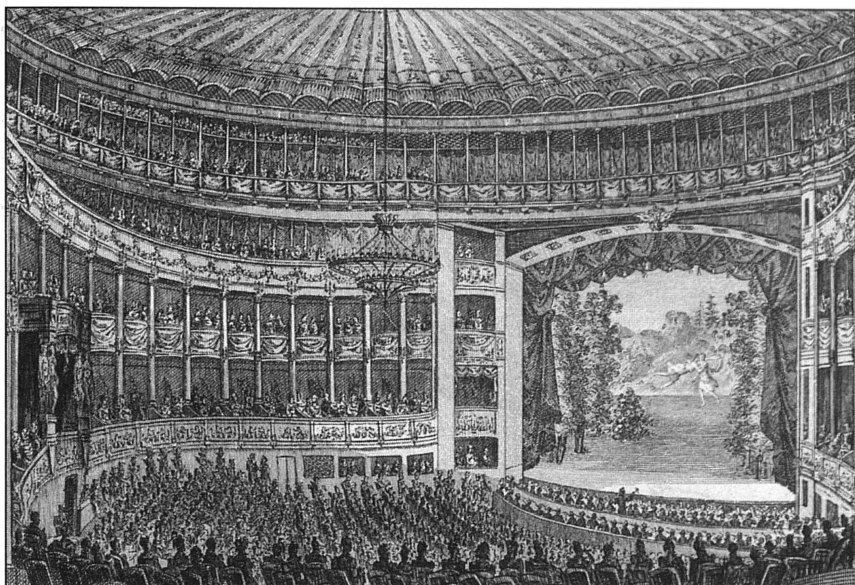
героя скандальных происшествий, авантюриста, закончившего свои дни разбоем и полным нравственным падением.

Оттолкнувшись от некоторых обстоятельств жизни Н. Всеволожского, Пушкин хотел в русском Пеламе представить героя, прошедшего через соблазны порока, вовлеченного в самые пагубные деяния, но сохранившего нравственную чистоту и живую душу. Роман остался незавершенным, и широкая панорама петербургской жизни преддекабрьских лет оказалась очерченной лишь в самом общем виде.

Интерес, проявленный Пушкиным к семейству Всеволожских — оно занимало далеко не последнее место в культурной жизни Петербурга, — не носит, как видим, случайного характера.

Увлечение театром — семейная черта Всеволожских. Отец Никиты Всеволодовича имел крепостной театр, который размещался под Петербургом в имении Рябово (ныне поселок Всеволожский). Сюда съезжались любители театра, здесь выступали известные композиторы Алябьев и Верстовский.

Театр (драматический и балетный) сблизил Пушкина сначала с Н. Всеволожским, а затем с другими членами «Зеленой лампы», составившими особую «партию» в театральных кругах Петербурга. Завзятые театралы, «ламписты» отличались значительной самостоятельностью в понимании целей и назначения русского драматического театра, заботились о создании его репертуара. Н. Всеволожский был неплохим переводчиком, входивший в общество Д. Барков — профессиональным театральным критиком. Со статьями о театре выступали А. Улыбышев, Я. Толстой и другие участники общества. Переводные пьесы заполняли тогда репертуар петербургского театра, и молодые «ламписты» вносили немалый вклад в его обновление, заменяя устаревшие псевдоклассические пьесы комедиями и водевилями (от Мольера до Скриба). Писали они либретто для опер и комических опер. В области «серьезного» репертуара члены «Зеленой лампы» были приверженцами высокой трагедии, представленной именами Расина и Корнеля. Общая позиция объединяла их с другой группой театральных деятелей (П. Катениным, А. Шаховским и Н. Хмельницким), с которыми Пушкину также предстояло сблизиться в недалеком будущем. Но «Зеленая лампа», собиравшаяся в доме Никиты Всеволожского (современный адрес: Театральная пл., 8), была не совсем

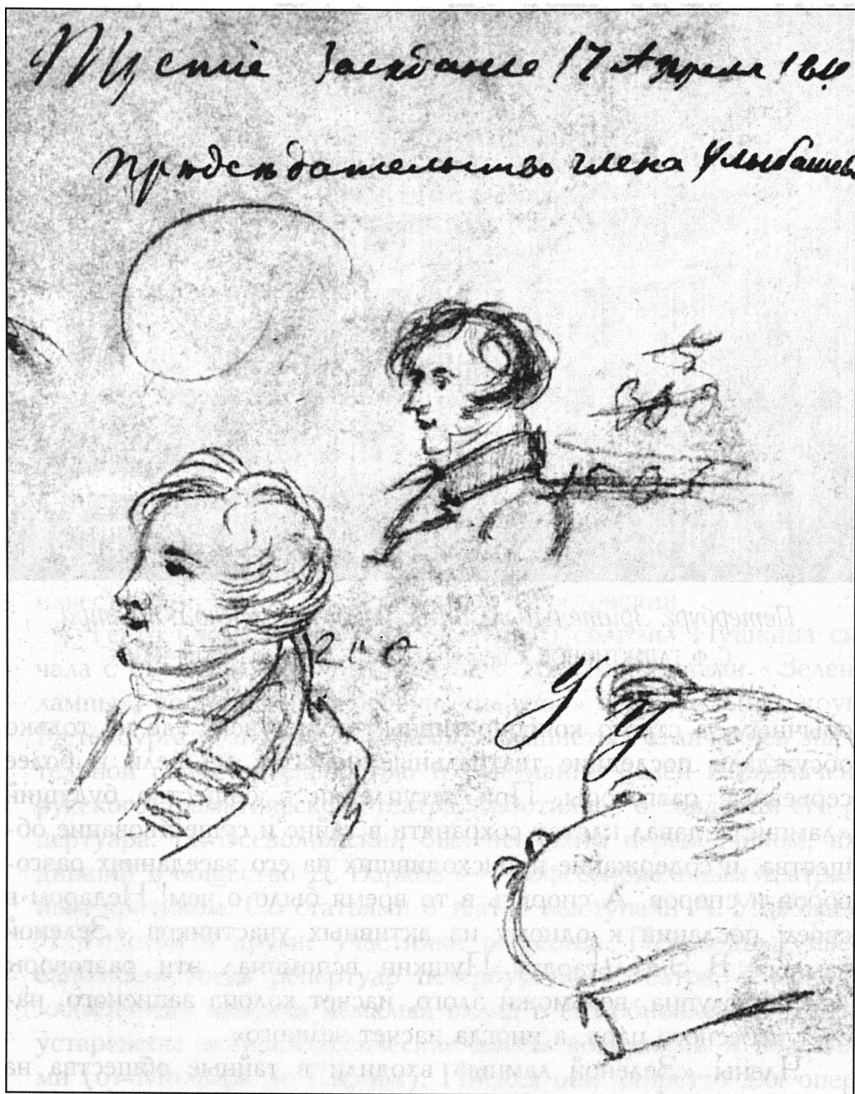


*Петербург. Зрительный зал Большого Каменного театра*

С. Ф. ГАЛАКТИОНОВ, с оригинала П. П. СВИНЫНА. 1816—1818

обычным, а строго конспиративным обществом, где не только обсуждали последние театральные новости, но вели и более серьезные разговоры. При вступлении в общество будущий «лампи́ст» давал клятву сохранять в тайне и существование общества, и содержание происходивших на его заседаниях разговоров и споров. А спорить в то время было о чем! Недаром в своем послании к одному из активных участников «Зеленой лампы» В. Энгельгардту Пушкин вспоминал эти разговоры «насчет глупца, вельможи злого, насчет холопа записного, насчет небесного царя, а иногда насчет земного».

Члены «Зеленой лампы» входили в тайные общества на первом этапе декабристского движения, и в их числе были такие видные его участники, как Ф. Глинка и С. Трубецкой (последний состоял «блюстителем» общества от «Союза благоденствия»). Работа общества продолжалась около полутора лет (1819—1820), и почти все это время активно посещал его заседания Пушкин. По подсчету исследователей, «Зеленая лампа» собиралась не менее двадцати двух раз, и чаще всего у Никиты Всеволожского, по субботам, в комнате вокруг стола



Члены общества «Зеленая лампа»

Рисунок А. С. ПУШКИНА. 17 апреля 1819 года





под лампой с зеленым абажуром (давшей название обществу). Дамы на эти заседания не допускались. За дружеским ужином лилось вино, провозглашались тосты, звучали стихи, шутки, каламбуры и даже нередко употреблялись и более «крепкие» выражения, за что, однако, взимался штраф. Счет штрафникам вел прислуживающий за столом слуга Н. Всеволожского по прозвищу Калмык, кстати сказать, «угодивший» в одно из шуточных посланий Пушкина («Из письма к Я. Н. Толстому»):

*Вновь слышу, верные поэты,  
Ваш очарованный язык...  
Налейте мне вина кометы,  
Желай мне здравия, калмык!*

Пушкина привлекали и программа общества, и самые формы, в которые выливались его заседания, и — что, может быть, самое важное — царивший в среде «лампистов» дух вольнолюбия, независимости и полного равенства:

*Вот он, приют гостеприимный,  
Приют любви и вольных муз,  
Где с ними клятвою взаимной  
Скрепили вечный мы союз,  
Где дружбы знали мы блаженство,  
Где в колтаке за круглый стол  
Садилось милое равенство.*

Пушкинские строки воссоздают непринужденную и творческую атмосферу на заседаниях общества, эмблемами которого стали зеленый цвет, означающий надежду, фригийский колпак (символ равенства и независимости мнений), а также перстень с изображением светильника. Его носили члены общества, поклонявшиеся искусству Мельпомены и Терпсихоры, стремившиеся к просвещению и влившиеся в светлые начала жизни. В облике новых друзей Пушкина причудливо сочетались серьезные общественные и литературные интересы с эпикурейством, безудержной радостью жизни, а увлечение искусством подчас шло рядом с молодым волокитством за хорошенькими воспитанницами театральной школы. Пушкин прекрасно знал маленькие секреты и слабости своих товарищей-«лампистов» и имена их возлюбленных.



Портреты актрис

Рисунок А. С. ПУШКИНА. Конец декабря 1818 года

Вдали от Петербурга он будет вспоминать друзей и ждать от них известий о театральной жизни столицы. «Не могу поверить, чтоб ты забыл меня, милый Всеволожский, ты помнишь Пушкина, проведенного с тобой столько веселых часов, — Пушкина, и пьяного и влюбленного, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей, Пушкина, отрезвившего тебя в страстную пятницу и приведшего тебя под руку в церковь театральной дирекции, да помолишься Господу Богу и насмотришься на госпожу Овощникову», — доверительно напоминает Пушкин другу, посвященный в его сердечные дела. (Овощникова — возлюбленная Всеволожского, танцовщица петербургского балета.)

С Всеволожским оказалась связанной история первого сборника «Стихотворения А. Пушкина». Еще находясь в Петербурге, Пушкин «проиграл» Всеволожскому в карты подготовленный им сборник стихотворений, включавший лучшие лицейские и петербургские тексты. Оценив рукопись в 1000 рублей, Пушкин передал и право на ее издание новому владельцу.

Этим правом Всеволожский не только не воспользовался, хотя сведения о подобном намерении и доходили до Пушкина на юге, но при первом же обращении Пушкина с предложением «выкупить» рукопись (она известна в пушкиноведении под названием «Тетрадь Всеволожского») он вернул ее ссыльному поэту, удовлетворившись лишь половиной выигранной когда-то у него суммы. Рукопись эта вместе с так называемой «Тетрадью Капниста» (подготовленной уже в Михайловском) легла в основу сборника пушкинских стихотворений 1826 года. История с «Тетрадью Всеволожского» — еще одно свидетельство проницательности Пушкина, наделившего русского Пелама (Всеволожского) благородным характером и золотым сердцем.

«Зеленая лампа» ввела Пушкина в самую гущу петербургской театральной жизни, познакомила не только с ее парадной, но и закулисной стороной, где кипели страсти и спорили враждующие лагеря. В эти годы театр был в полном смысле слова открытой общественной трибуной, единственным местом в строго регламентированном столичном мире, где дозволялось отступление от общепринятого порядка, где бурно проявлялись общественные страсти и гражданские эмоции. Особенную атмо-



сферу, царившую в зрительном зале на театральных и балетных спектаклях, Пушкин воссоздал в первой главе «Евгения Онегина»:

*Онегин полетел к театру,  
Где каждый, вольностью дыша,  
Готов охлопать entrecbat,  
Обшикать Федру, Клеопатру,  
Мошу вызвать (для того,  
Чтоб только слышали его).*

В этих строках заключен намек на театральную вражду двух соперниц, знаменитых петербургских актрис, — Екатерины Семеновой (блиставшей в ролях высокой трагедии) и восходящей «звезды» Александры Колосовой, прославившейся в мелодраме и трагедиях Озерова. Впрочем, обе актрисы, имевшие свой круг почитателей, покровителей и пылких поклонников, прекрасно справлялись с ролями самого разного плана. Талант и высокое сценическое мастерство отличали каждую из них. Молодой Пушкин отдавал предпочтение Екатерине Семеновой, ошеломлявшей театральную публику огромным накалом страсти и изумительной дикцией. Величественная осанка, строгая манера исполнения и полная отдача в служении своему искусству создавали ей особенный ореол. Н. Гнедич, учивший Семенову декламации, переводил для нее шедевры мировой классики, и молодежь бурно рукоплескала ей на представлениях этих трагедий. А. Колосова, которой покровительствовали Катенин и Шаховской, имела своих почитателей: о них-то и пишет Пушкин в процитированных строках «Евгения Онегина». Итогом отношений, завязавшихся в среде «Зеленой лампы», стало постепенное сближение Пушкина с прежними литературными противниками из лагеря беседчиков, с одним из главных противников «Арзамаса» — А. Шаховским, руководившим в эти годы петербургским театром. От резкого неприятия комедий Шаховского и его пародийной поэмы «Расхищенные шубы», от язвительных эпиграмм типа «Угрюмых тройка есть певцов» Пушкин переходил к более объективному взгляду на деятельность одного из главных законодателей русской сцены. Характерно, что в «Евгении Онегине» Шаховской достаивается комплиментарной оценки:

*Там вывел колкий Шаховской  
Своих комедий шумный рой.*



*Е. С. Семенова*

В. А. ТРОПИНИН, по гравюре Н. И. УТКИНА  
с оригинала О. А. КИПРЕНСКОГО. 1815—1816

При содействии Катенина Пушкин становится постоянным посетителем «чердака» Шаховского, его квартиры, расположенной в доме Клеопина на Малой Подьяческой ул., 12. Здесь собирались профессионалы в самом точном смысле этого слова — драматурги, актрисы, знаменитые мастера русской сцены. Об участии Пушкина в этих интереснейших собраниях вспоминают многие современники. Подробно пишет об этом и А. Колосова, рассказавшая также о встречах с Пушкиным в доме своих родителей. Окунувшись в мир русского театра, переживавшего тогда пору расцвета, Пушкин впоследствии, в знаменитых театральных строфах «Евгения Онегина», воссоздал этот мир, его особенную неповторимую атмосферу, его очарование, его влияние на всю духовную жизнь Петербурга:

*Волшебный край! там в стары годы,  
Сатиры смелый властелин,  
Блистал Фонвизин, друг свободы,  
И перештчивый Князнин;*



*Там Озеров невольны дани  
Народных слез, рукоплесканий  
С молодой Семеновой делил;  
Там наш Катенин воскресил  
Корнеля гений величавый*

*Там и Дидло венчался славой,  
Там, там под сению кулис  
Младые дни мои неслись.*

Увлечение балетом благодаря необычайному мастерству Дидло, хореографа, постановщика и создателя балетных спектаклей, составляет одну из ярчайших страниц в биографии Пушкина. Поэт был в курсе всех балетных новинок и закулисной стороны совсем непростой жизни блистательных богинь петербургского балета, увлекался А. Лихутиной и Е. Колосовой, знал знаменитую Авдотью Истомина, которой также посвятил



*А. И. Истомина*

Ф. И. ИОРДАН. 1825

восторженные строчки в «Онегине». Разумеется, он был осведомлен о знаменитой дуэли Завадовского и Шереметева из-за Истоминой: их секунданты — Грибоедов и Якубович — впоследствии станут близкими знакомыми Пушкина. Дуэль закончилась смертью Шереметева, а всех ее участников выслали из Петербурга. Пушкин намеревался впоследствии, во время своей работы над «Русским Пеламом», написать особую повесть из жизни некогда знакомых ему балерин (знаменитой Авдотьи Истоминой и ее сестры Анны, о которой не осталось почти никаких сведений). Сохранился план этой интересной повести («Две танцовщицы»), подробно исследованный историком балета Ю. Слонимским.

Весной 1820 года до правительства дошли резкие вольнодумные стихи и эпиграммы Пушкина, а после одного из открытых выступлений поэта, пустившего в театр по рукам портрет Лувеля (убийцы герцога Беррийского) с надписью «Урок царям», поэта настиг гнев монарха. И лишь благодаря заступничеству многочисленных друзей — Чаадаева, Ф. Глинки, Жуковского и, наконец, Карамзина — грозившая Пушкину ссылка в Сибирь или Соловки была заменена переводом в Екатеринослав (а затем и в Кишинев) в распоряжение генерала Инзова.

Незадолго до того как над головой юного вольнодумца, «наводнившего Россию (как грозно заявит российский самодержец директору Лицея Е. А. Энгельгардту) возмутительными стихами», соберутся грозные тучи, Пушкин начнет писать свою первую критическую статью о петербургском театре — «Мои замечания о русском театре». Справедливым представляется суждение исследовательницы русского театра пушкинской поры Н. В. Королевой, отметившей, что статья Пушкина «родилась в результате его участия в театральных спорах „Зеленой лампы”» и что пушкинские суждения о театре конца 1810-х — начала 1820-х годов отражают мнение прогрессивных кругов театрального Петербурга. В ней также даются удивительные по своей живости зарисовки с натуры. «Что такое наша публика?» — восклицает молодой автор и отвечает подробным описанием типичного зрителя театральных спектаклей: «Пред началом оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» — «От Сем<еновой>, от Сосн<ицкого>, от Кол<осовой>, от Ист<оминой>». — «Как



ты счастлив!» — «Сегодня она поет — она играет, она танцует — похлопаем ей — вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой талант!..» — Занавес подымается. Молодой человек, его приятели, переходя с места на место, восхищаются и хлопают». Но не они, замечает Пушкин, делают погоду в театре: «Можно ли полагаться на мнение таковых судей?» Значительная часть партера «слишком утомлена трудами, слишком глубокомысленна, слишком важна, слишком осторожна в изъявлении душевных движений, дабы принимать какое-нибудь участие в достоинстве драматического искусства (к тому же „русского“)». Пушкин апеллирует к мнению настоящих знатоков трагедии, комедии, оперы и балета (все эти разножанровые спектакли шли на сцене Петербургского Каменного театра, расположенного на Театральной площади, до наших дней не сохранившегося).

Однако широко задуманная статья, в которой Пушкин намеревался проанализировать общее состояние петербургского театра, была осуществлена лишь в той ее части, которая касалась трагедии — пожалуй, самой важной области русского сценического искусства. Отдавая дань царившему в эти годы культу Семеновой, Пушкин восторженно оценивает ее игру (переписав набело законченный фрагмент этой статьи, Пушкин подарил его Е. Семеновой, а та передала рукопись Н. Гнедичу, в бумагах которого она и сохранилась, так и не увидев света при жизни Пушкина): «Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения, все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. <...> Семенова не имеет соперницы».

Гораздо сдержаннее Пушкин в оценке Александры Колосовой: «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены». Описывая дебют и главные роли соперницы Семеновой, Пушкин замечает: «Если Колосова будет менее заниматься флигель-адъют<антами> е. и. в., а более своими ролями; если она исправит свой однообразный напев, резкие вскрикивания и парижский выговор буквы Р <...>, то мы можем надеяться иметь со временем истинно хорошую актрису».

Впоследствии Пушкин осознает несправедливость своих первых оценок Колосовой (и даже отречется от резкой эпиграм-



мы в ее адрес «Все пленяет нас в Эсфири»). В своем кишиневском послании «Катенину» он постарается воссоздать романтический облик соперницы Семеновой:

*Кто мне пришлет ее портрет,  
Черты волшебницы прекрасной?  
Талантов обожатель страстный,  
Я прежде был ее поэт.  
С досады, может быть, неправой,  
Когда одна в дыму кадил  
Красавица блистала славой,  
Я свистом гимны заглушил.  
Погибни злости миг единый,  
Погибни лиры ложный звук:  
Она виновна, милый друг,  
Пред Селименой и Моиной.*

Вдали от Петербурга Пушкин не забывал о театре, актерам и спорах в кругу просвещенных любителей русской сцены:

*Все так же<ль> осеняют своды  
[Сей храм] Парнасских трех цариц?*

Пушкин имеет в виду Мельпомену (музу трагедии), Талию (музу комедии), Терпсихору (музу танца). И далее он рисует петербургский театр как храм, где священнодействуют юные прекрасные жрицы. Таким и оставался в памяти Пушкина петербургский театр его молодости.

6 мая 1820 года, на рассвете, Пушкин покинул Петербург, направляясь в первую южную ссылку. Он увозил с собою огромный запас впечатлений, творческих замыслов, которые будут питать его в течение предстоящих семи лет, проведенных вдали от Петербурга. Запаса этого хватило не только на годы ссылки, но, как можно убедиться на примере «Домика в Коломне» и «Русского Пелама», и на дальнейшую творческую жизнь.

Петербургские воспоминания окрашивают собою переписку Пушкина 1820—1826 годов, его стихотворные послания оставленным на «милом Севере» друзьям его «минутной младости». С них начинается и пушкинский «Евгений Онегин», первая глава которого, как признавался автор в предисловии к отдельному изданию «Главы первой» (1825), «представляет собою нечто целое. Она заключает в себе описание светской жизни петер-



бургского молодого человека в конце 1819 года». Об этом же писал Пушкину и издатель «Онегина» П. А. Плетнев: «Онегин твой будет карманным зеркалом петербургской молодежи». В эту главу Пушкин сумел вместить все колоссальное богатство петербургской жизни преддекабристских лет, в ней поэт воссоздал атмосферу города, запечатлел красоту городских пейзажей, ритм его трудовой жизни, пестрые уличные сцены, величие его архитектурных ансамблей и очарование неповторимых белых ночей. Он вводит себя в число воображаемых персонажей романа, делает Онегина своим добрым другом:

*Как часто летнею порою,  
Когда прозрачно и светло  
Ночное небо над Невою,  
И вод веселое стекло  
Не отражает лик Дианы,  
Вспомня прежних лет романы,  
Вспомня прежнюю любовь,  
Чувствительны, беспечны вновь,  
Дыханьем ночи благосклонной  
Безмолвно утивались мы!*

В ореоле этих поэтических воспоминаний уходили в прошлое ранние петербургские годы Пушкина.

Ни одно из произведений русской классики не дает такого многогранного и живописно-праздничного изображения Петербурга, каким он рисуется в первой главе «Евгения Онегина». Уличные сцены (легкий бег саней, крики фореиторов, костры у театральных подъездов и т. д.) сменяются описанием петербургских домов, «модных и старинных зал», кабинета юного денди с убранством, ничуть не уступающим убранству будуаров прелестных светских женщин. Забавные карикатуры завсегдаева балов, детских праздников соседствуют с описанием дружеских обедов в модном ресторане Талона, с подробнейшим перечнем того, что подавалось в этом ресторане, излюбленном месте встреч «золотой молодежи». В последующих главах поэт попросит прощения у своих читателей за то,

*Что речь веду в моих строфах  
Я столь же часто о тирах,  
О разных кушаньях и пробках,  
Как ты, божественный Омир,  
Ты, тридцати веков кумир!*



А. С. Пушкин

Автопортрет с Онегиным на берегу Невы. Начало ноября 1824 года

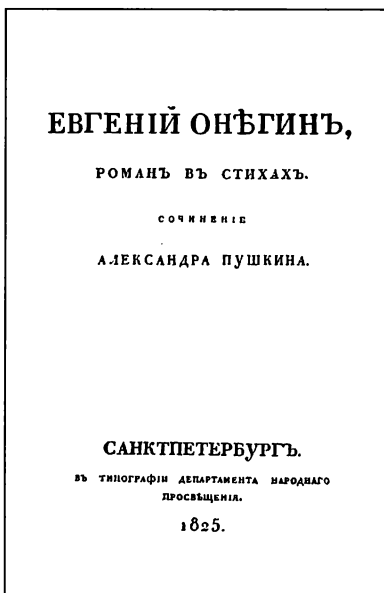


Культура застолья составляла в пушкинские времена особый строго регламентированный ритуал, определялась этикой дворянского быта. Пушкин предельно точен в такого рода описаниях. Пестрый калейдоскоп городских впечатлений в первой главе романа «Евгений Онегин» включает в себя и нечто более значительное, чем картины петербургского быта. В ней (и это, может быть, самое существенное) глубоко и всесторонне воссоздана духовная жизнь столицы. Следы серьезных размышлений, литературных споров, например о языке, отражаются в лирических отступлениях романа.

*Хоть и заглядывал я встарь  
В академический словарь, —*

пишет поэт, вспоминая недавно отшумевшую полемику шишковистов и карамзинистов. Иногда это обрывки острых в политическом отношении разговоров об экономике, в связи с чем звучат имена А. Смита, Ж.-Б. Сея, И. Бентама. В других случаях припоминаются популярные в те времена педагогические системы

(недаром в черновиках романа первым наставником Евгения Онегина был швейцарец, видимо, исповедовавший педагогические принципы Руссо). Глава насквозь пронизана литературой — скрытыми и явными цитатами из античных авторов, модным байронизмом, а также (особенно при описании театра) именами русских писателей, драматургов, поэтов. Совершенно очевидно, что герой романа, а еще в большей степени сам его автор — люди широкого европейского кругозора, ибо Петербург был европейским городом в прямом и точном значении этого слова, а петербургская публика, может быть, в наибольшей степени была подготовлена к восприятию худо-



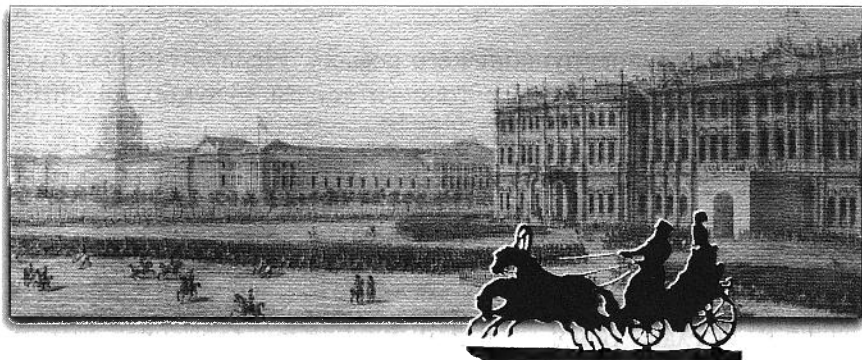
*Титульный лист отдельного издания первой главы романа «Евгений Онегин»*

жественной новизны пушкинского романа. Недаром первая глава заканчивается указанием точного адреса будущих ее читателей:

*Иди же к невским берегам,  
Новорожденное творенье!  
И заслужи мне славы дань —  
Кривые толки, шум и брань!*

Первая глава романа «Евгений Онегин» (изданная, как и все последующие, отдельной книгой) вышла из печати в феврале 1825 года в Петербурге и, вопреки шутивным прогнозам автора, была встречена восторженными отзывами критики и шумным одобрением читателей. Работа над романом растянулась на много лет, и только в 1833 году он был опубликован в полном объеме, в составе восьми глав с «Примечаниями» и «Отрывками из Путешествия Онегина». Между тем автор романа проходил свою полосу скитаний, во время которых не прерывалась его связь с Петербургом, где оставались его друзья, выходили из печати его произведения, упрочивалась и росла его литературная известность.





## «Снова тучи надо мною»

**Ж**аправляясь в Екатеринослав, в распоряжение попечителя комитета о колонистах южного края генерала И. Н. Инзова, Пушкин вез ему «секретное письмо» от И. А. Каподистрии.

Оно содержало советы и рекомендации относительно «коллежского секретаря Пушкина», которым, несмотря на малый его служебный чин, интересовался сам император Александр I. Письмо Каподистрии имело собственноручную резолюцию царя: «Быть по сему». Оно отражало не только «высочайшую волю», но и мнения петербургских заступников поэта (в первую очередь Карамзина и Жуковского, стремившихся помирить поэта с царем). «Нет такой крайности, — с пафосом заявлял Каподист-

По указу Его Императорского Высочайшего  
Милостивейшего Александра Павловича  
Самодержавца Всероссийского.

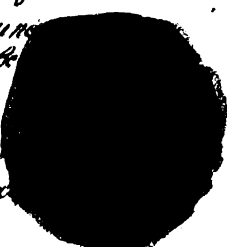
И проказ, и прокази и прокази.

Показали же, в подлинном Высочайше  
составленной Комиссии изобретательных дел  
Коллежский Секретарь Александр Пушкин,  
отправившись по надобности в уезд  
к Главному попечителю Колонистов  
Южного края России, Г. Генералу лейте-  
нанту Инзову; посылку для свободного  
проезда с пассажирами и багажом  
данъ ему, в Санктпетербурге, Мага,  
5-го дня 1820-го года.

№ 2995.

Граф Шеншуров

Иссы Его Императорского  
Высочайшего Милостивейшего  
Александра Павловича  
Самодержавца  
Всероссийского  
Коллежский Секретарь  
Александр Пушкин



Секретарь Александр Пушкин

Подорожная Пушкина для отправления к главному попечителю колонистов южного края, генерал-лейтенанту И. Н. Инзову. 1820



рия, — в которую не впадал бы этот несчастный молодой человек, как нет и того совершенства, которого он не мог достигнуть высоким превосходством своих дарований». Каподистрия был вполне искренен в своем желании помочь Пушкину, но пользу эту понимал по-своему, надеясь со временем образовать из него «прекрасного слугу государства» или же по крайней мере «писателя первой величины».

Удалил Пушкина из Петербурга из опасения якобы «дурных влияний» на него, под которыми подразумевалось общение с друзьями-либералистами, Александр I стремился изолировать и петербургское общество от юного вольнодумца и его «возмутительных стихов». Об этом, однако, Каподистрия умалчивает, всячески подчеркивая, что принятые в отношении Пушкина меры носят временный характер: в конце письма Каподистрия намекал Инзову на возможность скорого возвращения Пушкина в Петербург, если, разумеется, поэт оправдает «надежды» и «виды» правительства. «Он получит эту милость, — писал Каподистрия Инзову, — не иначе как через ваше посредство и когда вы скажете, что он ее достоин».

Несмотря на то что Инзов неизменно аттестовал Пушкина самым положительным образом, никаких перемен в судьбе поэта не наступало. Надежды на быстрое возвращение в Петербург постепенно рассеивались. Из Кишинева, куда была переведена канцелярия Инзова, Пушкин пишет 7 мая 1821 года А. Тургеневу: «Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух (имеется в виду и Николай Тургенев. — *Р. И.*), да еще без некоторых избранных, соскучишься и не в Кишиневе, а вдали камина к <нягини> Голицыной замерзнешь и под небом Италии». Вспоминает Пушкин и друзей по «Зеленой лампе»: «...дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег». И в конце концов не выдерживает и умоляет влиятельного петербургского друга о помощи: «Вы, который сближены с жителями Каменного острова (Каменноостровский дворец — одна из летних резиденций Александра I. — *Р. И.*), не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Памфоса?» (остров Памфос был у древних римлян местом ссылки). Не означает ли это, что Александр I вовсе не перевел его, Пушкина, на новое место службы, как пытался внушить



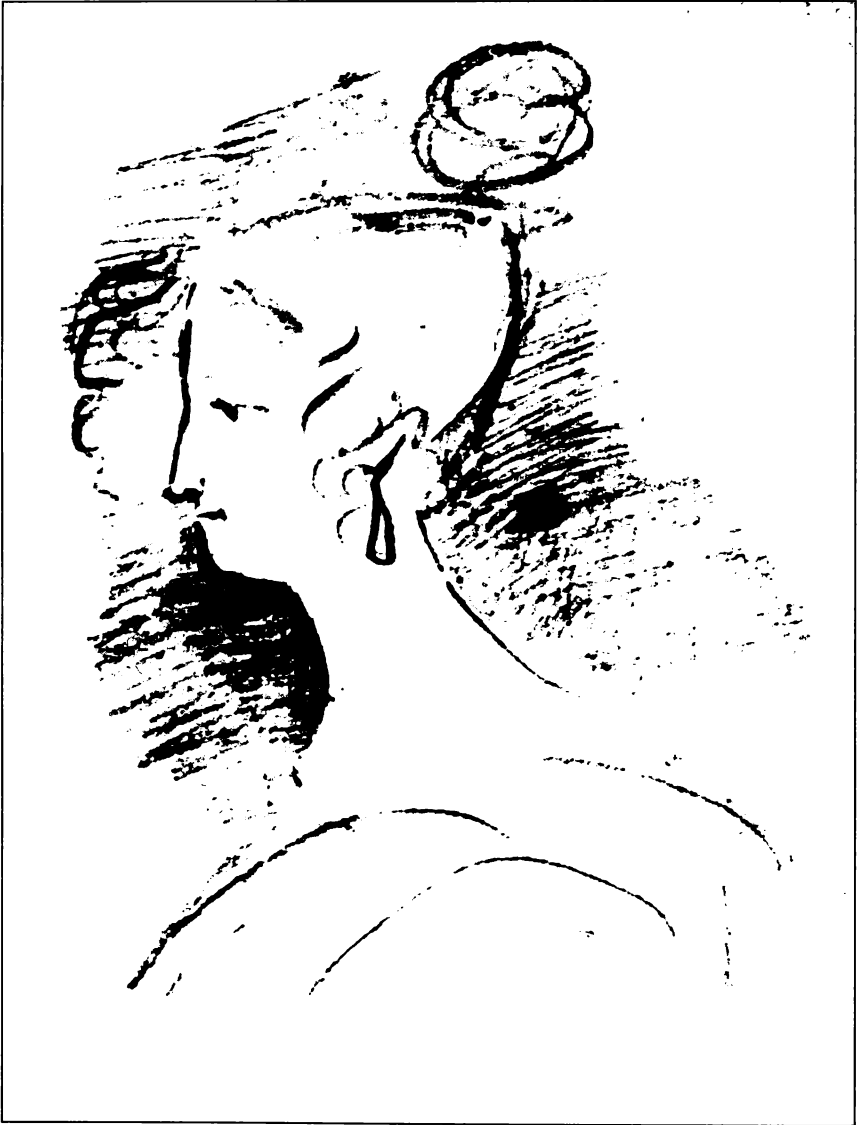


*И. Н. Инзов (два портрета)*

Рисунок А. С. ПУШКИНА. 1821

Инзову Каподистрия, а отправил в ссылку, подобно тому, как в свое время поступил с Овидием император Август? Устойчивая аналогия с судьбой великого римского поэта, вызвавшего гнев императора и окончившего свои дни в изгнании, на чужбине, становится одной из главных тем южной лирики Пушкина, к ней он прибегает и в переписке с друзьями.

Петербургским заступникам не удалось ни вернуть поэта в Петербург (хотя бы на короткое время), ни возвратить Петербургу его поэта. Они смогли лишь выхлопотать для него перевод в Одессу. Здесь Пушкин пробыл только год: не поладив с новым начальником М. С. Воронцовым, он подал прошение об отставке, в ответ на которое был исключен из службы и сослан



*Е. К. Воронцова*

Рисунок А. С. ПУШКИНА. 20 сентября — 22 октября 1829 года

в псковское имение матери, село Михайловское, под надзор местных властей.

В Одессе Пушкин пережил страстное увлечение женой Воронцова, одной из самых очаровательных женщин одесского светского общества, Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой. Он познакомился с нею еще осенью 1823 г. Тогда же в рукописях Пушкина появляются первые стихотворные наброски, ей посвященные, портреты женщины с тонкими чертами лица, изящным профилем, ладной и статной фигурой. Это пока не любовь, которая вспыхнет и достигнет своего предела накануне высылки Пушкина из Одессы, одной из причин которой современники считали ревность ее мужа, раздраженного нескрываемым восхищением Пушкина его женой. Е. К. Воронцова со стороны отца принадлежала к аристократическому польскому роду и обладала особенным, присущим полячкам шармом. Со стороны же матери она была внучатой племянницей знаменитого Потемкина и унаследовала от своих русских предков живость и приветливость в обращении. Она также увлеклась поэтом, подарив ему на прощание перстень-талисман, с которым поэт никогда не расставался. Покинув Одессу, в Михайловском Пушкин будет страстно ждать писем от Воронцовой и напишет одно из лучших своих стихотворений «Храни меня, мой талисман», а уже в Петербурге, осенью 1827 года, вспомнит в еще одном «Талисмане» о пережитом чувстве и о волшебнице, подарившей ему чудесные мгновения любви.

Как известно, поводом к расправе над поэтом послужило перлюстрированное на московской почте его письмо к В. К. Кюхельбекеру: «Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма» (т. е. атеизма. — *Р. И.*). Незадолго до новой ссылки (на этот раз она не была ничем завуалирована) Пушкин в письме к тому же Тургеневу подробно объяснял, что побудило его подать прошение об отставке: «Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мной с непристойным неуважением, я мог дожидаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Старичок Инзов сжал меня под арест, всякий раз как мне случалось побить молдавского



боярина. Правда — но зато добрый мистик (Инзов был одним из активных масонов. — *Р. И.*) в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною об гишпанской революции».

9 августа 1824 года Пушкин прибыл в Михайловское, где в то время жила вся семья. О том, чем обернулась для поэта встреча с родными, он подробно рассказывает в письме к Жуковскому от 31 октября 1824 года: «Приехав сюда, был я встречен всеми как нельзя лучше, но скоро все переменялось: отец, испуганный моею ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров (соседний помещик, уездный предводитель дворянства. — *Р. И.*), назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие». До смерти напуганный Сергей Львович запретил Левушке «знаться» со старшим братом. Последовал ряд тяжелых объяснений с отцом, итогом которых стали обвинения в том, будто старший сын пытался его побить («замахнулся на него», «мог прибить»). «Жуковский, — обращается Пушкин к одному из главных своих заступников, — думай о моем положении и суди. <...> Перед тобою я не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовными своими обвинениями? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем»... Доведенный до отчаяния этой нелепой ссорой, Пушкин написал и официальное обращение к псковскому гражданскому губернатору Б. А. Адеркасу: «Г<осударь> имп<ератор> высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца. <...> Решился для его спокойствия и своего собственного просить е<го> и м<ператорское> в<еличество>, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей».

П. А. Осипова (владелица соседнего с Михайловским Григорского) сумела предотвратить отправку этого опасного письма, как-то сгладить тяжкий семейный конфликт и тем самым спасла поэта от заключения в крепость. С отъездом родных из Михайловского Пушкин успокоился, вернулся к творческим занятиям: жизнь его вошла в новую колею. Так началась





двулетняя михайловская ссылка Пушкина — особая и чрезвычайно важная страница пушкинской биографии. Прервалась же эта ссылка лишь со смертью его гонителя, императора Александра I. Но прежде чем поэт смог вернуться в Петербург, всей России потребовалось перешагнуть через исторический рубеж 14 декабря 1825 года, круто переменявший судьбы всего пушкинского поколения.

Ссылка кончилась так же внезапно, как и началась. В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года Пушкин покинул Михайловское и в сопровождении фельдъегеря отправился из Пскова в Москву, где 8 сентября новый монарх дал поэту «в четыре часа пополудни» аудиенцию, даровав ему прощение, свободу, право въезда в обе столицы (на что, однако, требовалось испросить у Бенкендорфа предварительное разрешение). По авторитетному свидетельству А. Г. Хомутовой (москowsкой знакомой Пушкина, слышавшей лично его рассказ об аудиенции), после утвердительного ответа на вопрос императора, принял бы поэт участие в событиях 14 декабря 1825 года, если бы находился в Петербурге, царь заявил Пушкину: «Довольно ты подурачился, надеюсь, теперь будешь рассудителен, и более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь: отныне я буду твоим цензором».

Так началась для Пушкина новая жизнь. Москва чествовала любимого поэта, прощенного новым монархом. Посредником между ними, по распоряжению Николая I, стал А. X. Бенкендорф, возглавивший III Отделение собственной его величества канцелярии.

Осенью 1826 года в самый разгар московских триумфов поэта тайная полиция перлюстрировала письмо С. Л. Пушкина, адресованное московскому родственнику (мужу его сестры) М. М. Сонцову, с жалобами на сына: «Он совершенно убежден, что просить прощения у него должен я, но он прибавляет, что если бы я и решился это сделать, то он скорее выпрыгнул бы через окошко, чем дал мне прощение». В сетованиях Сергея Львовича III Отделение усматривало лишнее доказательство «дурной нравственности» Пушкина и необходимости строгого контроля за его поведением. И снова, как в михайловские годы, отец, не умевший прощать мелких обид, нанес тяжелый урон репутации поэта, и без того не внушавшего властям особого доверия.



А. Х. Бенкендорф

П. Ф. СОКОЛОВ. 1834—1835

Между тем поэта давно ожидали в Петербурге друзья и близкие, знакомые и незнакомые, читатели и почитатели, поклонники и поклонницы его музыки и, конечно же, родные.

В январе 1827 года няня Арина Родионовна, побывав в Петербурге, спешила известить своего любимца: «И об вас никто — не может знать где вы находитесь и твои родители, о вас соболезнуют, что вы к ним неприедете» (сохраняется орфография оригинала. — *Прим. ред.*). Она не догадывалась (а может быть, радела за всех сразу), что Пушкин, может быть, и откладывал свой приезд в Петербург из-за михайловской ссоры с отцом, почти полностью прервавшим отношения с опальным сыном. В Москве до Пушкина доходили (не могли не доходить!) разговоры общительного Сергея Львовича о непочтительности и «неблагодарности» сына, не слишком спешившего в его объятия и не ценившего родительских забот (Сергей Львович имел в виду поданное Надеждой Осиповной прошение на «высочайшее имя» о даровании сыну прощения и приписывал главным образом себе заслугу его освобождения из ссылки).



Пребывание Пушкина в Москве завершилось спадом интереса к нему со стороны здешней публики. Московское светское общество, еще недавно рукоплескавшее прославленному поэту в театре и на публичных гуляньях, начинало сторониться и избегать его. «Москва неблагородно поступила с Пушкиным, — писал С. П. Шевырев, — после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной, что он оставил Москву». Накануне отъезда поэт находился в мрачном, подавленном состоянии, о чем сообщает недоброжелательно настроенный к Пушкину Ксенофонт Полевой. Участник прощального вечера, организованного московскими почитателями поэта, он подробно описывает этот вечер: «Местом общего сборища для проводин была назначена дача С. А. Соболевского, близ Петровского дворца. Уже поданы были свечи, когда он (Пушкин. — Р. И.) явился рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение) и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи».

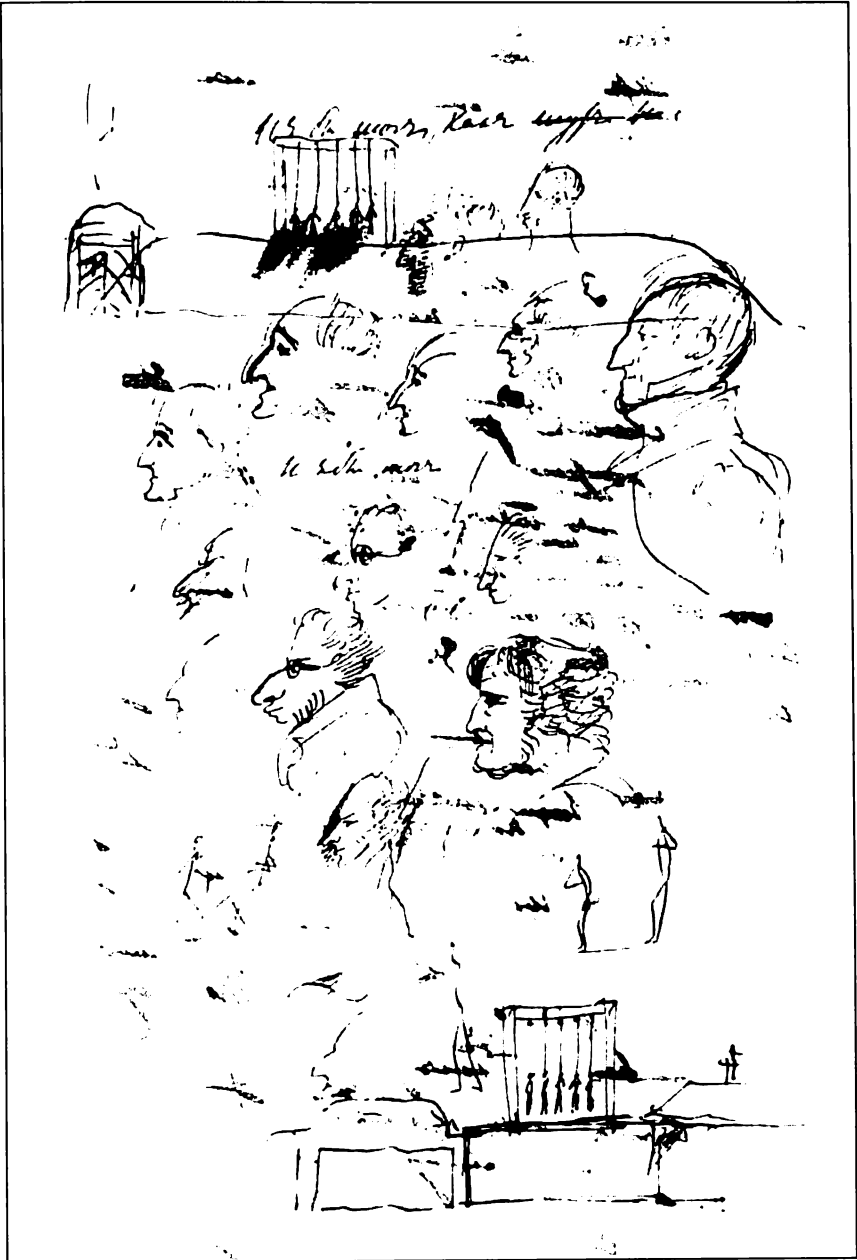
Незадолго до этого Пушкин обратился с шутивными стихами («В отдалении от вас») к своей московской приятельнице, живой и умной Екатерине Ушаковой (увлечение ею постепенно перерастало у поэта в спокойную и прочную дружескую привязанность):

*Вы ж вздохнете ль обо мне,  
Если буду я повешен?*

Этой неожиданной и далеко не смешной концовкой поэт невольно обнаруживал то, что тревожило и мучило его вот уже несколько месяцев: мысли о своей близости к декабристам, известной правительству, о том, что лишь случайное стечение обстоятельств позволило ему избежать общей с ними участи, а может быть, и казни.

События последних месяцев убедили Пушкина в том, что дарованное ему императором Николаем «прощение» оказалось фикцией, лишь эффектной позой нового российского самодержца. Поэту ничего не простили, ничего не забыли: прошлое настигало его, напоминало о себе полицейскими выговорами





*Казнь декабристов*

Рисунок А. С. ПУШКИНА (в ПД № 836, л. 37). Ноябрь 1826 года



Бенкендорфа, недоверием царя, мелочной и оскорбительной опекой властей. Только самые близкие друзья (те, с кем Пушкин мог быть вполне откровенен и кто был способен понимать его душевное состояние) знали или догадывались об этом.

Живым сочувствием к поэту, тонким пониманием сложившейся ситуации проникнуты воспоминания Н. В. Путьяты, близкого к декабристским кругам офицера. Очевидец казни вождей восстания (с его слов, как известно, был сделан знаменитый пушкинский рисунок в одной из его рабочих тетрадей — виселицы с пятью повешенными), он познакомился с Пушкиным в самый разгар шумных чествований «прощенного» поэта. Путьята вспоминал: «...среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим причинам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая тяготили его и душили. Посредником своих милостей и благодеяний государь назначил графа Бенкендорфа, начальника жандармов. К нему Пушкин должен был обращаться во всех случаях».

Окончательно развеяло всякие иллюзии Пушкина «дело об „Андрее Шенье“», возбужденное III Отделением еще летом 1826 года, но вступившее в январе 1827 года в фазу своего практического осуществления. Стихотворение «Андрей Шенье» (1825) было написано за несколько месяцев до декабрьских событий. Цензура изъяла из него монолог героя (Андрея Шенье), поэта, казненного на гильотине во время Великой французской революции. Этот не пропущенный цензурой отрывок, содержащий резкие строки о якобинской диктатуре, распространялся в списках с заглавием «На 14 декабря», благодаря чему пушкинский текст приобрел новый смысл. Несмотря на очевидную непричастность автора к распространению этих списков, московский обер-полицмейстер А. С. Шульгин потребовал у Пушкина письменного объяснения, «его ли действительно сочинения известные стихи; с какой целью им сочинены и кому от него переданы». Убедительные и недвусмысленные ответы поэта, разъяснившего, что его стихи не имеют никакого отношения к декабрьским событиям, не удовлетворили тех, кому было поручено его допросить. «Делу» был дан дальнейший ход, и Пушкин понял, что он все еще «не ушел от жандарма»...

С этими мыслями он покинул Москву вечером 19 мая 1827 года, с ними же на рассвете 24 мая он прибыл в Петербург, где ему предстояла встреча не только с родными и близкими, не только с городом его юности и вольнолюбивых надежд, но и с теми местами, где разыгралась великая историческая трагедия 14 декабря 1825 года.

Остановился Пушкин в Демутовом трактире (ныне наб. Мойки, 40), но первые дни почти целиком провел у родителей, которые снимали квартиру в доме Устинова (ныне наб. Фонтанки, 92). Здесь же отпраздновали его именины. Радость встречи с близкими была настолько велика, что как-то сразу забылись старые обиды. «Он явился таким примерным сыном, что я и не ожидал», — писал в Тригорское Дельвиг, первым из друзей обнявший Пушкина после семилетней разлуки.

Молоденькой и привлекательной жене Дельвига Софье Михайловне тоже не терпится поделиться с подругой А. Н. Семеновой своими впечатлениями от этой встречи, а главное, от общения со «знаменитым Пушкиным». «Я познакомилась с Александром, он приехал вчера, и мы провели с ним день у его родителей, — пишет она ей 25 мая 1827 года. — Надобно было видеть радость матери Пушкина: она плакала, как ребенок, и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе, — я думала, что их объятиям не будет конца». «Его приезд, — вторит ей Дельвиг в письме к П. А. Осиповой, — обрадовал меня и Сониньку. Она до слез была обрадована, я — до головной боли».

2 июня 1827 года Дельвиги вместе с родителями Пушкина уезжали из Петербурга на летний отдых. В течение недели Пушкин и Дельвиг общались ежедневно. Дружья не могли наговориться, и темы их дружеских бесед были разнообразны, обширны и значительны, а разговоры искренни и откровенны. Собеседники не оставили прямых свидетельств об их содержании. «Ленивец» Дельвиг не слишком утруждал себя письмами, не вел он и дневников. Пушкин также нигде не коснулся обстоятельств первой своей «последекабрьской» встречи с ним, — пожалуй, самой важной в их дружеском общении. А может быть, не захотел коснуться...

Главной темой этих бесед были, безусловно, декабрьские события 1825 года и расправа Николая I с восставшими. Дельвигу, как известно, довелось стать одним из немногих очевидцев



*Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади*

К. И. КОЛЬМАН. 1830-е годы

казни вождей восстания 13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости. Вне всякого сомнения, он описал другу свои впечатления, дополнив рассказы других знакомых Пушкину очевидцев новыми деталями и выразительными штрихами (Дельвиг был великолепным рассказчиком, лично знал повешенных декабристов, сочувствовал им). Благодаря общению с Дельвигом Пушкин смог почти воочию представить себе страшную картину казни с ее ужасающими подробностями.

Петербург еще не оправился от недавних потрясений: о них поэту напоминала Сенатская площадь, где стояли восставшие полки, Зимний дворец и Петропавловская крепость, где Николай I допрашивал арестованных декабристов, Невское взморье, на одном из островов которого были тайно погребены тела казненных. В Петербурге ходили разные слухи: говорили о Голодае и даже о том, что могилой погибших стали воды Финского залива. Следы напряженнейших размышлений на эти темы хранят рукописи Пушкина, его рисунки, зашифрованные записи, стихотворные тексты. Пушкин стремился точно узнать, где находилось захоронение казненных декабристов. Поиски эти и их отражение в творчестве поэта подробно описаны в статье

А. Ахматовой «Невское взморье», но далеко не все ясно нам и после появления этой статьи. Строятся разные предположения, выдвигаются самые смелые гипотезы, идут споры и среди пушкинистов. Возможно, однако, что мы до конца так и не сможем раскрыть эту зловещую тайну...

Не убеждают и попытки некоторых современных исследователей истолковать одну из зашифрованных записей в рабочей тетради поэта (известной под названием «Третья кишиневская тетрадь», ибо начала она заполняться еще в Кишиневе) как указание на место и время погребения пяти казненных декабристов. Вот эта запись, выцветшая, полустертая, неясно читаемая: «14 juillet 1826 Sou...» По мнению А. Чернова, «Sou» следует читать как «Гоноропуло» — остров, где, по его мнению, тайно захоронили Пестеля, Каховского, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Рылеева. Однако, по нашему предположению, запись была сделана летом 1826 года, когда Пушкин еще не мог ничего знать о времени и месте захоронения декабристов. Он имел в виду другое: 14 июля 1826 года Пушкин получил долгожданное известие от псковского губернатора («Sou» мы читаем как «Gouverneur», т. е. губернатор) с предложением явиться в Псков для получения свидетельства о необходимости лечения, о котором он писал в письме к императору. Эта дата стала началом надежд на возможность возвращения из михайловской ссылки в Петербург. Сбылись эти надежды много месяцев спустя, лишь после того как Пушкин был «прощен» новым императором Николаем I.

Пушкин провел в Петербурге июнь и июль 1827 года, и почти все написанное или задуманное в те летние месяцы имело отчетливо выраженную декабристскую окраску, и прежде всего «Арион», приуроченный поэтом к первой годовщине со дня казни (с авторской датой 16 июля 1827 года).



К. Ф. Рылеев

Неизвестный художник.  
1824—1825 годы



С. И. Муравьев-Апостол

Неизвестный художник

Текст «Ариона» в рукописях поэта соседствует со стихами, прямо обращенными к Дельвигу, с посланием «Череп», в котором идет речь о его предке, прибалтийском бароне. Продолжая работу над посланием, Пушкин записывает новые строфы непосредственно за стихами, посвященными О. Кипренскому, по заказу Дельвига создавшему самый знаменитый из пушкинских портретов...

До своего отъезда на лето в Ревель (вместе с родителями Пушкина) 2 июня 1827 года Дельвиг успел «свести» художника и его модель, а также договориться с гравером Н. И. Уткиным на исполнение им с этого оригинала гравированного портрета для помещения его в «Северных цветах на 1828 год». Пушкин позировал Кипренскому во дворце Д. Н. Шереметева на Фонтанке в течение июня—июля 1827 года. К моменту отъезда поэта в Михайловское (в последние дни июля) портрет был в основном завершен и уже в сентябре этого же года экспонировался на выставке работ Кипренского в Академии худо-



*П. И. Пестель*

М. М. УСПЕНСКИЙ, с оригинала (1813 г.) Е. И. ПЕСТЕЛЬ

жеств. Гравюра Н. И. Уткина также, по-видимому, была выполнена летом — ранней осенью 1827 года, так как существует рисунок Уткина с оригинала Кипренского, датированный этим годом, а экземпляр «Северных цветов на 1828 год» (с гравированным портретом Пушкина) был представлен в цензуру и разрешен к печати в октябре 1827 года. Прodelанная в столь сжатые сроки работа и художника, и гравера не сказалась на ее результатах. Высокие художественные достоинства этих портретов отмечались современниками: восторженный отзыв о гравюре в «Северных цветах» дала, например, С. М. Дельвиг, посылая А. Н. Семенову альманах «Северные цветы на 1828 год»: «Вот тебе наш милый добрый Пушкин, полюби его <...> Его портрет поразительно похож, — как будто ты видишь его самого».

Свою творческую задачу при работе над портретом Пушкина Кипренский понимал как воссоздание прекрасного мира поэзии. Он придал лицу Пушкина выражение гармонической оду-



хотворенности, для которого Пушкин в своем послании художнику, со своей стороны, нашел удивительно точную формулу — «питомец чистых муз», ибо в живописном образе поэта действительно нет ничего случайного, наносного, отвлекающего от высокого искусства. Мотив «чистых муз» получает развитие в следующей строфе послания: «Себя как в зеркале я вижу,/Но это зеркало мне льстит./Оно гласит, что не унижу/Пристрастия важных Аонид» (т. е. муз, которые в отброшенном варианте этой строки названы «строгими Пиэридами» — прозвище по месту рождения — в Пиэрии). Три эпитета, сопровождающие символику муз (чистые, важные, строгие), несут в себе идею поэзии, очищающей душу, выражающей извечную потребность человечества в высоких нравственных идеалах. Этой же способностью наделяет поэт и художника, называя его «волшебником милым», ибо искусство для Пушкина — всегда волшебство, способное преобразить реальность. Диалог поэта с художником в пушкинском послании не ограничивается областью «чистого искусства». Называя Кипренского «любимцем моды легкокрылой» (т. е. непостоянной, капризной, изменчивой), Пушкин касается в достаточной мере сложных взаимоотношений художника с публикой, воспринимающей его творения. Известно (Пушкин не мог этого не знать), что вернувшийся в 1823 году из Италии Кипренский на первых порах был холодно встречен у себя на родине, но постепенно от портрета к портрету рос интерес общества к его работе. К моменту появления Пушкина в Петербурге Кипренский, пройдя стремительную эволюцию от успеха его ранних портретов второй половины 1810-х годов (В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, С. С. Уварова и др.) до равнодушия отвыкшего от него Петербурга, снова оказался «любимцем» столичной моды. Созданный им портрет Пушкина в расцвете его славы как бы гарантирует поэту бессмертие и европейскую известность:

*Так Риму, Дрездену, Парижу  
Известен впродоль мой будет вид.*

Комментируя этот текст, исследователи обычно связывают его с намерением Кипренского путешествовать по всем этим городам, способствуя европейской известности Пушкина. Подобный план прямо «вычитывается» из текста. «Эти слова, — Риму, Дрездену, Парижу, — предполагает искусствовед



А. П. Валицкая, — говорят еще, может быть, и о том, что портретист делится своими планами с поэтом; он снова собирался в „чужие края” и хотел взять за границу портрет Пушкина». Однако поэт имел в виду другое — своих путешествующих по Европе друзей — Александра Тургенева и В. Жуковского, которые пережили, находясь в Париже, большое горе: на их руках скончался младший Тургенев — Сергей, а судьба среднего из братьев — декабриста-эмигранта Николая Тургенева внушала самые серьезные опасения.

Но рядом с Пушкиным был близкий и надежный друг Антон Дельвиг. Он ввел поэта в самую гущу художественной жизни Петербурга. На выставке произведений русских художников в доме Таля на Невском видел их вместе в самом начале июня мемуарист А. С. Андреев, до мельчайших подробностей запомнивший разговоры друзей об «Итальянском утре» Брюллова, их глубокие суждения о характере современной живописи. Изысканный вкус и тонкое понимание произведений искусства в сочетании с высокой требовательностью позволили Дельвигу стать, что называется, «своим» в среде художников и артистов и сделали его лучшим «советчиком» не только художников, но и писателей. Едва приехав в Петербург, Пушкин сразу договаривается с Дельвигом о чтении у него на квартире в узком кругу петербургских друзей «Бориса Годунова», ибо автору важно было выслушать суждения близкой ему «литературной братии».

Собирая очередную «альманашную жатву» для издаваемых им «Северных цветов», Дельвиг, вне всякого сомнения, советовался с Пушкиным о составе альманаха. Есть основания полагать, что в самом отборе материалов сказались и эти советы, и общие для друзей декабристские симпатии. В «Северных цветах» Дельвиг анонимно напечатал, например, отрывок из «Партизан» казненного К. Рылеева и ряд произведений сосланного в Петрозаводск Ф. Глинки (позднее подобным материалам он широко предоставит и страницы «Литературной газеты»).

Открывался альманах портретом Пушкина, выполненным с оригинала О. Кипренского Н. Уткиным (летом 1827 года знаменитый гравер создал, может быть, лучший свой портрет!).

Возвышенно-благородным, одухотворенным увидела Россия своего первого поэта и поразила той перемене, которая за годы выпавших на его долю испытаний произошла даже в его внешнем облике: если на гравюре Гейтмана, открывавшей от-



А. С. Пушкин

Н. И. УТКИН, с оригинала О. А. КИПРЕНСКОГО. 1827

дельное издание «Кавказского пленника» (1822), поэт выглядит беззаботным, доверчивым и по-юношески открытым, то теперь в его глазах затаенная грусть, взгляд задумчив и сосредоточен. Это новое выражение его лица уловили наиболее проницательные современники поэта, например Ф. Глинка, не видевший Пушкина со времени далеких петербургских лет. «Нет той веселости, — писал он Пушкину по поводу гравюры Уткина, — которую я помню в лице Вашем. Ужели это следствие печалей жизни?»

В конце июля 1827 года Пушкин отправился в Михайловское, откуда сообщал Дельвигу: «Я в деревне и надеюсь много писать, в конце осени буду у вас; вдохновенья еще нет, покамест принялся я за прозу». Иными словами, он начал работу над романом о своем прадеде Абраме Петровиче Ганнибале и о его удивительной судьбе, сделавшей арапа Ибрагима сподвижником Петра Великого. Опираясь на документы семейного архива (и прежде всего на «Немецкую биографию» Ганнибала), на рассказы родных по материнской линии, на печатные источ-



А. С. Пушкин  
Е. И. ГЕЙТМАН. 1822



ники, Пушкин начал создавать произведение больших художественных достоинств. К сожалению, работа над ним, которая велась в августе—сентябре 1827 года в Михайловском с необычайной интенсивностью, была прервана, и роман так и остался незавершенным. Однако отдельные его главы, в том числе два отрывка («Ассамблея при Петре I» и «Обед у русского барина») печатались в «Литературной газете» и «Северных цветах». Позднее поэт стал включать их в отдельное издание своих сочинений. Не довольствуясь материалами о Ганнибале, Пушкин использует в романе семейную хронику еще одной ветви своих предков — Ржевских, сохраняя эту фамилию для героев романа. В «Арапе Петра Великого» воссоздана картина строящегося Петербурга: приехавший из Франции Ибрагим, «с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами».

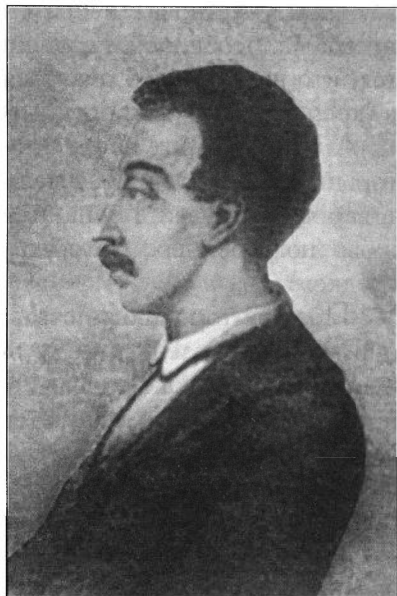
14 октября 1827 года Пушкин выехал из Михайловского, направляясь в Петербург. На станции Залазы поэта ожидала встреча, впечатление от которой было настолько сильным, что заставило его снова обратиться к дневниковым записям: «15 окт. 1827 г. — вчерашний день был для меня замечателен. Приехал в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Между тем я обедал. При расплате доставало мне 5 рублей, я поставил их на карту и карта за картой проиграл 1.600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 руб<лей> и уехал очень недоволен сам собой. — На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовидца», но едва успел я прочитать первые страницы, как вдруг подъехали 4 тройки с фельдъегерем... Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бороною, в фризовой шинели. <...> Увидев меня, он с живостию на меня взглянул, я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не

слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали». В лаконичном изложении Пушкина с большой внутренней силой переданы радость друзей от неожиданной встречи и — в еще большей степени — охватившее их отчаяние от того, что, грубо разлученные жандармами, они не успели ничего сказать друг другу.

События между тем шли своим чередом. Уже 28 октября дежурному генералу главного штаба Потапову поступил рапорт от фельдъегеря Подгорного, сопровождавшего арестантов. Из него мы узнаем, чем закончилась описанная Пушкиным встреча. Рассерженный жандарм отправил вверенных

ему арестантов «за полверсты от станции», дабы не дать им разговаривать «с внушавшим подозрение проезжим» (которого он именует «некто г. Пушкин»). Сам же «остался для написания подорожной и заплаты прогонов». «Пушкин, — продолжает Подгорный, — просит меня дать Кюхельбекеру денег; я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что: по прибытии в Петербург в ту же самую минуту доложит его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег». Жандарм не столько рапортует, сколько доносит на «сочинителя Пушкина». «Преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет», — поясняет он. Осознавая, что власть и сила на его стороне, Подгорный оставил жалобы и угрозы «сочинителя» без внимания.

Под живым впечатлением от встречи с Кюхельбекером создается стихотворение «19 октября 1827 года» («Бог помочь вам, друзья мои...»), прочитанное поэтом на праздновании лицейской годовщины. Впервые после возвращения из ссылки



В. К. Кюхельбекер

П. ЯКОВЛЕВ. 1820-е годы



Пушкин участвовал в братской сходке лицеистов первого выпуска. С особенной сердечной теплотой он вспомнил на ней тех, кто волею судеб оказался «в мрачных пропастях земли» — в крепости, на каторге и ссылке. Бывший директор Лицея Е. А. Энгельгардт послал эти стихи в Сибирь И. Пушкину, который впоследствии рассказывал: «...в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке».

Поэт не торопился печатать эти стихи, видимо чувствуя, что они могут привлечь к нему внимание правительства, «бдительность коего, — как заявлял Бенкендорф, — должна быть устремлена на разные предметы». Впрочем, поэт не мог пожаловаться на невнимание к себе со стороны властей. Едва он снова появился в столице, как в канцелярию III Отделения стали поступать донесения тайных агентов: правительство продолжало строго контролировать каждый его шаг. «Поэт Пушкин здесь, — сообщается в сводке агентурных сведений за октябрь 1827 года. — Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поит за свой счет. Соболевского прозвали брюхом Пушкина. Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом».

Близкие, друзья, хорошие знакомые Пушкина, за редкими исключениями, мало пишут о своих встречах с поэтом. Случайные свидетели отзываются о нем охотно и нередко весьма пространно, но их суждения о поэте поверхностны и по большей части бессодержательны. Тайные агенты по роду своей службы должны внимательно наблюдать за поэтом. Они обстоятельно описывают его поступки, доносят о сказанных им словах, передают его реплики, а педантичный и старательный М. Я. фон Фок (начальник канцелярии III Отделения) тщательно изучает, систематизирует собранные им сведения, составляет доклады и отчеты, на основании которых складывается мнение о Пушкине у Бенкендорфа и Николая I. Отражая оттенки «высочайших» настроений в отношении Пушкина, великосветское общество (осенью 1827 года поэт найдет для него особенно емкую и точную характеристику «светская чернь») будет то приближать к себе, то сторониться поэта, оставаясь внутренне ему чуждым. В разноголосице равнодушной и враждебной публики повседневная жизнь поэта, искажаясь как в кривом зеркале, по-

лучает неверное освещение. По ней нельзя судить о подлинном Пушкине, но она выразительно характеризует ту среду, в которой оказался поэт по приезду в Петербург.

Многим из знавших его в молодые годы бросилось в глаза изменение самого характера общественного поведения Пушкина: прежняя пылкость в изъяснении настроений и чувств, импульсивность сменяются сдержанностью, строгим самоконтролем. В официальном Петербурге склонны одобрить подобную метаморфозу, увидев в ней «исправление» прежнего вольнодумца. На этом настаивает фон Фок, ближайший помощник шефа жандармов: «Поэт Пушкин ведет себя отлично в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью». Доволен наконец и Бенкендорф: на записке фон Фока — карандашная помета его руки: «Приказать ему явиться ко мне завтра в 3 часа» (словно за наградой за «примерное» поведение!).

Осенью 1827 года у Пушкина почти ни одного «недоразумения» с правительством. Даже Фаддею Булгарину, вступившему в тесное сотрудничество с III Отделением, особенно не к чему придраться: «Другой человек, как мне его описывали, и каковым он прежде был на самом деле, — передает он свои впечатления от личного знакомства с Пушкиным. — Скромнен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе». Поэт тоже подчеркнуто любезен с издателем «Северной пчелы». Принимая приглашение на обед, спешит заверить его: «Дельвиг и я непременно явимся к Вам с повинным желудком сегодня в 3<sup>1/2</sup> часа. Голова и сердце мое давно ваши».

На публике за поэтом следят сотни внимательных глаз, и это обязывает к осторожности и осмотрительности. Пушкин избегает резких суждений и острых споров на щекотливые темы, демонстративно подчеркивает свою приверженность к



Ф. В. Булгарин

Неизвестный художник



устоявшемуся порядку вещей, с похвалой отзывается о новом императоре. Но это не перемена образа мыслей, а лишь смена тактики. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический или религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости», — пишет он Жуковскому из Михайловского еще в марте 1826 года. В Петербурге на первых порах это ему почти удастся: срывы, подобные случаю с Кюхельбекером, не столь уж часты, но они-то и мешают поверить вполне в искренность «верноподданических чувств» поэта, тем более что поступают и новые тревожные сигналы. «Пушкин! известный уже, сочинитель! который, невзирая на благосклонность государя! Много уж выпустил своих сочинений! как стихами, так и прозой!!! колких для правительствующих даже, к государю! Имеет знакомство с Жулковским!! у которого бывает почти ежедневно!!» Это не служебное донесение, это крик раболепствующей души, но ничего особенно крамольного этот малограмотный осведомитель сообщить о Пушкине не может, разве только поставить в известность о тесных контактах Пушкина с Жулковским (т. е. Жуковским), возобновившихся после возвращения последнего из-за границы осенью 1827 года. Об официальной должности «Жулковского» — наставника наследника — агенту ничего не известно, о «колких» сочинениях Пушкина он знает понаслышке и может назвать только одно сочинение «Таня» (имеется в виду «Евгений Онегин»). Позднее правительству покажутся предосудительными и связи самого Жуковского.

Опасения начинают внушать и участвовавшие визиты Пушкина к Е. И. Голицыной (ночной княгине), которая, как сообщает подосланная к ней Е. Хотяинцова, «весь день спит, целую ночь пишет бумаги и прячет их в сундук, стоящий в ее спальне». Доносчице хотелось бы заглянуть в этот сундук, но она вынуждена довольствоваться подобранным где-то листком с записанными Голицыной фамилиями ее знакомых (очевидно, это список гостей, которых княгиня собиралась пригласить к себе, в их числе — Вяземский и Пушкин). Полиция следит за любителями карточной игры, их сборища тоже кажутся подозрительными, и знакомства Пушкина в этой среде тщательно проверяются.

В петербургских домах, принадлежавших высшей столичной знати, на первый план выступают совсем иные свидетели: свет-



ские дамы, не чуждые интереса к литературе, молодые приятели Пушкина из числа тех, кто «в напрасной скуке тратит судьбой отсчитанные дни», завсегда в аристократических салонов и гостиных. Человека, удостоенного «милостей» государя, приглашают к себе даже видные сановники, и Пушкин не может пожаловаться на равнодушие к нему светской публики. Общаюсь с нею, Пушкин наблюдает, вспоминает высший свет времен своей ранней юности, сравнивает его с нынешним, любит-ся ослепительной красотой знаменитых петербургских «львиц» Е. М. Завадовской, М. А. Мусиной-Пушкиной, А. Ф. Закревской, всматривается в их прекрасные лица и старается понять их души. Когда это ему удастся, появляются стихи, исполненные глубокого и тонкого психологизма, такие как знаменитый цикл, посвященный Е. Ф. Закревской («Портрет», «Наперсник» и др.). Идет глубокая, скрытая от посторонних глаз внутренняя работа, результаты которой скажутся и в многочисленных прозаических замыслах («Роман в письмах», «Гости съезжались на дачу» и др.), и в особенности в тех картинах великосветского Петербурга, которые войдут в последнюю, восьмую главу «Онегина».

Зимний сезон 1827/1828 года выдался особенно блестящим. Балы, рауты, приемы следовали один за другим, «в угодность двору, — как писал Вяземский, — который дал знак к веселиям». После пережитого всей Россией оцепенения 1826 года общество словно торопилось наверстать упущенное: в Петербурге развлекались, стараясь не вспоминать о недавних трагических событиях. Возобновили свои приемы Лавалы: и Пушкин снова появился в знаменитом на весь Петербург особняке на Английской набережной, откуда год тому назад в свой трудный жертвенный путь отправилась Екатерина Трубецкая, дочь хозяев дома. 16 мая 1828 года здесь состоялось публичное чтение «Бориса Годунова». С весны этого года у Лавалей по субботам снова собирается весь цвет столичного общества, артисты, художники, деятели культуры. Писатель, поэт, литератор снова становится заметной фигурой в петербургском обществе, и словесность понемногу возвращает себе прежнее влияние на умы.

В начале 1828 года успешно завершилась русско-персидская война, но Россия накануне новой войны: предстоит решить давний, еще с петровских времен, спор с Оттоманской Портой.



А. Ф. Закревская

Рисунок А. С. ПУШКИНА с картины неизвестного художника. Октябрь 1828 года

Эпоха Петра I все чаще тревожит творческое воображение Пушкина. Нынешняя российская жизнь развивается как будто по программе, начертанной в пушкинских «Стансах». Начало петровского царствования тоже «мрачили мятежи и казни». Николай I беспощаден и жесток к своим противникам, по-петровски крут в своих поступках, но деятелен и энергичен:

*Россию вдруг он оживил  
Войной, надеждами, трудами.*

Поостывшие было за последний год надежды снова оживляются, порождают иллюзии. Этим настроениям Пушкин отдает дань в стихотворении «Друзьям», первом в новом году. Отвечая на упреки в лести монарху, поэт восклицает:

*Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:  
Он горе на царя накличет,  
Он из его державных прав  
Одну лишь милость ограничит.*

Обращение к «друзьям», «братьям» (добавим: «товарищам») позволяет думать, что стихотворение адресовано не только реальным собеседникам поэта, сочувственно настроенным к нему современникам, но и далеким сибирским узникам. Именно в этом состоит смысл центрального в стихотворении мотива милосердия. Надежды на милосердие монарха к осужденным декабристам — самая стойкая и самая больная из иллюзий Пушкина, и не только его одного, но и всего русского общества. В Петербурге рассказывают о поведении Николая I после свершения казни: «...сказывают, что он прослезился, когда донесли ему о свершении казни над пятерыми злоумышленниками, поставленными вне разрядов. На другой день, т. е. 13 числа, четыре раза присылал он к несчастной вдове Рылеева чиновника, которому сам дал нужные по сему случаю наставления. Когда взял мужа ее, давно уже приговоренного родною матерью и бабушкою к виселице, то государыня Александра Федоровна прислала ей 3 т<ыс.> р. и приказала сказать, чтобы в случае какой нужды обращалась она прямо к ней. На другой день казни государь послал к Рылеевой еще 3 т<ыс.> р. и сказал чиновнику: «Ты, братец, отдай деньги не ей самой, а кому-нибудь из ближних». Платят за нее казенные и партикулярные долги, всего 8 т<ыс.> р., отправляют ее на казенный счет к матери, и



П. А. Вяземский, П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев и др.  
Рисунок А. С. ПУШКИНА. Осень 1828 года

малютку дочь ее возьмут для воспитания в казенное заведение, когда решится она расстаться с нею...» Получается почти совсем по-пушкински:

**Тому, кого карает явно  
Он втайне милости творит.**

Впрочем, «милости» монарха на себе поэт уже испытал, но ему хочется верить, что виной этому те, кто окружает императорский трон, и он предостерегает Николая:

**Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Стоит потупя очи долу**

Прочитав и «одобрав» стихи, Николай I все же не разрешит их напечатать: поэту не следует публично поучать монарха.

1828 год стал для Пушкина годом больших ожиданий. И хотя праздность петербургской жизни начинает все более тя-



*А. Мицкевич*

Неизвестный художник,  
с оригинала В. М. ВАНЬКОВИЧА. 1828

готить его («Жизнь эта, признаться, довольно пустая», — напишет он Осиповой 24 января), но общее оживление захватывает и его, побуждает к действиям. «Во всяком случае, — информирует он Соболевского во второй половине февраля, — в Петербурге не остаюсь».

Дельвиг снова уехал из Петербурга (на этот раз по служебным делам в Харьков) и возвратится только осенью. Нет в столице и Н. Гнедича — он лечится в Одессе. Крылов, Плетнев, Жуковский пока еще здесь. Общие беды еще теснее сплотили друзей-литераторов. К весне в столице соберутся многие из тех, кто «уцелел в общей буре», но кого она, однако, не обошла стороной: постоянно внушающий правительству опасения и подозрения Вяземский, польский поэт Адам Мицкевич (тоже из числа гонимых) и привлеченный к следствию, но выпущенный по недостатку улик Грибоедов.

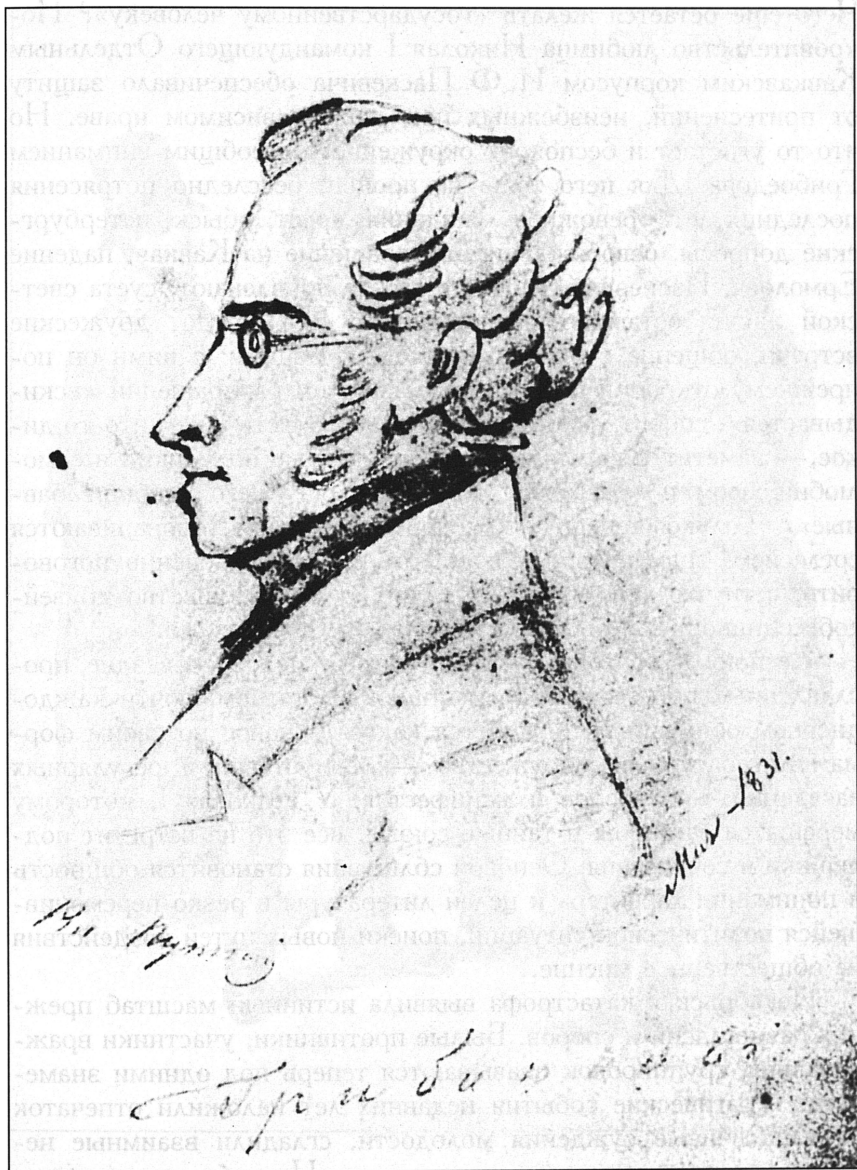
Мицкевич за участие в одной из освободительных польских организаций в 1824 году был выслан в центральные российские



губернии. Опальное положение обоих поэтов — польского и русского, — почти одновременная ссылка, общность поэтических впечатлений, вынесенных из пребывания в Крыму и Одессе, восхищение талантом друг друга — все это способствовало их сближению. Мицкевич посетил Пушкина, жившего в конце 1827 года в гостинице «Париж» на Малой Морской, а весной 1828-го — в Демутовом трактире. Мицкевич, по словам Анненкова, «долго и с жаром говорил о любви, которая должна связать народы между собой». Впечатления от импровизаций Мицкевича, несомненно, сказались при работе Пушкина над «Египетскими ночами».

С почетной миссией прибыл в Петербург Грибоедов. Он привез выгоднейший для России Туркманчайский договор, заключением которого завершилась русско-персидская война 1828 года. В ожидании «высочайшего» решения своей дальнейшей судьбы (вынося которое, дипломату не забудут его декабристского прошлого) Грибоедов поселился «у Демута». Здесь и состоялась еще одна встреча поэта со своей прежней петербургской молодостью, напомнившая об ожесточенных литературных схватках тех лет, спорах на чердаке Шаховского, о театральных увлечениях, о пылких юношеских заблуждениях. Позднее Пушкин напишет об этом славном времени: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго он был опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был непризнан, даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении».

Теперь все переменялось. Пришло признание: комедия «Горе от ума», не увидевшая при жизни автора света рампы, недозволенная в полном виде к печати, в сотнях рукописных списков разлетелась по России и снискала ее творцу громкую известность. «О стихах я не говорю, — пророчил Пушкин еще в январе 1825 года, восхищаясь языком комедии, — половина — должны войти в пословицу». Блестящие способности дипломата развернулись в полной мере при заключении Туркманчайского мира, открывая Грибоедову большие служебные перспективы.



А. С. Грибоедов

Рисунок А. С. ПУШКИНА. 1829



Чего еще остается желать «государственному человеку»? Покровительство любимца Николая I командующего Отдельным Кавказским корпусом И. Ф. Паскевича обеспечивало защиту от притеснений, неизбежных при его независимом нраве. Но что-то угнетает и беспокоит окруженного всеобщим вниманием Грибоедова. Для него тоже не прошли бесследно потрясения последних лет: тревожные ожидания, арест, обыск, петербургские допросы, освобождение, возвращение на Кавказ, падение Ермолова, Паскевич... Почести его не привлекают, суета светской жизни оставляет равнодушным. Его радуют дружеские встречи, общение с близкими по духу людьми: с ними он по-прежнему открыт и пылок, при малейшем раздражении «вскидывается», спорит умно, горячо, дельно. «Есть в нем что-то дикое, — заметит Вяземский. — Пушкин тоже полудикий в самолюбии своем, и в разговоре, в спорах были у него сшибки забавные». Только теперь эти споры все чаще оборачиваются согласием: знаменитым тезкам есть о чем откровенно поговорить, есть что вспомнить! Объединяет их и общество друзей-собеседников — Крылова, Жуковского, Вяземского.

Весною 1828 года в Петербурге — целое созвездие прославленных писателей-современников. В тесном, почти каждодневном общении их рождается какое-то новое по своим формам литературное содружество — без уставов и регулярных заседаний, протоколов и манифестов. У Николая I, которому мерещатся заговоры и тайные союзы, все это не встретит поддержки и сочувствия. Основой сближения становится общность в понимании характера и целей литературы в резко переменившейся политической ситуации, поиски новых путей воздействия на общественное мнение.

Декабрьская катастрофа выявила истинный масштаб прежних разногласий и споров. Былые противники, участники враждовавших группировок оказываются теперь под одними знаменами. Трагические события недавних лет наложили отпечаток на запальчивые суждения молодости, сгладили взаимные недовольства и групповые пристрастия. Неодобрение младших старшими уступило место большей терпимости, да и сами «младшие» повзрослели и созрели. Еще в 1824 году Жуковский по праву старшинства предлагал Пушкину первенство на русском Парнасе. Теперь оно очевидно для всех. К Пушкину тянутся все жизнеспособные, набирающие мощь силы русской





Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич в Летнем саду  
Литография с оригинала Г. ЧЕРНЕЦОВА. 1832



литературы: Е. Баратынский, А. Погорельский, В. Одоевский, Н. Гоголь. Так образуется это удивительное содружество умов и талантов, которому противники дадут презрительное наименование «литературной аристократии», а Пушкин назовет его «аристокрацией талантов», «дружиной ученых и писателей». Пушкинисты до сих пор ищут для этого объединения точной формулы, называя его и «пушкинской плеядой», и «пушкинским лагерем» в литературе, но чаще всего определяют как «пушкинский круг писателей». Круг этот, концентрируясь в Петербурге, замыкается Дельвигом, который привлечет к сотрудничеству в «Северных цветах» «перебежчика» из лагеря противников критика и прозаика О. Сомова.

Дельвиг, домосед по натуре, не любил большого света и предпочитал ему свои уютные домашние вечера или же пестрые «сборища» литературной братии. Он был настоящим писателем-профессионалом, острым полемистом, следившим за всеми критическими баталиями, редактором, издателем и даже покровителем.



Н. В. Гоголь

А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ. 1834

вителем молодых талантов. Именно он связывает пушкинский круг с массовой «петербургской словесностью», периферией большой литературы, и уже это одно позволяет полностью отвести упреки в кастовой замкнутости пушкинского круга, которые уже проскальзывают в печати. Впрочем, настоящие литературные бои еще впереди, они разразятся в 1830 году, когда Дельвигу удастся добиться разрешения на издание «Литературной газеты», печатного органа пушкинского круга писателей.

А пока полным ходом идет «альманажная жатва» для новых «Северных цветов» и петербургские альманашники правдами и неправдами добывают новейшие «произведения пера» маститых поэтов. На литературных обедах у Свиньина, Греча, Булгарина чествуют Пушкина и его друзей, да и они не склонны замыкаться только в своей среде. На вопрос Ксенофонта Полевого (приехавшего в марте 1828 года в Петербург и поселившегося тоже «у Демута»), стоит ли ему знакомиться с издателями «Северной пчелы», Пушкин ответит не задумываясь: «А почему бы



А. А. Дельвиг

В. П. ЛАНГЕР. 1830



и нет? Чем они хуже других?» Далее Полевой сообщает любопытные подробности о своем соседе: «Жил он в гостинице Демута, где занимал бедный номер, состоявший из двух комнат, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в постели, а когда к нему приходил гость, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно было принять за когти». Полевому и невдомек, что утренние часы поэт посвящает творческой работе, обдумыванию новых произведений.

Весной 1828 года Пушкин озабочен тем, что на его настойчивые просьбы о разрешении определиться в действующую армию все еще не дано окончательного ответа. Так, в марте 1828 года он напоминал Бенкендорфу о «своем будущем назначении» как о деле почти решенном. Беседы с приехавшим с Кавказа Грибоедовым укрепляют намерение поэта покинуть столицу. «Шум и сутолока Петербурга мне стали совершенно чужды — я с трудом переносу их», — жалуется он П. А. Осиповой. Поэт явно тяготеет к пустоте и никчемности столичной жизни и горит желанием «так или иначе изменить ее». В этом с ним полностью согласен Вяземский, также решивший податься поближе к театру военных действий. 15 апреля 1828 года Жуковский сообщил уехавшей за границу А. А. Воейковой: «Вчера вышел манифест о войне (русско-турецкой. — Р. И.). Пушкин взят и едет в армию „Тиртеем начинающейся войны“. По городу ходят настойчивые слухи, что Бенкендорф, в качестве условия поездки Пушкина в армию, предложил ему „службу в III Отделении“».

Правительство по-прежнему опасается влияния «поэтов-либералистов» на молодое офицерство. Великий князь Михаил Павлович глубоко сомневался в том, что «Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные... Нет, не было ничего подобного: они так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства». Он заверял Бенкендорфа: «Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим удобством своих безнравственных принципов». Недоверие властей предопределило судьбу прошения Пушкина о по-

ступлении в действующую армию. Но поэт еще надеется: приглашенный к шефу жандармов, он собирается на днях его посетить.

18 апреля в дождливый, не по-весеннему хмурый день в Петропавловской крепости отмечался праздник Преполовения, обычно многолюдный и оживленный. Но «сегодня, — рассказывает Вяземский в письме к жене, — и праздник ранее и день холодный». Несмотря на это, Пушкин и Вяземский, переправившись на лодочке через Неву, оказались в крепости, где бродили часа два. «Много странного и мрачного и грозно-поэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в подземках», — завершает Вяземский свое описание, так и не доверив бумаге то, о чем говорили они в этот



*П. А. Вяземский*  
О. А. КИПРЕНСКИЙ. 1835



день с Пушкиным. Но темы все те же: о восстании на Сенатской площади, об экзекуции осужденных, о казни вождей восстания. Скорее всего, именно Пушкин взялся показать Вяземскому, где был сооружен эшафот: план расположения виселицы на валу кронверка Пушкин зарисовал в своей рабочей тетради еще осенью 1826 года на основании подробного рассказа Н. В. Путяты (будучи военным инженером по образованию, он дал поэту точные сведения). Где-то поблизости от того места друзья подобрали пять сосновых щепочек — в память о пяти повешенных, а может быть, о пяти гробах, которые на рассвете следующего после экзекуции дня были тайно увезены на Невское взморье и преданы там земле. «Пустынный остров, берег дикий», где бесследно исчезли тела казненных, долгие годы будет тревожить воображение Пушкина и пробуждать у него мучительные воспоминания.

Поэт тоже чувствует себя словно заключенным в крепость. В тот же день в канцелярии Бенкендорфа Пушкина неприятно поразило, что его не приняли и не позволили дожидаться приема. На недоумевающий письменный запрос Пушкина Бенкендорфу будет немедленно дан письменный же ответ: «Я докладывал государю императору о желании Вашем, милостивый государь, участвовать в начинающихся против турок военных действиях; его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность Вашу быть полезным в службе его, высочайше повелеть мне изволил уведомить Вас, что он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты и ежедневно случаются отказы на просьбы желающих определиться в оной».

Получив отказ, поэт не сдает своих позиций: если нельзя в армию, где «все места» заняты, то, вероятно, можно за границу — Лондон, Париж и другие европейские столицы. Мгновенно созревает новый план. 21 апреля (на следующий день после получения известий от шефа жандармов) Вяземский и Пушкин посетили Жуковского и вместе с Грибоедовым и Крыловым «сговорились пуститься на этот европейский набег». Пушкин вынужден был снова обратиться к Бенкендорфу: «Так как следующие 6 или 7 месяцев (поэт имеет в виду весенние и летние месяцы, когда ему не слишком писалось. — *Р. И.*) остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже». О впечатлении, которое произвела эта просьба

на Бенкендорфа, сообщает чиновник III Отделения А. Ивановский, с симпатией относившийся к Пушкину. Отправляясь 23 апреля в Зимний дворец, шеф жандармов отдал Ивановскому письмо Пушкина со словами: «Ведь ты, топ сhere, хорошо знаком с Пушкиным? Он заболел от отказа в определении его в армию и вот теперь чего захотел... Пожалуйста, повидайся с ним; постарайся успокоить его и скажи, что он сам, размыслив получше, не одобрит своего желания, о котором я не хочу доводить до сведения государя».

Побывав у Пушкина в гостинице Демута, А. Ивановский застал поэта нездоровым. На вопрос, действительно ли его болезнь вызвана отказом «в определении в Турецкую армию», поэт прямо ответил: «Да, этот отказ имеет для меня обширный и тяжкий смысл». Для Пушкина он означал недоверие, новую попытку навязывать ему удобный для высочайшего контроля образ жизни. Душевное беспокойство отодвигает на неопределенный срок осуществление творческих замыслов, начатых весной 1828 года. К ним поэт вернется лишь осенью. Он снова ищет развлечения в кругу светского общества. «Здесь Пушкин ведет жизнь самую рассеянную, и Петербург мог бы погубить его», — сетует Вяземский в письме к жене от 18 апреля 1828 года.

Однако дело обстоит не совсем так: в феврале 1828 года полным ходом шла работа над седьмой главой «Евгения Онегина», в апреле этого же года начата «Полтава». Весна оживляет надежды на личное счастье: Пушкин влюбляется в Оленину.





## «Я вас любил...»

**Е**го гостеприимным домом президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина были связаны светлые юношеские воспоминания поэта. Окончив Лицей, он стал частым гостем Олениных, и в его памяти на долгие годы остались уютная обстановка этого дома, доброжелательный и умный хозяин, радушная хозяйка, которая умела славно угостить всех, кто появлялся на оленинских вечерах.

Преуспевающий сановник, принадлежавший к высшим кругам петербургского общества, тонкий царедворец (Александр I высоко ценил своего «тысячеискусника»), А. Н. Оленин понимал и глубоко уважал людей искусства. В его доме они чувствовали себя свобод-



но и непринужденно; здесь не искали влиятельных знакомств, не сплетничали, не играли в карты. Поэты читали стихи, дамы музицировали, ставили живые картины, общество развлекалось игрой в шарады. Весной Оленины переселялись на загородную мызу, в Приютино, что неподалеку от Петербурга, а вместе с ними отправлялись на природу и старые друзья — Гнедич, Крылов. Приезжали светские знакомые, родственники, всегдагатаи дома... Они подолгу жили на оленинской даче.

Летом в Приютине шумно и весело, больше свободы в отношениях, больше простора для развлечений и шуток. Много молодежи — подрастают дети. К осени Оленины снова в Петербурге. На возобновившихся вечерах все по-старому: полноватый, несколько неряшливый Крылов кажется особенно громоздким рядом с щеголеватым, подтянутым Гнедичем. Одиноким друзьям Оленины заменяли семью. К ним все привыкли, своей степенностью, надежностью, постоянством они дополняли и оттеняли природную живость оленинской молодежи. Крыло-



А. Н. Оленин

А. Г. ВАРНЕК. 1820-е годы



А. А. Оленина

О. А. КИПРЕНСКИЙ. 1828

ва, который на пять лет моложе хозяина дома, здесь воспринимали как «дедушку»: он неподражаемо читал свои басни. Одну из них, начинающуюся словами:

*Осел был самых честных правил, —*

Пушкин слышал у Олениных в исполнении самого почтенного автора, и это отозвалось в начальной строфе «Онегина»:

*Мой дядя самых честных правил...*

Общество заполняли прелестные женщины, что особенно заманчиво для юного воображения.

Дом Олениных памятен Пушкину пережитым здесь в 1819 году «чудным мгновеньем» — встречей с Анной Петровной Керн, племянницей хозяйки дома. Бурное увлечение А. П. Керн летом 1825 года отразилось в обращенных к ней лирических стихах и письмах. Сейчас же, то снова вспыхивая, то постепенно угасая, оно заменилось доверительной дружбой.

Анна Петровна, разъехавшись с мужем (генералом Е. Ф. Керном), живет теперь в столице. В мае 1827 года она одной из первых приветствует вернувшегося в Петербург поэта. Встречаются они в доме старших Пушкиных, у Дельвигов; Пушкин запросто бывает у нее в доме. В январе 1828 года они посаженные отец и мать на свадьбе сестры поэта. Пережив немало увлечений и разочарований, Керн заботлива и внимательна к нему, хотя и не испытывает более страстного чувства. У Пушкина, тоже пережившего «свои желанья» и «мечты», нет-нет да и вспыхнет прежняя нежность, напоминающая о его пылком любовном порыве, но она тоже не вызывает былого отзвука. Новые петербургские стихи, обращенные к Керн, слегка ироничны и грациозно шутивы:

*Если в жизни поднебесной  
Существует дух прелестный,  
То тебе подобен он...*

О своем общении с Пушкиным, оставившим незабываемый след в ее жизни, Керн живо и ярко расскажет в своих мемуарах. Подробно, с тонкой наблюдательностью и юмором опишет она в них и свою первую встречу с поэтом в доме Олениных...

Дом, правда, в 1828 году уже другой: из уютного особняка на Фонтанке семейство Олениных переехало на Дворцовую набережную в дом П. Г. Гагарина (ныне дом 10) и в тревогах и суете прошедших лет растеряло многих из своих прежних завсегдатаев и друзей. «Непостоянство судеб человеческих рассеяло приютинское общество по лицу земли, — с глубокой печалью отметит А. Н. Оленин в письме к Николаю Ивановичу Гнедичу весной 1827 года, — многие лежат уже в могиле, многие влачат тягостную жизнь в дальних пределах света, а многие ближние рассеялись по разным странам...» Хотя А. Н. Оленин сумел поладить и с новым императором (подтверждение тому — быстрое продвижение по чиновничье-бюрократической лестнице), события, перечеркнувшие судьбы участников восстания, не про-



шли бесследно и для него. В мае 1827 года Алексей Николаевич вынужден сознаться: «...теперешнее наше общество очень жидко стало». Только через год Оленины смогли возобновить свои приемы. Тогда же у них снова появился Пушкин, но частым гостем Олениных он стал не сразу. В апреле у Олениных побывал и Вяземский, написавший об этом в Москву жене: «Вчера немного всплясывали мы у Олениных. Ничего, потому ничего замечательного не было. Девушка Оленина довольно бойкая штучка. Пушкин называет ее драгунчиком и за этим драгунчиком ухаживает».

В 1828 году Аннет Олениной исполнилось двадцать лет. Пушкина она знала с самого детства, да и он, вероятно, помнил ее еще ребенком. Резвостью и живостью она и сейчас напоминает девочку-подростка. Повзрослевшая и похорошевшая Аннет привлекает изяществом и грацией, а еще больше остроумием и находчивостью. Великолепная наездница, она окружена гарцующими поклонниками, вызывая их восхищение своими маленькими стройными ножками. Девушка прекрасно образована, тянется к поэзии, поет, музицирует. Внимание знаменитого Пушкина льстит девушке и придает ей исключительность в собственных глазах. В мае визиты к Олениным учащаются. 3 мая Вяземский сообщает жене об именинах Елизаветы Марковны Олениной: «У них очень добрый дом. Мы с Пушкиным играли в кошку и мышку, то есть волочились за Зубовой-Щербатовой, сестрою покойницы Юсуповой, которая похожа на кошку, и малюткой Олениной, которая мала и резва как мышь».

Ничто, казалось бы, не предвещает чувства более серьезно и глубоко, и Вяземский продолжает острить по поводу нового увлечения своего друга: «Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен», «играет влюбленного». Впрочем, поэт не посвящает друга в свои сердечные дела, не спешит оспорить его легкомысленные суждения: свое несогласие с ним он выразит поэтически, вступив с ним в полемику в стихотворении «Ее глаза». Поводом к его созданию стали восторженные стихи Вяземского о «глазах» фрейлины Россет, кружившей головы светской молодежи в тот балный сезон. Пушкинское стихотворение построено на контрасте двух прекрасных женских образов — «придворных витязей грозы» (А. О. Россет) и «Олениной моей», явившейся поэту в ореоле поэзии и искусства: улыбка ее сравнивается с улыбкой Леля

(бога любви, по славянской мифологии). Прибегая к античным образам «гения» и «граций», поэт раскрывает гармоничность облика своей героини, одухотворенный, по-детски простодушный взгляд которой напоминает ему ангела с «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Она предстала перед поэтом как бы в окружении всех девяти муз, в кругу художников, артистов, музыкантов, к обществу которых привыкла с детства, и Пушкин невольно переносил на нее черты и особенности, свойственные этой среде, наделял свою юную избранницу чертами возвышенного женского идеала.

По мере того как росло и внутренне обогащалось чувство поэта, все более глубокими и серьезными становились и обращенные к Олениной лирические признания. Они складываются в цикл, может быть, самый поэтичный в любовной лирике Пушкина. Постоянно думая об Олениной, поэт в своей рабочей тетради (той, что была начата в мае 1827 года перед отъездом из Москвы) помечает многозначительными датами свои встречи с нею, совместные поездки, разговоры и даже размолвки. Стихи становятся его лирической исповедью, его дневником. По этим датам, по содержанию самих стихов легко восстанавливается история «петербургского увлечения» Пушкина 1828 года.

Первым произведением цикла, безусловно, являются «Ее глаза» (поэт называл их для себя — резче, определеннее — «Глаза 1828 года»!). Это подступ к воплощению тех интимных переживаний, которые возбудила в поэте Оленина. Далее следуют стихи, связанные с «событийной» стороной их взаимоотношений — своего рода лирические вехи стремительно развивающегося чувства поэта.

Морская прогулка в компании с Олениной и художником Доу (типичная для семейства ситуация — участие в его увеселениях лиц из художественно-артистического мира) отразилась в стихотворении «Зачем твой дивный карандаш...», имеющем авторскую помету: «9 мая. Море. Оленина. Доу». Точно и лаконично, с необычайной афористической емкостью поэт определяет здесь процесс творчества, овладевающий художником, как «жар сердечных вдохновений», как нерасторжимый союз «юности и красоты».

С поездкой 9 мая 1828 года связано и другое стихотворение оленинского цикла — «Увы! Язык любви болтливый...», имеющее на рукописи ту же дату. Оно вносит дополнительные



штрихи в образ избранницы поэта. Оленина проявляла особую склонность к литературе, «сочинительству». Свидетельство этому — ее дневник, которому она стремилась придать беллетризованную форму. Общение с поэтом возбудило в ней потребность в самостоятельном творчестве, и она взялась за художественную прозу, озаглавив свое будущее произведение «Непоследовательность, или Надо прощать любви». Из дневника Олениной отчетливо видно, что внимание прославленного поэта льстило ей, но она не разделяла его чувств. В стихотворении «Увы! Язык любви болтливый...» поэт с горечью осознает, что не занимает в душе своей избранницы того места, которое принадлежит ей в его думах и помыслах:

*Тебя страшит любви признание,  
Письмо любви ты разорвешь,  
Но стихотворное посланье  
С улыбкой нежною прочтешь.*

И поэт благословляет свой дар, доселе приносивший ему

*...одно гоненье  
[Иль клевету, иль] заточенье  
И редко хладную хвалу.*

Последние строки глубоко знаменательны: они приоткрывают завесу над внутренней жизнью поэта во всей ее драматической напряженности. В легких, казалось бы, полушутливых любовных стихах начинает звучать трагическая нота. Через несколько дней поэт напишет, может быть, самые пессимистические и безысходные из своих стихотворений: «Воспоминание» и «Дар напрасный, дар случайный...» (последнее датировано 26 мая — днем рождения поэта).

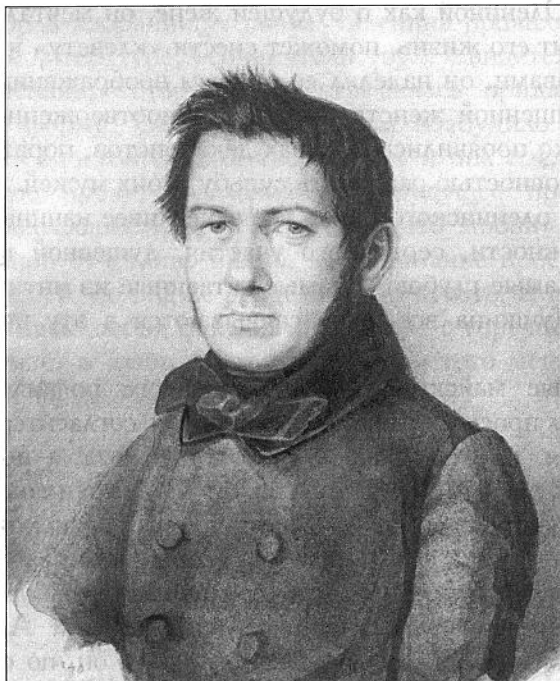
Прошел ровно год после возвращения Пушкина в Петербург. Его жизнь внешне выглядит вполне благополучной, и потому написанные в разгар увлечения Олениной строки «Сердце пусто, празден ум» кажутся неожиданными и не совсем понятными. Но они помогают уяснить, чего искал Пушкин в своем чувстве к юной Олениной, чем могла привлечь его эта девушка, не затмевавшая соперниц ни красотой, ни особыми талантами. Скорее всего, сердечное влечение поэта было связано с надеждой найти в Олениной внутреннюю нравственную опору, встретить у своей избранницы самоотверженное ответное чувство.

Думая об Олениной как о будущей жене, он мечтал о том, что она заполнит его жизнь, поможет снести «клевету» и «гоненья». Иными словами, он наделял ее в своем воображении теми чертами возвышенной женственности и самоотверженности, которые так ярко проявились в женах декабристов, поразивших всю Россию готовностью разделить судьбу своих мужей. Не случайно в стихах оленинского цикла все отчетливее начинают звучать мотивы нежности, сердечного участия, душевной щедрости и доброты. Самые глубокие, самые затаенные из интимных переживаний Пушкина все чаще связываются в эту пору с Олениной.

В теплые майские дни в Петербурге появился Михаил Глинка. По просьбе Аннет Олениной он согласится давать ей уроки пения, но это произойдет в конце лета, а пока в кругу знакомых и друзей он импровизирует на фортепиано, аккомпанирует, исполняет романсы собственного сочинения. В своих «Записках» Глинка с большой теплотой вспоминал это время и особенно частые встречи с «известнейшим поэтом нашим Александром Сергеевичем Пушкиным» и с другим Александром Сергеевичем — Грибоедовым. С последним он, по собственному признанию, «провел около целого дня»: «Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс „Не пой, волшебница, при мне”». Один из друзей композитора на рукописи романса сделал следующую приписку: „Слова сей песни написаны А. С. Пушкиным под мелодию, которую он случайно услышал».

От кого же мог Пушкин услышать эту мелодию? От самого Глинки? От Грибоедова? Или от кого-то из музицирующих друзей? И здесь на память приходит сам поэтический текст романса. Из него следует, что эта мелодия, столь живо напомнившая поэту «иную жизнь и берег дальний» и воскресившая облик «далекой, милой девы», взволновала Пушкина в устах женщины («волшебницы»), которая оживила воспоминания о поездке поэта на Кавказ в 1820 году с семейством генерала Раевского.

Обращение к дате написания стихотворения (сохранившийся автограф помечен 3 июня, исправленным на 12-е) вносит необходимую ясность в историю создания пушкинского романса. В присутствии Олениной (а может быть, и в доме ее родителей)



*М. И. Глинка*

К. П. БРЮЛЛОВ. 1840 (?)

Глинка наиграл запомнившийся и полюбившийся ему мотив, а музыкальная Анна Алексеевна повторила его, напевая, при Пушкине. Грузинская мелодия вызвала в памяти поэта глубоко затаенные воспоминания о юной Марии Раевской. В ту пору почти девочка, резвая и подвижная, ныне она была женой декабриста Сергея Волконского. Поэт навсегда простился с нею в доме Зинаиды Волконской, накануне ее отъезда в Сибирь. Своей живостью, отсутствием всякой чопорности, а может быть, и иным, едва уловимым, внутренним сходством Аннет Оленина напоминала Пушкину добровольную сибирскую узницу, и в воображении поэта невольно возникла эта удивительная аналогия двух женских образов, женских судеб. В романсе воссоздана лирическая ситуация, для которой, может быть, самую емкую и точную формулу найдет Лермонтов:

*Нет, не тебя так пылко я люблю...*



Но Пушкин выразит ее по-своему, гармонично и сдержанно, переключив трагические личные переживания в светлую мажорную тональность. Стихотворный текст предельно приближен к простому напеву народной песни и не выходит за пределы окрашенных грустью воспоминаний поэта о пережитой им в прошлом любви. Осенью 1828 года поэт еще раз вернется к тексту романа: заменит «волшебницу» условно-нейтральной «красавицей» (сознательно отказавшись от намека на конкретное лицо) и добавит еще одну строфу о «призраке милом, роковом», оттесняющем на второй план безмятежное, оленинское начало. Напоминая о трагической участи Марии Волконской, стихотворение лишается особого романсного колорита, хотя и не теряет основных жанровых признаков романа. Созданный в содружестве трех гениев русской культуры романс «Не пой, красавица, при мне» — памятный след их петербургских встреч 1828 года.

Для Грибоедова эти встречи оказались прощальными. 6 июня, получив назначение (а точнее, почетную ссылку) полномочным послом в Персию, он покинул Петербург. Перед отъездом поэты снова встретились. Пушкин вспоминал, что Грибоедов «был печален и имел странные предчувствия», которые вскоре оправдались: «Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невестства и вероломства».

Дружеская компания понемногу распадалась: 7 июня наступил день отъезда и Вяземского, но не за границу, как он надеялся, а обратно в Москву и далее в Пензу. Оттуда Пушкин вскоре начнет получать письма. 26 июля Петр Андреевич, долго не имевший от него известий, спрашивает: «В самом деле, где ты, как ты, что ты?» До Вяземского доходят слухи, что Пушкин развлекается, «играет не на живот, а на смерть», и приятель по-дружески журит его: «Ах, голубчик, как тебе не совестно». Между тем в Петербурге драматически разворачиваются события, о которых Вяземский узнает только в сентябре. «Недозволенные» сочинения Пушкина снова оказываются в центре внимания властей.

В июне — июле почти одновременно проходят по строго засекреченным каналам два дела «сочинителя» Пушкина: подошло к концу затянувшееся «дело об Андрее Шенье» и возникло новое — в связи с жалобой дворовых людей штабс-капитана Митькова митрополиту Серафиму на то, что барин «развращает их в понятиях православной, ими исповедуемой христианской



веры, прочитывая им из книги его рукописи некое развратное сочинение под заглавием Гавриилиады». Первое из дел рассматривается в официальных инстанциях, с которыми тесно связана служебная деятельность Оленина-старшего: сначала в Сенате, который постановил «обязать Пушкина подпиской, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику». 11 июня заседал Департамент гражданских и духовных дел, подтвердивший решение Сената. 28 июня «дело об Андрее Шенье» поступило для окончательного решения в Государственный совет, который, подтвердив заключение департамента, «положил оное утвердить с таковым к сочинителю стихов означенных Пушкину дополнением, что по неприличному выражению его в ответах своих на счет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения, в октябре 1825 года напечатанного, иметь за ним в месте его жительства секретный надзор». Однако секретный надзор за Пушкиным был уже давно установлен, и принятое постановление лишь обязывало власти к большему рвению. «Дело о Гавриилиаде» после допроса Митькова 5 июля П. В. Голенцевым-Кутузовым, генерал-губернатором Петербурга, было вынесено на заседание Высшей верховной комиссии. В отсутствие Николая I (он находился в действующей против Турции армии) она управляла государственными делами.

Естественно, возникает вопрос, дошли ли до Пушкина какие-нибудь сведения об этих заседаниях, знал ли он и о принятых против него мерах правительства? Точных сведений об этом не имеется, и для каких-либо гипотез тоже нет достаточных оснований. Но одно можно утверждать с определенностью. Оленин об этом не только знал, но и по роду своих служебных обязанностей участвовал в вынесении окончательных решений. И вряд ли можно объяснить случайным совпадением то обстоятельство, что именно летом 1828 года наступает охлаждение в отношениях семейства Олениных и Пушкина. Во второй половине июня — июле он почти не появляется в их доме, его музой становится уже не Аннет Оленина, а Аграфена Закревская, женщина яркая и сильная, резкая и смелая в поступках, полная противоположность рассудительной не по летам Анне Алексеевне.

Поэт снова ищет рассеяния в кругу света (привычный для него симптом внутреннего беспокойства, тревоги). Однако не следует торопиться с выводами об «угасании» чувства поэта или

же объяснять сложившуюся ситуацию досадой Пушкина на равнодушие к нему юной Олениной. Видимо, поэт перестал встречать у Олениных прежнее радушие, искренность и сердечность, столь привлекавшие его в этом семействе.

Этот процесс отражает «Дневник А. А. Олениной», начатый 20 июня 1828 года и содержащий весьма не лестную оценку «первого из российских поэтов». Характер ее «нелицеприятных» отзывов о Пушкине, повторение ею порочащих поэта слухов («говорят, что он дурной сын», — запишет она в дневнике), ее девические рассуждения, отмеченные непониманием личности великого поэта, может быть, нагляднее всего объясняют, почему Annette Olenine не стала Annette Pouchkin (такого рода записи, анаграммы ее имени, ее портреты постоянно возникают на страницах рукописей Пушкина 1828 года). Пушкин не только всерьез думал о женитьбе на Олениной, он, по свидетельству весьма осведомленных мемуаристов (Ф. Солнцева, К. Брюллова), даже сватался к ней. Но, как пишет Солнцев, предложение поэта не было принято — против этого брака была мать Аннет Елизавета Марковна.

Самой Олениной брак с поэтом тоже казался невозможным. Мечтая о замужестве, она с холодным, трезвым расчетом обсуждает на страницах своего дневника все выгодные и невыгодные партии, и одна только мысль о сватовстве к ней Пушкина приводит ее в недоумение. Она не воспринимает его всерьез. Более того, ее раздражает, что его увлечение не выливается в общепринятые в свете формы любовной этики. Вместо почтительного поклонения, галантного ухаживания, которого она ожидает от него и к которому привыкла, резкие перепады настроений («хмурится; как погода, как любовь», — скажет о поэте Вяземский, наблюдая его поведение с Олениной еще во время поездки в Кронштадт 21 мая), немотивированные поступки, не вовремя и не к месту сделанные признания. «Боюсь, чтобы он не соврал чего-нибудь в сентиментальном роде», — запишет она в дневнике, с удовлетворением отмечая те встречи, во время которых поэт ведет себя скромно и незаметно. Она охотно прислушивается к светским сплетням и судит о Пушкине-человеке пристрастно и несправедливо. Во всем этом нельзя не увидеть влияния на нее родителей, не желавших того, чтобы судьба их дочери оказалась связанной с человеком без влияния в обществе, к тому же политически неблагонадежным.



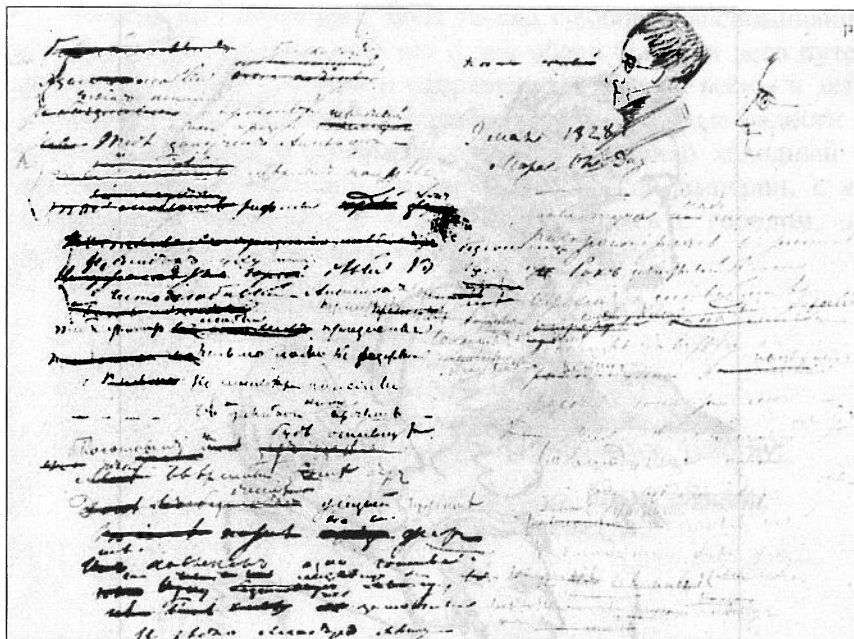
Последнее соображение было, пожалуй, самым веским, тем более что начало августа ознаменовалось для поэта новыми и на этот раз особенно тревожными осложнениями. Явившись по вызову к петербургскому генерал-губернатору и узнав, что до правительства дошла его «кощунственная», антирелигиозная поэма, фривольно толкующая евангельский сюжет о непорочном зачатии («Гавриилиада»), Пушкин не на шутку встревожился: вспомнилось письмо 1824 года «об уроках чистого афеизма», перехваченное московской почтой, за которое поэт был сослан в село Михайловское. На этот раз грозила уже Сибирь, и поэт принял решение, отрицая свое авторство, отвести от себя подозрения в сочинении «безбожной» поэмы. В трудные дни, когда поэт обдумывал ответы на предложенные ему Верховной комиссией вопросы и набрасывал их в своей рабочей тетради, Пушкин мысленно обращался к Олениной, словно не замечая ее равнодушия к себе, безразличия к своей судьбе. Не разобравшись в своей избраннице, видя в ней возвышенный и отзывчивый характер, поэт связывает с нею свои надежды на избавление от нагрянувшей беды.

Аналогия с Марией Волконской неожиданно оказалась не воображаемой, а почти реальной. «Ты зовешь меня в Пензу,— горько иронизирует он в письме к Вяземскому 1 сентября,— а того и гляди, что я поеду далее, «Прямо, прямо на восток». <...> До правительства дошла, наконец, „Гавриилиада”». «На восток», т. е. в сибирскую ссылку. Эти настроения и переживания вызвали к жизни стихотворение «Предчувствие»:

*Снова тучи надо мною  
Собралися в тишине;  
Рок завистливый бедою  
Угрожает снова мне.  
Сохраню ль к судьбе презренье?  
Понесу ль навстречу ей  
Непреклонность и терпенье  
Гордой юности моей?*

Оленина для поэта не только «ангел тихий, безмятежный», но избранница, с которой он связывает надежду на «мирную пристань».

«Предчувствие» — своего рода «вершина» развивающегося чувства поэта к Олениной. Не встретив ни взаимопонимания, ни ответа, оно пошло на убыль. Оленина еще не раз вызовет

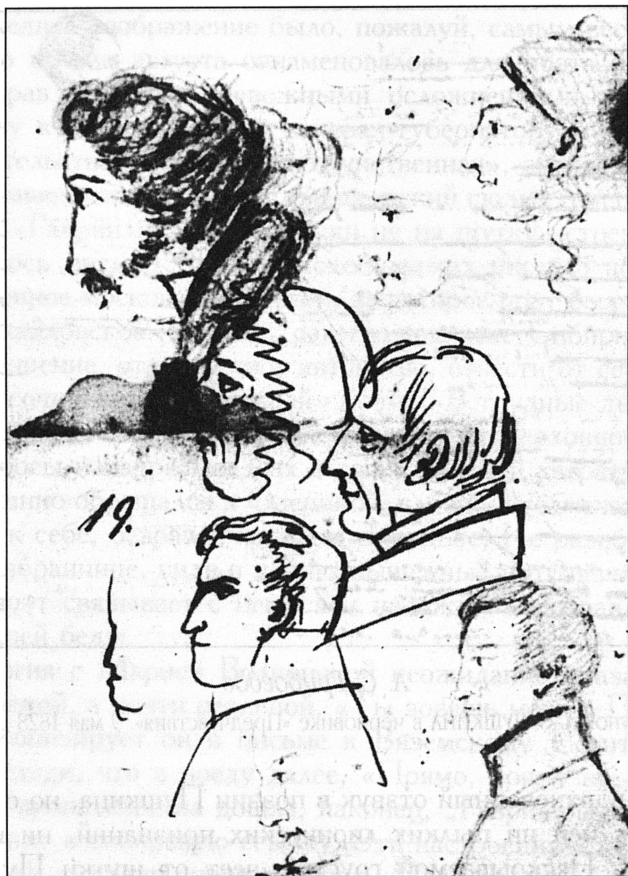


А. С. Грибоедов

Рисунок А. С. ПУШКИНА в черновике «Предчувствия». 9 мая 1828 года

живой и вдохновенный отзыв в поэзии Пушкина, но он уже не обратит к ней ни пылких лирических признаний, ни глубоких раздумий. Нескрываемой грустью веет от шутки Пушкина в письме к Вяземскому от 1 сентября: «Я пустился в свет, потому что неприютен». Горький ее смысл разъясняет ответное письмо друга: «Ты говоришь, что неприютен, разве уж тебя не пускают в Приютину?» (имение Олениных).

Незадолго до этого, 19 августа, поэта снова вызвали на допрос. Ответы Пушкина не удовлетворили Николая, потребовавшего от Пушкина открыть правительству, «кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». Расчет царя на благородство поэта, не считавшего для себя возможным обмануть лично обратившегося к нему монарха, был верным. Признаваясь в сочинении произведения, как он пишет, «жалкого и постыдного», Пушкин пометил в рабочей тетради день 2 октября, в который он отправил письмо царю. О решении Николая I, распорядившегося прекратить дальней-



А. Н. Оленин, Е. М. Оленина и др.

Рисунки А. С. ПУШКИНА. Май 1829 года

шие разыскания, Пушкин узнает 16 октября, испытав наконец облегчение после невероятного напряжения последних месяцев.

Радостным и веселым будет на этот раз лицейский праздник 19 октября 1828 года. Он завершился для Пушкина отъездом в тверское имение Вульфов Малинники, и выразил он свое настроение в прощальных стихах лицейским друзьям:

*Усердно помолвившись Богу,  
Лицею прокричав у ра,  
Прощайте, братицы: мне в дорогу,  
А вам в постель уже пора.*

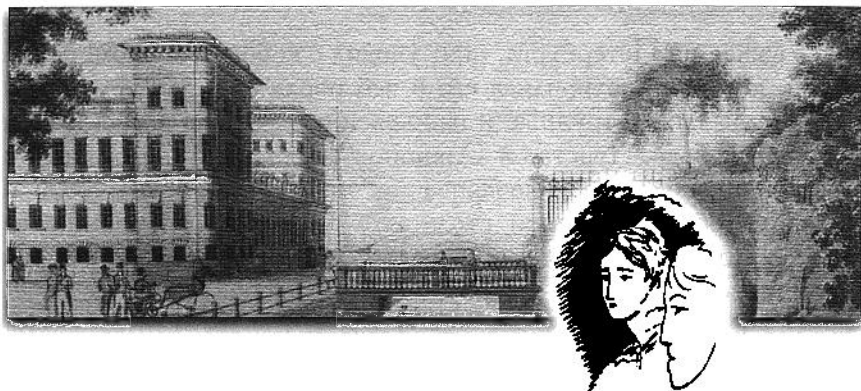
Уезжая из Петербурга, поэт увозил с собою и воспоминание о той, которая вдохновляла его и чей образ был для него путеводной звездой в трудные и напряженные месяцы весны и лета уходящего года. Чувство к Олениной впитало живые радости и тревоги, надежды и разочарования, одухотворило холодный и мрачный облик парадной столицы Российской империи, с ее контрастами пышности и бедности. Прощаясь с городом, он простился и со своей «петербургской любовью»:

*Все же мне вас жаль немножко,  
Потому что здесь порой  
Ходит маленькая ножка,  
Вьется локон золотой.*

И еще одно «прости» уходящему в прошлое чувству:

*Я вас любил: любовь еще, быть может,  
В душе моей угасла не совсем...*





## «В тревоге пестрой»

**К**онец 1828 — первую половину января 1829 года Пушкин провел в Малинниках (где успел побывать дважды) и в Москве. Но уже в двадцатых числах января 1829 года он пишет П. А. Вяземскому: «Я в П<етер>Б<урге> с неделю, не больше. Нашел здесь все общество в волнении удивительном. Веселятся до упаду и в стойку, т. е. на раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться: мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься — вот уже и замена разговору». Далее поэт делится с другом последними литературными новостями: «Говорят,



что Булгарин тебя хвалит. В какую силу? — Читал Цветы (т. е. «Северные цветы». — Р. И.)? Каково море Жуковского — каков его Гомер, за которого сердится Гнедич, как откупщик за контрабанду. Прощай, нет ни времени, ни места».

Времени действительно не было: как и летом 1828 года, после неудачного сватовства к А. Олениной, Пушкин снова «пустился в свет», возобновил общение с некоторыми семействами, игравшими заметную роль в культурной жизни Петербурга.

Еще летом 1827 года Пушкин познакомился с Елизаветой Михайловной (Элизой) Хитрово, дочерью М. И. Кутузова, и она почти сразу вошла в число ближайших друзей поэта. Начавшаяся между ними переписка учтиво-комплиментарного характера постепенно втянула в себя широкий круг вопросов боль-



*Е. М. Хитрово*

Ф. ШЕВАЛЬЕ, с оригинала В. ГАУ. Конец 1830-х годов



шой европейской политики и внутреннего положения России. Затронула она и сферу творческой жизни Пушкина. Высокообразованная, живо интересующаяся современной литературой, Елизавета Михайловна благодаря придворным и дипломатическим связям была в курсе новейших политических событий и литературных новостей. Пережив сильное увлечение поэтом, она стала для него преданным другом. Пушкин, ценя в ней интересную собеседницу, явно тяготился изъявлениями ее чувств. Пытаясь резковатой шуткой несколько умерить пыл романтически настроенной Элизы, он пишет ей осенью 1828 года: «Я по горло сыт интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. д.».

Раздражали поэта постоянные заботы Елизаветы Михайловны о его здоровье, приглашения посетить ее, попытки свести его с «нужными» людьми. Однако Пушкин дорожил ее мнением о своих произведениях. При выходе из печати 4-й и 5-й глав романа «Евгений Онегин» он спешит подарить книгу Хитрово и благодарит ее за ценные суждения о романе: «Я в восхищении, что вы покровительствуете моему другу Онегину; ваше критическое замечание столь же справедливо, как и тонко, как все, что вы говорите». Пушкин в каждый свой приезд в Петербург общался с Хитрово, никогда не забывая (даже в моменты раздражения чрезмерностью ее опеки) дружеских услуг Елизаветы Михайловны и ее готовности всегда прийти ему на помощь. Восхищение поэтом она внушила и своим красавицам дочерям: фрейлине Екатерине Тизенгаузен и жене австрийского посланника в Петербурге Долли (Дарье) Фикельмон. Впрочем, общение с блистательной и умной Долли начнется несколько позднее, в конце 1829 года, когда ее муж, перебравшись с семьей в Петербург, приступит к исполнению своих служебных обязанностей.

Что же касается Е. М. Хитрово, то, переехав в особняк на набережной Невы (ныне Дворцовая наб., 4), около Летнего сада, где поселилось семейство посланника, она помогла дочери создать один из лучших литературно-художественных салонов Петербурга. После женитьбы Пушкина (победа над собственными чувствами далась ей нелегко) Елизавета Михайловна по своему привязалась к Наталье Николаевне, заботилась о ее успехах в свете, помогала как могла семейству поэта. В переписке и дневниках Пушкина имеется множество упоминаний о Хитрово и ее дочерях, любивших и ценивших Пушкина.



Д. Ф. Фикельмон

И. Н. ЭНДЕР. 1830-е годы



*А. О. Смирнова-Россет*

П. Ф. СОКОЛОВ. 1834—1835

Сдружился поэт и с «фрейлиной Россети», о которой, как уже говорилось, писал в своих стихах, посвященных Олениной («Ее глаза»). Начало же личного знакомства Пушкина с Александрой Осиповной Россет относится, по ее собственному признанию, к осени 1828 года.

Впервые она увидела поэта у Е. М. Хитрово на одном из танцевальных вечеров. Недавно вернувшаяся из-за границы, «Элиза гнусила, — замечает острая на язычок Россет, — всегда была очень декольте, чесала свои черные волосы под гребень и делала вечерние визиты в белом платье, тюлевом шарфе, белых лайковых перчатках, коротеньких, чтобы показать красивые, очень белые руки, и носила на руке часы на георгиевской ленте, постоянно напоминая: „Это часы моего отца, маршала Кутузова”». Вечер запомнился Россет не только маленькими странностями впоследствии столь известной всему аристократическому Петербургу Элизы, но и присутствием на нем Пушкина, который, как пишет мемуаристка, «стоял в уголке за другими кавалерами». «Мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным», — обратилась Александра Осиповна к своей подруге Стефани Рад-

зиви́л. «Хорошо, я его выберу в мазурке» — и точно подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я выбрала его и спросила: «Какой цветок?» — «Вашего цвета» — был ответ, от которого все были в восторге. Элиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина».

Очевидно, эта встреча еще не стала началом дружбы поэта и А. О. Россет, признававшейся впоследствии с подкупающей откровенностью, что оба они «жили в обществе самом ветреном», сама же она в то время была еще «глупа и не обращала на него особенного внимания». Да и поэт, видимо, далеко не сразу выделил Александру Осиповну из блестящей толпы светских красавиц, но «своенравной Россети» удалось найти свой путь к первому из русских поэтов. Понять и оценить ум, душевное благородство и высокие нравственные качества Россет Пушкин смог, постоянно наблюдая ее в свете. Она стала одним из прототипов той светской хроники, которую Пушкин намеревался ввести в седьмую главу «Евгения Онегина», предполагая включить в нее «Альбом Онегина». Герой изображен здесь в кругу высшего петербургского света. Саркастические характеристики, которые дает Онегин своим светским знакомым, характеризуют социальную среду, сформировавшую его и определившую его трагическое самочувствие, сознание своей ненужности и обреченности. По контрасту с ними возникает обаятельный образ великосветской красавицы, в котором угадываются портретные черты А. О. Россет (на сходство намекают инициалы героини — Р. С.). Создавая этот образ, поэт видел живую Россет с характерной для нее смелой и свободной манерой обращения с окружающими, с ее «знаменитыми» парадоксами, искрометным юмором и склонностью к серьезным, далеко не светским по своему содержанию разговорам на балах и раутах.

К концу 1820-х годов А. О. Россет занимает устойчивое и прочное положение в тесном кругу, группировавшемся вокруг Пушкина, дружит не только с ним и Вяземским, но и с Жуковским, М. Виельгорским, В. Одоевским.

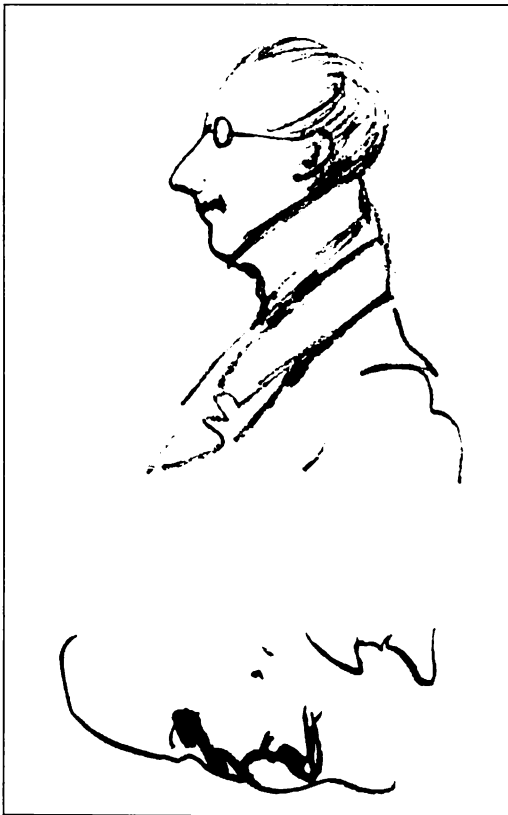
Начало 1830-х годов приносит большие перемены в личной жизни Александры Осиповны: в царскосельское лето 1831 года Россет стала невестой Н. М. Смирнова, с которым познакомилась у Карамзиных. Позднее она откровенно признавалась, что



заставило ее принять предложение богатого жениха: «Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев».

29 июля 1831 года Пушкин отметил в записной книжке: «Третьего дня государыня родила великого князя Николая. Накануне она позволила фрейлине Россети выйти замуж».

Замужество не изменило характера А. О. Россет, которую друзья стали в шутку называть «Смирнихой» и «Смирнушкой». Более того: с началом самостоятельной жизни окончательно формируется сильная и яркая личность этой женщины. После свадьбы в январе 1832 года (на которой Пушкин был шафером) Смирновы поселились в Литейной части в доме Апраксиной (ныне Литейный пр., участок дома 48), где, со вкусом и ще-



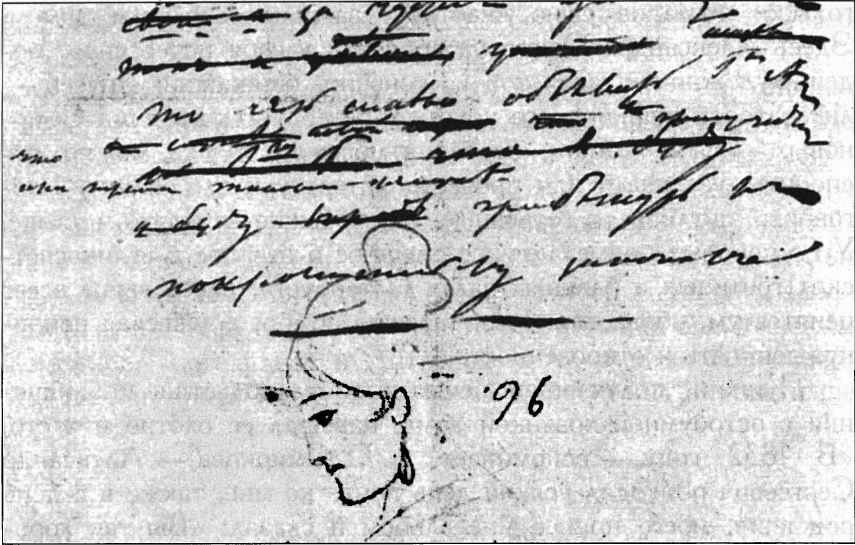
Н. М. Смирнов

Рисунок А. С. ПУШКИНА. 1829

гольски обставив свою квартиру, зажили открытым домом. Здесь Александра Осиповна собирала у себя интересных людей: художников, артистов и, конечно, ближайших друзей — литераторов пушкинского круга. У петербургского дома Смирновых — свое «лицо», особая атмосфера. Здесь можно поспорить, услышать или прочесть литературную новинку. Разговоры, шуточные и серьезные, идут обычно на русском языке. У Смирновых подмечают все смешное и нелепое в великосветских гостиных и бальных залах Петербурга, здесь выше всего ценятся ум, образованность, таланты, юмор, дружеская непринужденность и откровенность.

Пушкин, получавший неизменное удовольствие от общения с остроумной хозяйкой дома, навещал ее охотно и часто. «В 1832 году, — вспоминает А. О. Смирнова, — Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне, также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки» — и на первом листе написал стихи: „В тревоге пестрой и бесплодной” и пр.».

Тревожными и очень «пестрыми» оказались последние годы перед женитьбой Пушкина. Они прошли в скитаниях по России и Закавказью, в поездках между Москвой и Петербургом. Пушкина все сильнее тяготили неустроенность личной жизни, бесприютность, отсутствие домашнего крова, семьи. «Сердце мое совершенно вульгарно, — писал он Е. М. Хитрово осенью 1828 года, — и склонности у меня вполне мещанские». Однако стремление к семейной устойчивости было пока неосуществимо. После отказа в сватовстве к Олениной у Пушкина имелись все основания сомневаться в возможности «мещанского счастья». Мимолетные увлечения тригорскими и тверскими барышнями, Екатериной Ушаковой, оставившие шуточно-ласковые и шаловливо-грациозные следы в его поэзии («Подъезжая под Ижору», «В отдалении от вас», «Я вас узнал, о мой оракул»), проходили быстро. Но еще в конце 1828 года произошло событие, которое разделило надвое его трудную и горестную и одновременно беспечную жизнь. В декабре 1828 года на одном из московских балов у известного танцмейстера Иогеля Пушкин впервые увидел шестнадцатилетнюю Наталью Гончарову и сразу же безоглядно влюбился. «Когда я увидел ее в первый раз, — писал он позднее ее матери Наталье Ивановне, — красоте ее



Н. Н. Гончарова  
Рисунок А. С. ПУШКИНА

едва начали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась».

В начале января 1829 года Пушкин внезапно уехал из Москвы, но уже в марте снова вернулся. Некогда недруг, а теперь добрый знакомец Пушкина и родственник Гончаровых Федор Толстой-Американец ввел поэта в их дом и 1 мая 1829 года от его имени попросил у Натальи Ивановны Гончаровой руки ее младшей дочери. Пушкину отказали, ссылаясь на молодость Наташи. Отказ был все же обнадеживающим. «...Этот ответ — не отказ, — писал поэт будущей теще, — вы позволяете мне надеяться <...> Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери». Получив полуотказ, Пушкин уехал в действующую армию на Кавказ...

На обратном пути из Арзума в Петербург в ноябре 1829 года он опять был в Москве, но был встречен холодно. «Сколько мук ожидало меня по возвращении! — признавался он той же Наталье Ивановне. — Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, с каким приняла меня м-ль На-



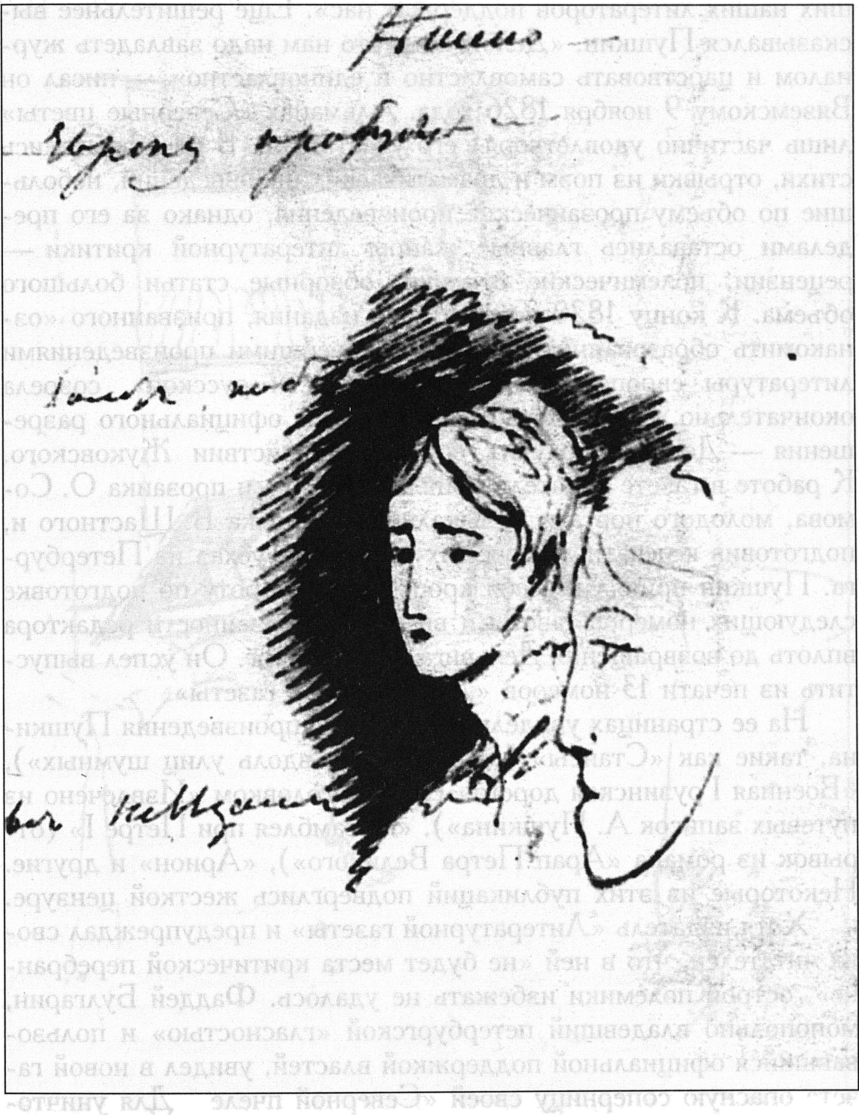
тали... У меня не хватило мужества объясниться — я уехал в Петербург в полном отчаянии...»

Между тем назревал новый конфликт с царем: «высочайший гнев» вызвала самовольная, хотя и протекавшая под несусыпным секретным надзором, поездка в Арзрум, к театру военных действий, к месту ссылки декабристов. Особое раздражение Николая I вызывали встречи Пушкина с Н. Н. Раевским-младшим, бывшим на подозрении у правительства, а также с друзьями-декабристами Вольховским, М. Пущиным и другими. В Петербурге поэта ожидало строгое письмо Бенкендорфа: «Государь император, узнав по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему повелению предприняли Вы сие путешествие». Шеф жандармов выговаривал Пушкину за то, что он «отправился в кавказские страны», не предупредив его, Бенкендорфа, лично о намерении «сделать сие путешествие». Пушкин ответил ему по приезду в столицу следующим письмом: «С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что его величество недоволен моим путешествием в Арзрум. <...> Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере, здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения». Угроза немилости, неясность в отношениях с Гончаровыми вынудили поэта снова проситься в чужие края. На этот раз — во Францию, или Италию, или, если на то не будет согласия, — в Китай, присоединившись к отправляющейся туда миссии. Мрачные настроения поэта отразились в незавершенном стихотворении «Поедем, я готов», где между прочими есть и такая строка: «Но полно, разорву оковы я любви». Бежать от любви не удалось — в поездке Пушкину было отказано. Поэт погрузился в работу для «Литературной газеты», с января 1830 года выходившей еженедельно в Петербурге.

Потребность писателей пушкинского круга в собственном печатном органе ощущалась давно. О желании иметь журнал или газету мечтали Вяземский, Пушкин, Денис Давыдов. Последний еще в 1828 году уговаривал Вяземского: «Примись издавать журнал, я тебе буду помощником по какой-либо части. Жуковский, Пушкин, Баратынский, Дельвиг и множество луч-



А. С. Пушкин  
Автопортрет. 1829



Н. Н. Гончарова (Пушкина)

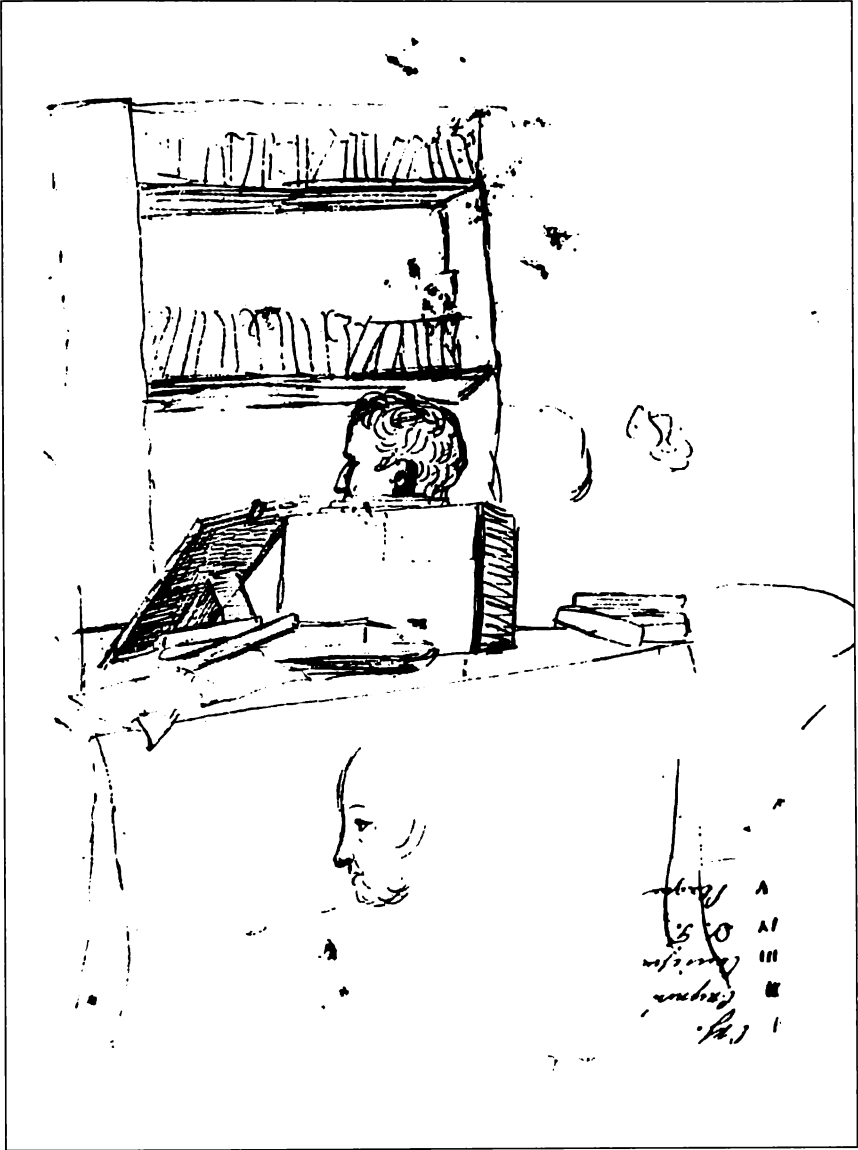
Рисунок А. С. ПУШКИНА. 1833



ших наших литераторов поддержат нас». Еще решительнее высказывался Пушкин. «Дело в том, что нам надо завладеть журналом и царствовать самовластно и единовластно», — писал он Вяземскому 9 ноября 1826 года. Альманах «Северные цветы» лишь частично удовлетворял его участников. В нем печатались стихи, отрывки из поэм и драматических произведений, небольшие по объему прозаические произведения, однако за его пределами оставались главные жанры литературной критики — рецензии, полемические отклики, обзорные статьи большого объема. К концу 1820-х годов идея издания, призванного «ознакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы европейской и в особенности русской», созрела окончательно. Оставалось лишь добиться официального разрешения — Дельвиг получил его при содействии Жуковского. К работе в газете издатель привлек критика и прозаика О. Сомова, молодого поэта и музыкального критика В. Щастного и, подготовив к печати два первых ее номера, уехал из Петербурга. Пушкин принял на себя кропотливую работу по подготовке следующих номеров газеты и выполнял обязанности редактора вплоть до возвращения Дельвига в Петербург. Он успел выпустить из печати 13 номеров «Литературной газеты».

На ее страницах увидели свет многие произведения Пушкина, такие как «Стансы» («Брожу ли я вдоль улиц шумных»), «Военная Грузинская дорога» (с подзаголовком «Извлечено из путевых записок А. Пушкина»), «Ассамблея при Петре I» (отрывок из романа «Арап Петра Великого»), «Арион» и другие. Некоторые из этих публикаций подверглись жесткой цензуре.

Хотя издатель «Литературной газеты» и предупреждал своих читателей, что в ней «не будет места критической перебранке», острой полемики избежать не удалось. Фаддей Булгарин, монополю владевший петербургской «гласностью» и пользовавшийся официальной поддержкой властей, увидел в новой газете опасную соперницу своей «Северной пчеле». Для уничтожения конкурентов на издательско-книжном рынке были пущены в ход доносы, клевета, огульные обвинения и даже пасквили. В одном из мартовских номеров «Северной пчелы» 1830 года появился «Анекдот», в котором Булгарин недвусмысленно намекал на Пушкина, буквально осыпая его бранью и предъявляя ему обвинение в неповиновении властям, опасном вольнодумстве, безнравственном поведении. Возмущенный Пушкин вы-



Уголок кабинета с книжными полками.  
Набросок портрета Ф. Булгарина.

Ноябрь 1830 года



нужден был ответить ему острым памфлетом «О записках Видока», где под видом парижского сыщика и палача вывел Булгарина — «человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями». Сочинения Булгарина расценивались в этой заметке как «крайнее оскорбление общественного приличия». Разгорелась вражда, продолжавшаяся больше года и закончившаяся для «Литературной газеты» весьма печально.

По доносу Булгарина в январе 1831 года Дельви́г был сначала предупрежден о закрытии «Литературной газеты», а затем отстранен от ее издания. События эти, особенно вызов к Бенкендорфу, грубо оскорбившему издателя газеты и угрожавшему ему (а также Пушкину и Вяземскому) ссылкой в Сибирь, потрясли Дельви́га: после недолгой болезни 14 января 1831 года он скончался. Это была самая тяжелая из пушкинских утрат. «Ужасное известие получил я в воскресенье, — писал он Плетневу 21 января. — Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельви́га. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка». Вот как описывает Пушкин свою последнюю встречу с Дельви́гом: «Я ехал с Вяземским из Петербурга в Москву. Дельви́г хотел меня проводить до Царского Села. 10 августа 1830 года поутру мы вышли из городу. Вяземский должен был нас догнать на дороге.

Дельви́г обыкновенно просыпался очень поздно, и разбудить его преждевременно было почти невозможно. Но в этот день встал он в осьмом часу, и у него с непривычки кружилась и болела голова. Мы принуждены были зайти в низенький трактир. Дельви́г позавтракал. Мы пошли далее, головная боль прошла. Он стал весел и говорлив».

Отъезду из Петербурга летом 1830 года предшествовало много важных событий в жизни Пушкина. В марте 1830 года, находясь еще в Петербурге, он получил из Москвы известие, что Гончаровы им интересовались и отозвались о нем благоклонно. Поэт стремительно помчался в Москву, не спрося позволения у Бенкендорфа. Шеф жандармов выговаривал ему за это: «...вменяю себе в обязанность вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению».

Но поэт был счастлив — 6 апреля 1830 года его вторичное предложение было принято. Впечатления этого дня, несомненно, отразились в неопубликованном при жизни Пушкина отрывке его художественной прозы, который печатается под заглавием «Участь моя решена. Я женюсь»: «Бросаюсь в карету, скачу — вот их дом — вхожу в переднюю — уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился: эти люди знают мое сердце; говорят о моей любви на своем холопском языке!..

Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку — она вошла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили <...> Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне — и я жених». В «бледной, неловкой» Надиньке угадывается Наташа Гончарова.

Известие о помолвке Пушкина достигло Петербурга 26 апреля 1830 года. Вяземский с восторгом приветствует этот шаг: «Гряди, жених, в мои объятия!» Приятель советует Пушкину: «Мне кажется, что тебе в твоём положении и в твоих отношениях с царем необходимо просить у него позволения жениться. Жуковский думает, что хорошо бы тебе воспользоваться этим обстоятельством, чтобы просить о разрешении печатать «Бориса», представив, что ты не богат, невеста не богата, а напечатание трагедии обеспечит на несколько времени твое благосостояние».

Летняя поездка в Петербург 1830 года, о которой вспоминал Пушкин в заметке о Дельвиге, и была предпринята для напечатания трагедии «Борис Годунов», не одобренной «высочайшим цензором» в 1826 году. Вторую безуспешную попытку провести трагедию в печать предпринял в 1829 году Жуковский. Пушкин, видимо, последовал его совету, о котором напоминает Вяземский, и снова обратился к Бенкендорфу: «...в 1826 году я привез в Москву написанную в ссылке трагедию о Годунове. Я послал ее в том виде, в каком она была, на ваше рассмотрение только для того, чтобы оправдать себя... (Пушкин имеет в виду публичные чтения трагедии в Москве, за которые он тогда же получил выговор от Бенкендорфа. — Р. И.). Государь, соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замеча-



**БОРИСЪ ГОДУНОВЪ.**

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО ПРОСВЕЩЕНІЯ.

1831.

*Титульный лист первого издания «Бориса Годунова»*

ний о местах слишком вольных <...> Его внимание привлекли также два или три места, потому что они, казалось, являлись намеком на события, в то время еще недавние (речь идет о декабрьском восстании. — Р. И.); перечитывая теперь эти места, я сомневаюсь, чтобы их можно было бы истолковать в таком смысле». «Все смуты похожи одна на другую», — заявляет поэт, подчеркивая, что «драматический писатель не может нести ответственности за слова, которые он влагает в уста исторических деятелей». Ответ Бенкендорфа гласил: «Что же касается трагедии вашей о Годунове, то его императорское

величество разрешает вам ее напечатать за вашей личной ответственностью». «Борис Годунов» был напечатан в типографии Департамента народного просвещения лишь в самом конце 1830 года. Тираж купил книгопродавец А. Ф. Смирдин за десять тысяч рублей. Часть этих денег пошла на покрытие пушкинских долгов покойному Дельвигу, тысяча была заплачена С. М. Дельвиг, которая продала Пушкину принадлежавший ее мужу портрет поэта работы О. Кипренского, четыре тысячи предназначались на свадебные расходы, но свадьба затягивалась.

Сразу же после помолвки будущая теща поставила перед поэтом два неперемennых условия — уточнить его материальные средства и дать доказательства, что он на хорошем счету у государя. Очевидно, в то время, когда он путешествовал по Кавказу, до Натальи Ивановны Гончаровой дошли слухи о его политической неблагонадежности. Требования будущей тещи были удовлетворены. С. Л. Пушкин отдал сыну «в полное и безраздельное владение» 200 душ крестьян в селе Кистеневе, расположенном недалеко от Болдина, а Бенкендорф сообщил, что царь «с благосклонным удовлетворением принял известие» о предстоящей женитьбе поэта.

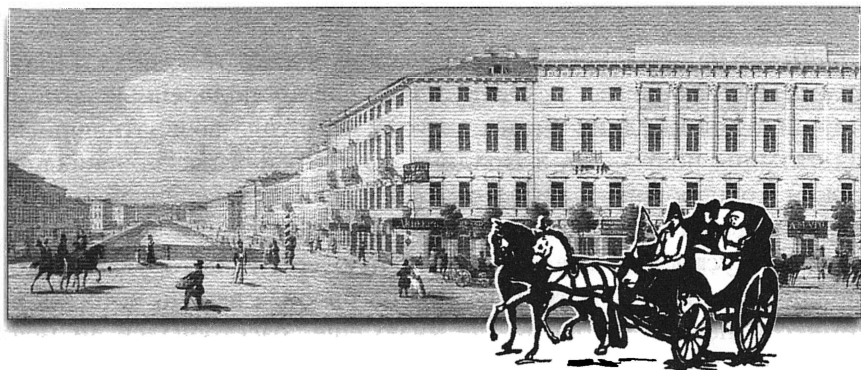


Денег на приданое Н. И. Гончарова ждала от жениха. Пришлось ему заложить в Опекунском совете подаренные отцом «души». В последних числах августа 1830 года возвратившийся из столицы поэт уехал в Болдино. «Я уезжаю, рассорившись с г-жой Гончаровой, — писал он своей давней поверенной в сердечных делах В. Ф. Вяземской. — На следующий день после бала она устроила мне самую нелепую сцену, которую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть. Не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь. ...Ах, что за проклятая штука счастье!»

В Болдине, как известно, его задержали холерные карантинны, и только в начале декабря поэт смог вернуться в Москву, просидев положенное количество дней в Платовском карантине.

После новых проволочек, ссор с матерью невесты, повторных угроз разрыва свадьба Пушкина наконец состоялась 18 февраля 1831 года. «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось, — писал поэт Плетневу, — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». Скитания закончились, поэту предстояло создать свой домашний очаг.





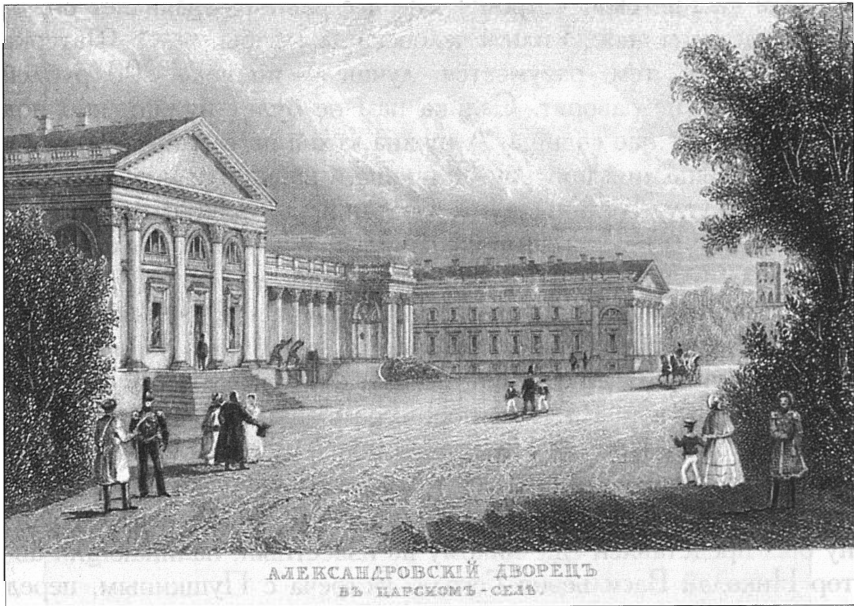
## Царское Село

**П**рошло немногим более месяца после свадьбы, и в письмах Пушкина к петербургским друзьям начали звучать новые нотки. «Надеюсь, сударыня, — обращается он 26 марта 1831 года к Е. М. Хитрово, — через месяц, самое большое через два, быть у ваших ног. Я живу этой надеждой. Москва — город ничтожества. На ее заставе написано: оставьте всякое разумение, о вы, входящие сюда. Политические новости доходят до нас с запозданием или в искаженном виде». Далее поэт уточняет, какие именно новости имеет он в виду: «Вот уже около двух недель, как мы ничего не знаем о Польше, — и никто не проявляет тревоги и нетерпения!» Еще резче отзывается он об убожестве тех, с кем вынужден теперь постоянно общаться (о мос-

ковском барстве, совершенно не изменившемся с грибоедовских времен), в откровенном письме Плетневу: «В Москве остаться я никак не намерен, причины тому тебе известны — и каждый день новые прибывают». В этих словах — намек на тещу, Наталью Ивановну Гончарову, продолжавшую отравлять теперь уже семейную жизнь поэта, вмешиваться в его отношения с женой, навязывать и диктовать совершенно чуждый ему образ жизни. Одним словом, оправдались худшие из опасений Пушкина, высказанные еще до женитьбы в письме тому же Плетневу: «Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, — как тетки хотят. Теща моя та же тетка. То ли дело в Петербурге! заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексеевна».

«После святой (недели, имеется в виду Пасха. — *Р. И.*) отправляюсь в Петербург», — заявляет Пушкин Плетневу и подробно излагает свои ближайшие планы, связывая их бесповоротно с Петербургом.

Переезд должен был состояться при наступлении теплых



Царское Село. Александровский дворец

БРАНДАРДТ. 1830-е годы



дней, и поэт делится с другом заветной мечтой — провести свое первое семейное лето и осень (время наибольшей творческой активности) в Царском Селе, «в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей». По контрасту с уныло-прозаическим московским укладом будущая жизнь в Царском Селе и Петербурге представляла в воображении поэта исполненной духовных и творческих радостей. Далеко не последнюю роль в намерении пожить сначала в Царском Селе, а лишь потом в Петербурге играли соображения финансового свойства: «А дома, вероятно, ныне там недороги: гусаров нет, двора нет — квартир пустых много, — пишет он Плетневу. — С тобою, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жуковским также — П<етер>Б<ург> под боком — жизнь дешевая, экипажа не нужно. Чего же, кажется, лучше?»

В середине апреля переезд из Москвы был решен окончательно, и Пушкин просил Плетнева нанять ему «фатерку» в Царском Селе. Поэт предполагал пробыть здесь до января и поэтому хотел, чтобы квартира была теплая и непременно «с особым кабинетом». «Прочее мне все равно, — заявляет он. — Нас будет: мы двое, 3 или 4 человека да 3 бабы. <...> Фатерка чем дешевле, тем, разумеется, лучше — но ведь 200 рублей лишних нас не разорят. Садика нам не будет нужно, ибо под боком будет у нас садиче. А нужна кухня да сарай, вот и все». Плетнев выполнил просьбу Пушкина и нанял для него дом Китаевой на углу Колпинской и Кузьминской улиц (ныне Пушкинская ул., 2). Дом этот сохранился: в нем находится «Музей-дача» — филиал Всероссийского музея А. С. Пушкина.

18 мая Пушкины приехали в Петербург и провели здесь неделю, избегая появления в свете и общаясь лишь с ближайшими из петербургских друзей из числа тех, кто был посвящен в их житейские планы. Едва ли можно сомневаться в том, что первый визит был нанесен Плетневу, жившему тогда в доме Сухаревой на Обуховском проспекте (ныне Московский пр., 8). По свидетельству Анненкова, 20 мая на вечере у Плетнева Пушкину был представлен еще никому не известный, начинающий автор Николай Васильевич Гоголь. Встреча с Пушкиным, перед которым молодой писатель благоговел и творчеством которого восхищался, определила всю его дальнейшую судьбу, но сблизили их по-настоящему царсосельские встречи 1831 года. По-

селившийся в Павловске. Гоголь проводил свободные вечера (днем он давал уроки сыну А. И. Васильчиковой, тетки молодого писателя В. Соллогуба) в тесном дружеском кружке, душою которого был Пушкин.

В Петербурге Пушкин успел побывать также у Е. М. Хитрово, хотевшей познакомиться с женой поэта. Вот что пишет ее наблюдательная дочь Дарья Федоровна (Доли) Фикельмон, впервые увидевшая Пушкина в новой роли супруга и главы се-



*Н. Н. Пушкина*

А. П. БРЮЛЛОВ. 1831—1832



мейства: «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать. Я видела ее у маменьки — это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, — лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, — глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантства».

Поговорить же в кругу осведомленных и высокообразованных собеседников было о чем! Времена наступили тревожные, из восставшей Польши шли дурные вести, русская армия под предводительством Дибича действовала вяло и нерешительно; гудела, раскаляясь, Европа, грозя России вмешательством в русско-польский конфликт. Лишь у Хитрово Пушкин смог получить внятную и достоверную информацию о ходе военных



А. С. Пушкин

Неизвестный художник. 1831

действий. Русские газеты, как всегда, предвзято и скупое освещали события в Польше. Пушкин, надо полагать, прочел газеты европейские (французские прежде всего), которыми обычно снабжала его Елизавета Михайловна. В большом и откровенном письме Вяземскому от 1 июня 1831 года он подробно описывает свои новые петербургские впечатления: «Здесь залы очень замечательны. Свобода толков меня изумила. Дибича критикуют явно и очень строго». Критиковать Дибича-Забалканского, в прошлом удачливого военачальника, действительно было за что: после выигранного сражения под Гроховым Дибич совершенно неожиданно для всех участников сражения — как русских, так и поляков — «ретировался» и прекратил боевые действия. Осведомленная мемуаристка А. Блудова (дочь давнего знакомого Пушкина арзамасца Д. Н. Блудова) писала, что «дело гроховское остается и теперь загадкою <...> мы ретировались перед готовыми к сдаче поляками, изумленными не менее русских тем, что происходило». Поползли слухи об измене. Толки и пересуды в момент появления Пушкина в Петербурге были в самом разгаре — на них-то и намекает он в письме Вяземскому. Встревоженный Николай I вызвал в Петербург главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом графа И. Ф. Паскевича-Эриванского. «Тому неделю, — сообщает Пушкин Вяземскому, — Эриванский был еще в Петергофе». Далее поэт (со слов «верных людей», скорее всего тех, с кем общался в салоне Хитрово) подробно рассказывает о знаменитом сражении при Остроленке, где Дибич, быстрым натиском опрокинув неприятеля, почему-то снова, как пишет Блудова, «решил не преследовать его, не идти прямо на Варшаву».

Письмо Вяземскому буквально дышит жаром споров в гостиной Хитрово, в нем следы размышлений Пушкина, его неординарные суждения о польском восстании. Любопытно, что в оценке Пушкиным происходящего взгляд поэта и взгляд политика не только не совпадают, но и удивительным образом противоречат друг другу. Поэт восхищается героизмом и мужеством восставших и даже сочувствует им, политик же решительно заявляет: «Все-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна», тем более, «того и гляди, навяжется на нас Европа». В эти трудные для России дни, когда ожесточенная Европа грозила ей новым нашествием, все чаще вспоминался 1812 год. Вероятно, говорили о нем и в кругу Е. М. Хитрово,



дочери Кутузова. Посещением Казанского собора, где был похоронен великий полководец, навеяно стихотворение «Перед гробницею святой», написанное в конце мая — самом начале июня, т. е. по горячим следам польских событий. Кутузов предстает в этом произведении спасителем Отечества, которое в трудный час воззвало к герою:

*«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...*

К нему обращены взоры соотечественников и в этот момент:

*Внемли ж и днесь наш верный глас,  
Встань и спасай царя и нас,  
О старец грозный! На мгновенье  
Явись у двери гробовой,  
Явись, вдохни восторг и рвенье  
Полкам, оставленным тобой!*

В стихотворении отразились глубокие сомнения поэта в способности современных военачальников принять великую эстафету от Кутузова:

*Явись и дланию своей  
Нам укажи в толпе вождей,  
Кто твой наследник, твой избранный!  
Но храм — в молчанье погружен,  
И тих твоей могилы бранной  
Невозмутимый, вечный сон...*

Эти строки писались, когда весть о внезапной смерти Дибича (от холеры) еще не достигла Царского Села, но, узнав о ней, поэт не выразил особых сожалений: «О смерти Дибича горевать, кажется, нечего. Он уронил Россию во мнении Европы, и медленностью успехов в Турции, и неудачами против польских мятежников...» Место Дибича занял Паскевич. Он прибыл в армию 13 июня и начал против восставших энергичные действия. Однако напряженность не спадала: поэт тревожился за судьбу страны. Для Пушкина «мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря». Эта мысль прозвучит и в стихах Пушкина, написанных по получении известия о взятии Паскевичем Варшавы, — в «Клеветниках России» и «Бородинской годовщине». Называя европейских ораторов и публицистов «клеветниками», Пушкин обращает к ним слова





*М. И. Кутузов*

ГУДЛЕТ, МОРРИСОН, с оригинала Д. ДОУ. 1829



гневного обличения и выражает надежду, что «верный рос» выстоит в «неравном споре» с «кичливым ляхом»:

***Славянские ль ручьи сольются в русском море?  
Оно ль иссякнет? вот вопрос.***

Конечно, Пушкин имел в виду не насильственное объединение славян под эгидой самодержавного монарха (как хотел Николай I), а естественно протекавший процесс органичного слияния славян в одну великую семью. Но резкие выпады против поляков дали основания друзьям-либералам расценить эти стихи как «шинельные». Так думал Вяземский, не понимая, что здесь уже содержится целостная, продуманная концепция путей развития славянства как исторически сложившейся национальной общности. По глубокому убеждению Пушкина, именно «российское море» (Российское государство) обеспечивало славянским народам безопасность от внешних вторжений и, в свою очередь, черпало от них свою силу и мощь. Поэт напоминает об уроках недавнего прошлого — победном шествии Наполеона по европейским странам и гибели его армии в русских снегах:

***Так высылайте к нам, витии,  
Своих озлобленных сынов:  
Есть место им в снегах России,  
Среди нечуждых им гробов.***

Оба пушкинских стихотворения вместе с «Русской песнью» Жуковского вошли в брошюру «На взятие Варшавы», вышедшей из печати в конце лета 1831 года.

Вернемся, однако, к двадцатым числам мая. Короткая остановка в Демутовом трактире, по пути на дачу Китаевой, заканчивалась. Пушкиных посетила родная тетка Наталья Николаевна Екатерина Ивановна Загряжская, старая фрейлина, которая будет всячески содействовать успехам племянницы при ее появлении в высшем петербургском свете. Это произойдет позднее, но первые слухи о необыкновенной красавице, юной жене поэта, уже разнеслись по Петербургу. Нащокин пишет Пушкину из Москвы: «Очень много говорят о ваших прогулках по Летнему саду. Я сам заочно утешаюсь и живо представляю себе вас, гуляющих, и нечего сказать: очень, очень хорошо».

25 мая Наталья Николаевна в ответ на приглашение Е. М. Хитрово вновь посетить ее пишет коротенькую записочку

ку: «Я в отчаянии, сударыня, что не могу воспользоваться вашим любезным приглашением, мой муж увозит меня в Царское Село».

Супруги оставались на даче Китаевой до глубокой осени, но, видимо, в первых числах июня Пушкин успел еще раз побывать (и на этот раз один) в Петербурге, куда именно в эти дни приехал Александр Иванович Тургенев. «Видел я Тургенева, — сообщает 11 июня Пушкин Вяземскому, — и нашел в нем мало перемены». Не виделись они более десяти лет. «Впрочем, та же живость, по крайней мере при первом свидании», — замечает Пушкин. Подробный разговор о брате Николае, о декабрьских событиях, о давних петербургских встречах должен был состояться позднее, при посещении Тургеневым Царского Села, но побывать у Пушкина Александр Ивановичу не удалось: узнав об учреждении в столице карантин, он поспешно уехал в Москву.

Эпидемия холеры, вспыхнувшая в России еще в 1830 году, постепенно приближалась к Петербургу. Пушкин услышал об этой страшной болезни еще в конце 1826 года от Алексея Вульфа, в те времена дерптского студента, а теперь гусарского офицера, участника Польской кампании. Уже тогда, как пишет Пушкин в одной из своих автобиографических записей, Вульф «много знал, чему научаются в университетах», «имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной проверки». Поэт вспоминал: «Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он сказал мне при этом: Cholera morbus подошла к нашим границам и через 5 лет будет у нас. <...> Таким образом в дальнем уезде <Псковской> губернии молодой студент и ваш покорный слуга, вероятно, одни во всей России беседовали о бедствии, которое через 5 лет сделалось мыслию всей Европы».

Пушкину, как известно, пришлось пережить начало страшной эпидемии в 1830 году, когда, несмотря на предупреждения друзей, он отправился в Нижегородскую губернию для устройства своих имущественных дел перед женитьбой. Пушкин рассказывает: «На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. <...> Воротиться назад казалось мне мало душим; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой. Едва я успел приехать (в Болдино. — *Р. И.*), как узнаю, что около меня оцепля-



ют деревни, учреждаются карантинны». Пушкин испытал на себе бессмысленность принимаемых правительством мер против холеры: карантинны, назначение которых народу было непонятно, вызывали повсюду лишь ропот и недовольство: «Мятежи вспыхивают то здесь, то там». Очевидец этих событий, Пушкин вспоминал свою первую Болдинскую осень: «Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказки и не ездя по соседям. — Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. <...> Я тотчас собрался в дорогу и поскакал». Далее описывается юмористическая сценка, как мужики не пропускали его через речную переправу (не зная при этом, «зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать») и тут же перевезли его, получив серебряный рубль. Так осуществлялись на практике строгие предписания местного начальства. Пройдет еще немало времени, и эти впечатления обретут новый смысл в связи с событиями, разыгравшимися в Петербурге, а также в соседних с ним губерниях. Вот что пишет о них Пушкин 26 июня Нащокину: «...в Петербурге холера, и как она здесь новая гостья, то гораздо более в чести, нежели у вас, равнодушных москвичей. На днях на Сенной был бунт в пользу ее; собралось народу тысяч 6, отперли больницы, кой-кого (сказывают) убили; государь сам явился на месте бунта и усмирил его. Дело обошлось без пушек, дай Бог, чтоб и без кнута. Тяжелые времена».

Но без пушек и палок дело не обошлось — холерные бунты вскоре охватили ближайшие к Петербургу военные поселения — в Старой Руссе и в Новгородской губернии. «Ты, верно, слышал, — обращается Пушкин 3 августа к Вяземскому, — о возмущениях новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми уточнениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийцу, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков». Расправа с восставшими также была на редкость жесто-

кой: «бунтовщиков» наказывали шпицрутенами. По воспоминаниям очевидца этой страшной экзекуции, из каждых 60 человек в живых оставалось не более 10. «Многих лишившихся чувств волокли и все-таки нещадно били. Были случаи, что у двоих или троих выпали внутренности». Только зная эти «лютые» подробности двойного зверства — самих восставших и их палачей,— Пушкин смог написать: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» В «Капитанской дочке» эти слова с предельной точностью выражают позицию самого автора романа.

С началом эпидемии спокойная жизнь кончилась. По дороге в Царское Село учреждены карантин, из Петербурга сюда переехало вместе со всем двором императорское семейство. «Царское Село закипело и превратилось в столицу»,— сообщил Плетневу Пушкин 11 июля. Царскосельское уединение поэта оказалось нарушенным, но зато Пушкин получил возможность почти каждый день общаться с приехавшими со двором Жуковским (наставником наследника) и фрейлиной императрицы А. О. Россет. Еще до начала карантина в Царское Село переехали Карамзины. Узнав о холере, в Петербурге, как сообщает сестра поэта Ольга Сергеевна в письме мужу, родители ее «уложили пожитки, собрались и выехали отсюда менее чем в 24 часа. Я хотела через два дня присоединиться к ним в Царском, но на другой день отъезда город был оцеплен со всех сторон».

О. С. Павлищева, желая повидаться с родителями, поздно вечером, миновав карантин, приехала в Павловск. Отправила извозчика и, не зная, где живут родители, постучалась к приятельнице матери Е. А. Архаровой. Ее приезд наделал переполох. Архарова перепугалась, весть о приезде Ольги дошла до полиции, и через два часа она была выдворена из Павловска в «карантин». Так как карантин ограничивался «кордоном», от которого всех приехавших отправляли обратно в столицу, то она утром вернулась в Петербург. По этому поводу Пушкин писал П. А. Осиповой: «Вы знаете о том, что у них (родителей.— Я. Л.) произошло, о выходке Ольги, о карантине и т. д. Теперь, слава Богу, все кончено. Родители мои не под арестом» (до этого старшие Пушкины в течение карантинного срока не имели права выходить за пределы своего дачного участка). Очевидно, «выходка» Ольги отбила у самого Пушкина охоту



прорываться сквозь карантины. Общество умных, духовно близких поэту людей скрашивало вынужденное затворничество. Вот как описывает А. О. Россет царскосельскую жизнь поэта: «Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгою внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас зазывал нас к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном находились бумага и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед в банке с кружовниковым вареньем, его любимым (он привык в Кишиневе к дульчецам). Волоса его обыкновенно еще были мокры после утренней ванны и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и привирал всякую чепуху насчет своей соседки графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной: «Поп — толоконный лоб и служитель его Балда». <...> Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех; вы просто говорите: этот стих нехорош, мне не нравится».

«Сказка о попе и работнике его Балде» была написана еще в Болдине; в Царском Селе Пушкин, используя фольклорные записи, сделанные в Михайловском со слов Арины Родионовны, закончил начатую еще в 1828 году «Сказку о царе Салтане». Записью одной из сказок няни воспользовался и Жуковский, сочинивший летом 1831 года «Сказку о царе Берендее». Тогда же он написал и «Спящую царевну». Вот что пишет в этой связи Гоголь Данилевскому: «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе <...>. Почти каждый вечер собирались мы — Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей!»

Не забывал Пушкин и о Лицее, где гордились поэтом, помнили о том, что здесь он учился, рос, мужал, приобретал известность. Однажды к Пушкину, гулявшему по аллеям Екатерининского парка, обратился незнакомый юноша: «Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по Лицею и желаю вам представиться». — „Очень рад, — ответил он, улыбнувшись и взяв меня за руку, — очень рад”. Неприятное радушие видно было в его улыбке и глазах». «Внуку»



Царское Село. Фонтан «Молочница»

А. Е. МАРТЫНОВ. 1821—1822

этому — лицеисту IV выпуска Павлу Ивановичу Миллеру — мы обязаны сохранением ценнейших писем Пушкина Бенкендорфу, изъятых из бумаг III Отделения, где Миллер служил в должности секретаря. Летом 1831 года Миллер брал для Пушкина нужные ему для работы книги из лицейской библиотеки.

В последних числах августа Жуковский отправил Пушкину коротенькую записку: «Приходи ко мне в половине первого; пойдем в Лицей: там экзамен истории». На экзамене Пушкин, наверное, вспомнил и свою лицейскую юность, Державина, в присутствии которого когда-то читал «Воспоминания в Царском Селе». Жизнь возвращалась «на круги своя», и теперь уже лицеист Я. Грот (будущий историк Лицея) с тревогой писал: «...остаются самые трудные экзамены, и, сверх того, на некоторых из них будут присутствовать судьи, которыми нельзя пренебрегать, а именно Жуковский и Пушкин».

Царское Село не стало, однако, для Пушкина «обителью <...> трудов и чистых нег». В его жизни властно вторгся Петербург придворный, великосветский: Наталья Николаевна обратила на себя внимание царской четы. «Она вызывает восхищение всего двора, — пишет Н. О. Пушкина дочери о невест-



ке, — императрица хочет, чтобы она к ней пришла, и назначает день, когда ей явиться. Это досаждало ей очень, но она вынуждена будет покориться». Жена поэта, как видим, не стремилась к сближению со двором. Вскоре она сама напишет своему деду Афанасию Николаевичу: «Я не могу спокойно прогуливаться по саду, так как я узнала от одной из фрейлин, что их величества желали узнать час, в который я гуляю, чтобы меня встретить. Поэтому я выбираю самые уединенные места». Однако царь помнил ее еще по московским балам, когда она только начала выезжать в свет. Заинтересованность юной красавицей побудила его приблизить поэта ко двору. Именно в царскосельском парке, как гласит предание, он обещал Пушкину жалованье и предложил написать «Историю Петра».

14 ноября 1831 года началась длительная процедура зачисления Пушкина на службу в Коллегию иностранных дел с последующим производством в чин титулярного советника. В начале декабря Пушкин дал подписку о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам, а в начале следующего, 1832 года присягнул на верность службе. Тогда же с него был снят и секретный надзор. Царским чиновником Пушкин, разумеется, не стал, но в полной мере испытал на себе гнет чиновничье-бюрократической машины. Определяя круг своих будущих обязанностей, Пушкин сообщал Плетневу: «Царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем чтоб я рылся там и ничего не делал». Платить ему положили 5000 ассигнациями в год, но первое жалование он получил (и то после многократных напоминаний) лишь в июле 1832 года.

«История Петра I», которая мыслилась как продолжение работы, начатой «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина, создавалась на протяжении ряда лет и потребовала от поэта огромных усилий, однако официального звания придворного историографа Николай I Пушкину так и не дал. В 1831 году труд этот, грандиозный по своим масштабам, лишь замышлялся. Первыми подступами к его осуществлению стали многочисленные штудии поэта из трудов по истории Французской революции, по истории Украины, выписки из книг о Петровской эпохе, отдельные исторические заметки.

Трудный для России и совсем не простой для Пушкина



1831 год подходил к концу. Уже подавлены холерные бунты, усмирены польские «мятежники» и даже холера явно пошла на убыль. В октябре были сняты карантинные меры, и Пушкин почти сразу уехал в Петербург, торопясь на лицейскую сходку. К этому дню он написал стихотворение «Чем чаще празднует лицей». Однако в протоколе годовщины (его вел М. Яковлев) читаем: «Праздновали на квартире Яковлева (в казенном доме, на Литейной). Собрались: Илличевский, Корнилов, Стевен, Комовский, Данзас, Корф. Пушкин не был потому только, что не нашел квартиры». Последние два слова написаны вместо зачеркнутой фразы: «не хотел до 19 октября увидеться с кем-либо из лицейских товарищей 1-го выпуска». И дальше: «При заздравном кубке или заздравной чаше вспоминали певца 19 октября:

*И первую полней, друзья, полней!  
И всю до дна в честь нашего союза!  
Благослови, ликующая муза,  
Благослови: да здравствует Лицей!*

Подписались (лицейскими прозвищами.— Я. Л.): Корф (дьячок Мордан), Комовский (лиса-смола), Илличевский (Олосенька), Данзас (осада Данцига), Скрепил Яковлев (паяс 200 №№)».

Объяснение Пушкина (что он «не нашел квартиры») — не просто отговорка. Об этом свидетельствует автограф приготовленного для годовщины стихотворения. Оно переписано набело на отдельный листок бумаги; листок сложен пополам — он вполне мог уместиться в кармане сюртука, — поэт готовился к встрече и, не найдя новой квартиры Яковлева, вернулся домой, а позднее настоял, чтобы в протоколе была правильно обозначена причина его отсутствия. Он не хотел выглядеть отступником от лицейской традиции.

Стихотворение звучит как реквием по ушедшим из жизни лицейским товарищам:

*Шесть мест упраздненных стоят,  
Шести друзей не узрим боле,  
Они разбросанные спят —  
Кто здесь, кто там на ратном поле,  
Кто дома, кто в земле чужой,  
Кого недуг, кого печали  
Свели во мрак земли сырой,  
И надо всеми мы рыдали.*



На ратном поле погиб полковник С. С. Есаков, застрелившийся после потери нескольких пушек во время кампании 1830—1831 годов. В земле чужой погребены умершие от чахотки за границей Н. А. Корсаков и П. Ф. Саврасов. От недуга скончались также Н. Г. Ржевский и К. Д. Костенский. Плач о Дельвиге переходит у Пушкина в предчувствие своей скорой смерти:

*И мнится, очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой,  
Товарищ песен молодых,  
Пиров и чистых помышлений,  
Туда, в толпу теней родных  
Навек от нас утекший гений.*

Предчувствие не обмануло поэта. Следующим из лицейстов «в толпу теней родных» ушел именно он.

По возвращении из Царского Села Пушкину пришлось поменять квартиру, снятую в доме Берникова на Вознесенской улице. Она не понравилась супругам, которые переехали почти сразу в дом Брискорн на Галерной улице (ныне дом 53). Квартира, расположенная в бельэтаже, стоила недешево — 2500 рублей в год. Видимо, это послужило одной из причин отказа от нее. В мае 1832 года Пушкины перебрались на Фурштатскую в дом Алымовой (ныне дом 20). Событие это не обошел вниманием и «знаменитый» граф Д. И. Хвостов, написавший вирши под поэтическим названием «Соловей в Таврическом саду 1832 года», где воспел Пушкина в искренних, но несколько неуклюжих строках:

*Любитель муз с зарею Майской,  
Спеши к источникам ключей,  
Ступай послушать на Фурштатской,  
Поет где Пушкин соловей.*

Квартира в доме Алымовой, просторная и светлая, располагалась на втором этаже и состояла из 14 комнат с паркетным полом. Здесь у Пушкиных родился первый ребенок — дочь Мария.

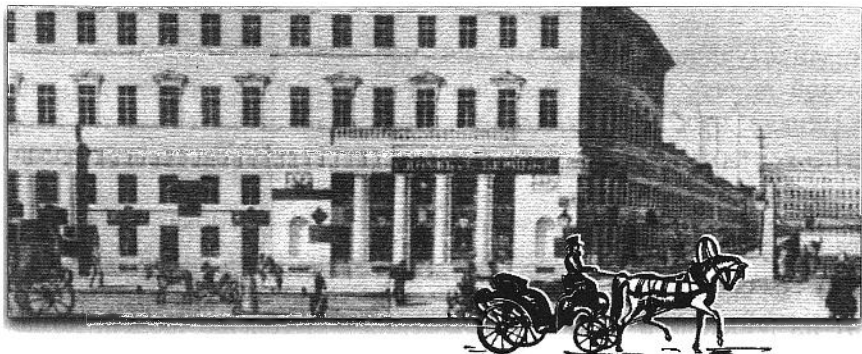
Торжественными гекзаметрами приветствовал рождение дочери поэта Николай Гнедич. Девочка стала любимицей роди-

телей Пушкина. «Она хороша, как ангелок, — пишет о годовалой внучке Сергей Львович дочери. — Хотел бы я, дорогая Оленька, чтоб ты ее увидела, ты почувствуешь соблазн нарисовать ее портрет, ибо ничто, как она, не напоминает ангелов, писанных Рафаэлем».

Жена поэта со временем научилась ловко управлять домом. Проявилась в ней деловая, купеческая хватка предков Гончаровых. «Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, — пишет ей поэт из Москвы в октябре 1832 года, — сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счета, доишь кормилицу. Ай да хват-баба! Что хорошо, то хорошо».

Уезжая из Петербурга, Пушкин поддерживал через жену деловые связи (переговоры с министром финансов Канкриным, некоторые дела по «Современнику»). Наталья Николаевна как могла помогала своему брату Дмитрию, хотя почти ничего не получала от него из доходов по имению. Опубликованные М. Дементьевым и И. Ободовской ее письма Д. Н. Гончарову показывают жену поэта женщиной заботливой и наделенной душевной щедростью. Они заставляют вспомнить слова самого Пушкина, обращенные к Наталье Николаевне в одном из августовских писем 1833 года: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, — а душу твою люблю я еще более твоего лица».





## Литературные начинания

«Ж

изнь моя в Петербурге ни то ни се,— жаловался Пушкин Нащокину в марте 1833 года.— Заботы о жизни мешают мне скучать. Нет у меня досуга — вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения». Пушкин понимал, что собственные его труды едва ли смогут обеспечить материальное благополучие его семьи: поэту был необходим регулярный литературный заработок. Мысль об издании газеты или журнала Пушкин вынашивал еще с конца 1820-х годов, но с переездом в Петербург ее осуществление стало реальностью. Здесь, в центре культурной и по-

литической жизни России, поэт получил возможность влиять на общественное мнение, способствовать формированию передовой литературы.

Летом 1830 года Пушкин обратился к Николаю I с просьбой позволить ему издание газеты (или, как он называл ее, журнала), программу которой подробно излагал в черновике письма на имя Бенкендорфа. Анализируя общее состояние просвещения в эпоху нынешнего и прежнего царствований, поэт отмечал процесс отчужде-



А. С. Пушкин

Автопортрет

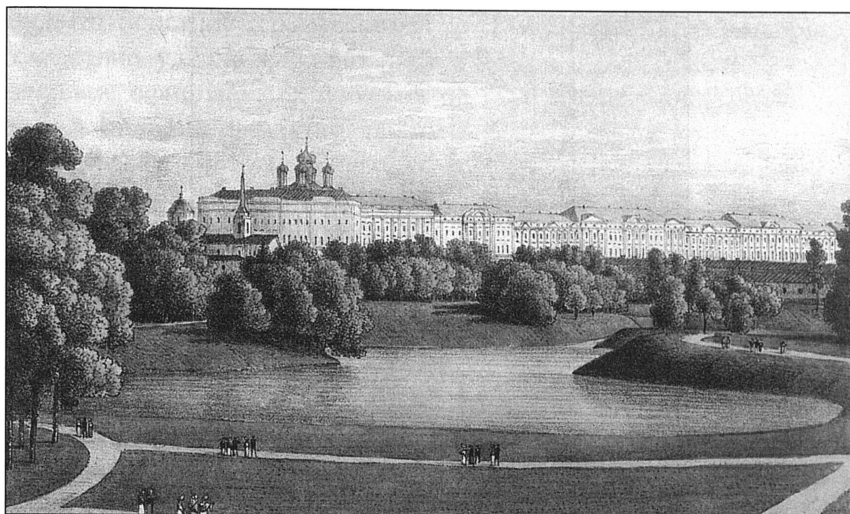
ния литературы от государственной власти, подчеркивая, что во времена Александра I (иными словами — в преддекабристскую эпоху) «весь класс писателей перешел на сторону недовольных». После событий 14 декабря стала очевидной важнейшая роль литературы в формировании общественных настроений. Пушкин с полным основанием заявлял Бенкендорфу: «...в последнее десятилетие царствования покойного государя я имел на все сословие литераторов (а следовательно, и на общественное мнение. — *Р. И.*) гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств». Каким было это влияние, правительство знало не хуже Пушкина: намек поэта содержал и предупреждение — в случае отказа в его просьбе он как бы оставлял за собою право «перейти на сторону недовольных». Нынешняя словесность, замечает Пушкин, находится далеко не в лучших руках — а именно издателей «Северной пчелы» (поэт имел в виду Булгарина и Греча, хотя и не называл эти имена в письме прямо). Критика, как и политика, «сделалась их монополией», они управляют мнением читающей публики, а «следственно», и «книжной торговлей». Чисто литературные газеты и журналы имеют не более 400 подписчиков (против 3000 подписчиков «Северной пчелы», приносящих ее издателям 80 000 годового дохода), а значит, они не в состоянии конкурировать с этой газетой. Автору книги, осужденной «Северной пчелой», «остается ожидать решения читающей



публики или искать управы и защиты в другом журнале». Но чаще всего этот приговор оказывается окончательным, ибо публика, полагаясь на него, книги раскритикованного автора не покупает. От этого, подчеркивает Пушкин, терпит ущерб не только автор, но и литература в целом, читатель получает искаженное, превратное представление о ней, что не может не привести к упадку словесности, а следовательно, и просвещения в целом.

Чтобы избежать пагубных последствий булгаринско-греческого монополизма, Пушкин просит разрешить для привлечения большего числа подписчиков печатать заграничные новости в журнале Дельвига (т. е. в «Литературной газете») или же в новом журнале, издателем которого намерен стать он сам. «Сим разрешением, — замечает Пушкин, — г<осударь> и м<ператор> дарует по 40 тысяч доходу двум семействам (Дельвига и Пушкина. — *Р. И.*) и обеспечит состояние нескольких литераторов». Поэт имел в виду писателей, группировавшихся вокруг «Литературной газеты».

Письмо Бенкендорфу не было отправлено, и вопрос об издании нового печатного органа был на некоторое время отложен. К тому же в Петербурге продолжала выходить газета Дельвига, на страницах которой велась полемика с «Северной пчелой». С закрытием «Литературной газеты» пушкинский круг писателей лишился собственного печатного органа, и сразу же после переезда из Москвы в Царское Село Пушкин возобновил свои хлопоты об издании политической и литературной газеты, предполагая выпускать ее под названием «Дневник». Он писал: «С радостью взялся бы я за редакцию Политического и Литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости — около которого соединил бы писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к Просвещению». Как видим, Пушкин преследовал цели консолидации лучших литературных сил России и намеревался сблизить передовую литературу с правительством, которое, как казалось Пушкину в самом начале 30-х годов, было готово к подобному сотрудничеству. Вместе с тем Пушкин стремился и к воздействию на правительство в прогрессивном духе — иными словами, хотел не только управлять «общим мнением» (так определялась главная цель

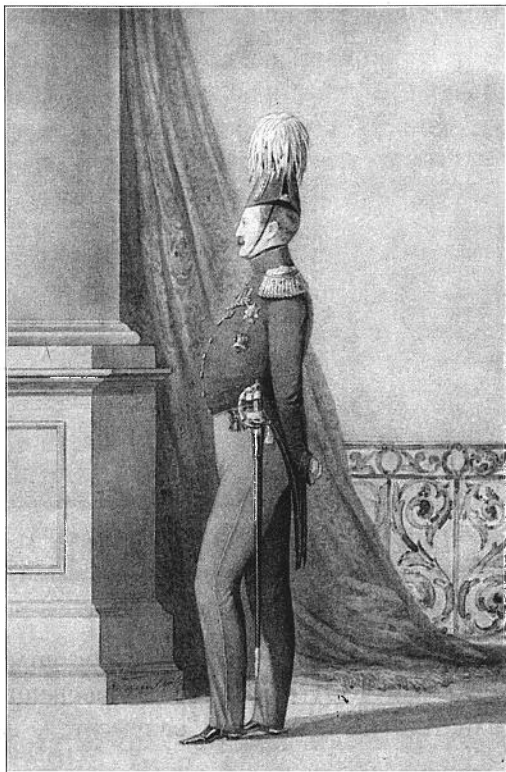


*Царское Село. Дворец и парк*

А. Е. МАРТЫНОВ. 1821—1822

затеваемой им газеты в «Наброске плана», составленном между мартом и началом мая 1831 года), но и просвещать и воспитывать правительство, не исключая, разумеется, и самого императора.

Летом 1831 года, вероятно, заручившись устным согласием Николая I, Пушкин начал подготовительные работы к будущему изданию, подыскивал темы для политических заметок (впрочем, их подсказывала сама жизнь: восстания в новгородских поселениях, холерный бунт в Петербурге, польские события — одним словом, все то, чем жила тогда вся Россия). Заметки основывались на дневниковых записях, в которых поэт, однако, не только описывает те или иные события, но и критикует действия правительства, вплоть до шагов, предпринятых самим императором. Так, рассказывая о его появлении перед взбунтовавшимися полками в новгородских военных поселениях, поэт замечает: «Однако же сие средство, как последнее, не должно быть всеу употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению». Осуждает Пушкин и систему мер по борьбе с эпидемией холеры, выступая против карантинных, которые «суть только средства к притеснению и причины к общему неудовольствию». Пушкин стремился разнообразить



*Николай I*

К. П. БРЮЛЛОВ. 1830-е годы

формы подачи политической информации, образцы которой и дают сохранившиеся в одной из записных книжек поэта заметки. Описывая получение в Царском Селе известия о взятии Варшавы, Пушкин приводит слова Николая I, сказанные им графу Суворову (внуку полководца), прибывшему из Варшавы с донесением о победе: «Сколько в Суворовском полку осталось?» — спросил государь у Суворова. «300 человек, в <аше> величество». — «Нет; 301: ты в нем полковник». Император любил эффектные сцены, и поэт тонко подмечает эту слабость Николая I. Комментируя окончание польского восстания, Пушкин позволяет себе сочувственное высказывание о побежденных: «Поляки защищались отчаянно». Он показывает, что доставшаяся правительственным войскам победа в той же мере



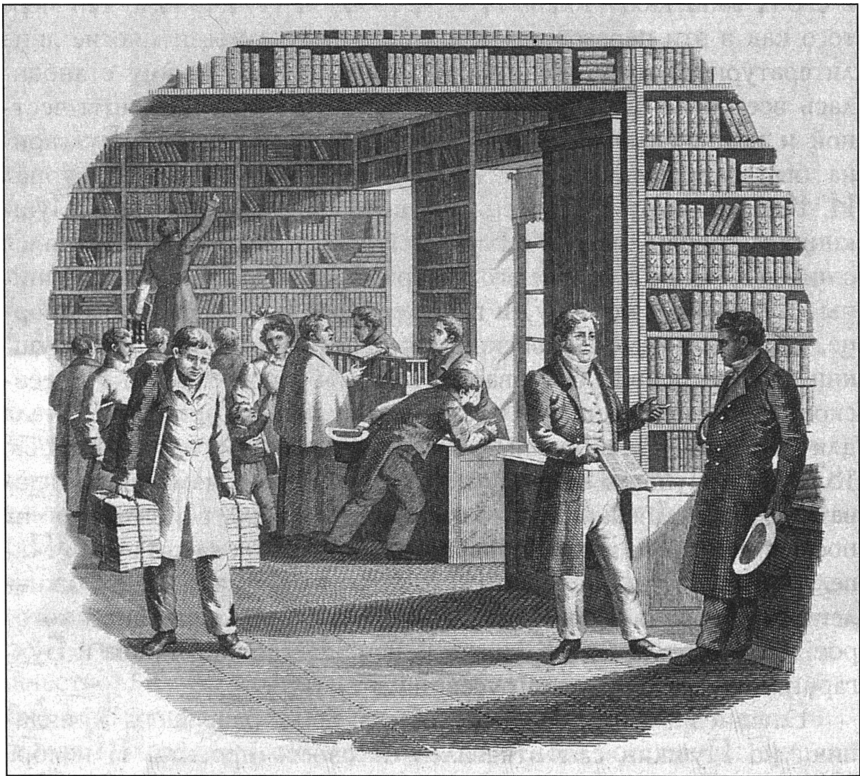
результат поистине героических усилий участников штурма, как и следствие удачно сложившихся обстоятельств. Такого рода освещение официальных событий не могло понравиться Николаю I, и Пушкин, вероятно, понимал это.

К проекту Пушкина отнеслись с большим вниманием бывшие арзамасцы, а ныне крупные сановники Д. Н. Блудов и С. С. Уваров, предложив через Ф. Вигеля свою помощь Пушкину. Однако Пушкин не хотел отдавать контроль над будущим журналом официальным лицам, он стремился к созданию независимого литературного органа и искал себе помощников среди литераторов. Пушкин вел переговоры об участии в газете Н. И. Тарасенко-Отрешкова (в его архиве сохранился пробный, набранный типографским способом номер будущей газеты). Обращался он за советом и к Гречу, подробно описавшему в своих записках и письмах переговоры с Пушкиным. По мере того как в эти переговоры оказывались втянутыми многие лица литературного и чиновничьего Петербурга, Пушкину становилась все более очевидной невозможность издания газеты честной и независимой. В феврале 1832 года по доносу Булгарина был запрещен прогрессивный, прекрасно начатый журнал И. Киреевского «Европеец» (вышли лишь два номера). Пушкин был хорошо знаком с Киреевским, неоднократно встречался с ним в Москве в салоне его матери А. П. Елагиной (племянницы Жуковского по отцу) и в Петербурге в Шепелевском дворце, где жил тогда Жуковский как наставник наследника. Пушкин высоко ценил образованность и добросовестность Киреевского. Есть основания полагать, что судьба «Европейца» стала для Пушкина своеобразным предостережением, однако осенью 1832 года Пушкин еще не отказался от своего намерения издавать газету «Дневник». В октябре из Москвы в Петербург на постоянное место жительства переехали Вяземские, и юный Павел Петрович (сын пушкинского друга) стал свидетелем оживленных споров о «серьезном литературном предприятии», которое должно было бы положить конец «монополии Греча и Булгарина и защитить честь русской литературы».

Ежедневная политическая газета была разрешена к изданию, но Пушкин сам отказался от своего проекта. В ноябре 1832 года Греч с нескрываемым удовлетворением сообщал Булгарину: «Все обстоит благополучно. Пушкин образумился и ни журнала, ни газеты издавать не будет».



В феврале 1832 года Пушкин принял участие в торжественном обеде, данном книгопродавцем и издателем А. Смирдиным литературному Петербургу по случаю переезда своей книжной лавки в правый флигель лютеранской церкви (ныне Невский пр., 22). Со Смирдиным Пушкина связывали давние и весьма прочные деловые отношения: он был издателем нескольких поэм Пушкина, «Бориса Годунова», полного текста романа «Евгений Онегин», вышедшего из печати в 1833 году и ставшего одним из самых значительных событий литературной жизни столицы. Участникам смирдинского обеда Пушкин запомнился веселым, оживленным. За обеденным столом цензор В. Н. Семенов оказался сидящим между Булгариным и Гречем. «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе»,—



В книжной лавке у А. Ф. Смирдина

Эскиз титульного листа альманаха «Новоселье». А. П. САПОЖНИКОВ. 1833—1834

заметил Пушкин, приведя этим в ярость Фаддея Булгарина. В честь обеда было решено издать альманах «Новоселье», в который Пушкин передал свою первую петербургскую поэму «Домик в Коломне». На титульном листе альманаха — виньетка, выполненная А. П. Брюлловым и С. Ф. Галактионовым, с изображением участников обеда у Смирдиных. На переднем плане — в группе близких ему литераторов — Пушкин, на противоположной стороне стола — булгаринско-гречевская литературная «братия».

В 1832 году Пушкин занят активной издательской деятельностью: в начале этого года выходит из печати подготовленный им альманах «Северные цветы на 1832 год», изданный в пользу осиротевшей семьи Дельвига, затем — отдельной маленькой книжечкой — «Стихотворения А. С. Пушкина (из «Северных цветов»)». В сборник вошли «Моцарт и Сальери», некоторые из антологических эпиграмм, «Дорожные жалобы», «Бесы» и, наконец, стихотворение «Анчар, древо яда», вызвавшее новые объяснения с Бенкендорфом. Шеф жандармов был недоволен тем, что стихотворение напечатано «без предварительного испрошения на напечатание» и получения на то «высочайшего дозволения». Пушкин ответил, что, «совестясь поминутно» беспокоить его величество, он считал, что не лишен права печататься и с дозволения общей цензуры. В конце мая 1832 года Пушкин снова обращался к Бенкендорфу с просьбой о разрешении быть издателем поэм томящегося в Сибири Кюхельбекера, объясняя это тем, что был «школьным товарищем» Кюхельбекера. Разумеется, в просьбе этой Пушкину было отказано.

Работа над собственными творческими замыслами шла у Пушкина в это время с большим напряжением. Сказывалось глубокое недовольство поэта своей петербургской жизнью, омраченной поисками хлеба насущного, тревогой за будущее растущей семьи, невозможностью свободно творить в условиях жесточайшего полицейского контроля над всей его литературной деятельностью. Характернейшая примета начала 30-х годов — множество планов, набросков, фрагментов начатых произведений и почти ничего законченного. Из печати выходят произведения, написанные раньше. На удивление мало лирических стихов, преобладают проза, критика, эпические замыслы. В самом конце 1832 года, по возвращении из поездки в Москву, Пушкин принимается за «Дубровского» (прототип героя — некто



Островский: о нем поэт узнал от своего московского приятеля Нащокина, в письмах к которому сообщает, как продвигается работа над романом). «Дубровскому» также было суждено остаться незавершенным. Новый творческий замысел — «Капитанская дочка» — отодвинул окончание этого романа. Следующий, 1833 год прошел главным образом в изучении материалов по истории пугачевского восстания. Общественная ситуация начала 1830-х годов сделала эту тему необычайно актуальной. 25 марта 1833 года Пушкин приступил к написанию первой главы будущей «Истории Пугачева» (по настоянию Николая I труд Пушкина получил иное название — «История Пугачевского бунта»). В конце мая этого же года работа вчерне была закончена, но Пушкину было необходимо побывать в тех местах, где в 1773—1774 годах проходило крестьянское восстание под руководством Пугачева. Только тогда Пушкин смог вернуться и к продолжению работы над «Капитанской дочкой».

Еще в конце 1832 года Пушкин заключил контракт с П. А. Жадимеровским на наем новой квартиры, обязуясь платить ему 3300 рублей в год. Она находилась на третьем этаже каменного дома на углу Гороховой и Большой Морской улиц (ныне дом 26/14) и состояла из двенадцати комнат, кухни и других подсобных помещений. Здесь Пушкин прожил до мая 1833 года, когда семья переехала на летнюю дачу на Черную речку. «Александр и Наташа на Черной речке, — писала в июне 1833 года Н. О. Пушкина, — они наняли дачу Миллера, в которой в прошлом году жили Маркеловы, она очень красивая, при ней большой сад и дом очень большой: в нем 15 комнат вместе с верхом. Наташа здорова, она очень довольна своим новым помещением, тем более что это в двух шагах от ее тетки...» Пушкин почти ежедневно совершал большие пешие прогулки в центр города.

6 июля 1833 года на Черной речке, на даче Миллера, появился на свет любимец поэта «рыжий Сашка», 14 мая 1835 года родился Григорий, названный так в честь знаменитого предка Пушкина Григория Гавриловича, который в битвах с поляками храбро сражался, служа Шуйскому, и, по словам Карамзина, «честно сделал свое дело». За восемь месяцев до гибели поэта родился четвертый ребенок — дочь Наталья.





## «Красуйся, град Петров!»

«**С**емья моя увеличивается, — писал Пушкин брату жены Дмитрию Николаевичу Гончарову тогда же, летом 1833 года, — мои занятия вынуждают меня жить в Петербурге, расходы идут своим чередом, и так как я не считал возможным ограничить их в первый год своей женитьбы, долги также увеличились... Я не богат, а мои теперешние занятия мешают мне посвятить себя литературным трудам, которые давали мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете».

Для завершения произведений, задуманных уже в Петербурге, а главным образом для успешного завершения «Истории Пугачева» Пушкин должен был хотя бы на время вырваться из тягост-

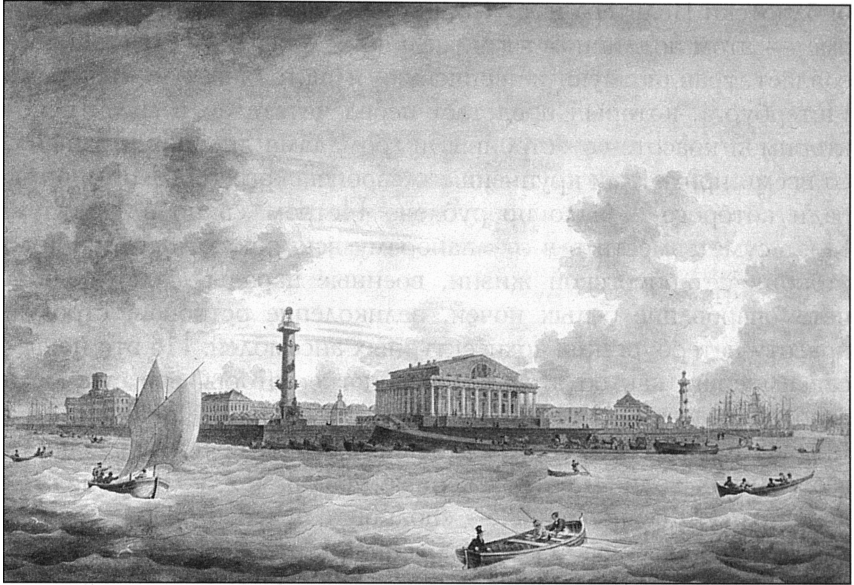


ных оков столичной жизни. 22 июля 1833 года он обратился к Бенкендорфу со следующей просьбой: «Обстоятельства принуждают меня уехать на 2—3 месяца в мое нижегородское имение — мне хотелось бы воспользоваться этим и съездить в Оренбург и Казань, которых я еще не видел. Прошу его величество позволить мне ознакомиться с архивами этих двух губерний». По поручению шефа жандармов поэту ответил заменивший умершего фон Фока на посту управляющего канцелярией III Отделения А. Н. Мордвинов. Он задал Пушкину следующие вопросы: «...что понуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань и по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на Вас возложенные?»

Поэт ответил подробным разъяснением всех обстоятельств своей нынешней жизни: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими разысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной (так парировал он выговор Николая I, обвинившего поэта в том, что он не хочет заниматься делом, «на него возложенным», т. е. «Историей Петра I». — Р. И.). Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду». Далее поэт глухо упоминает о романе, «коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани» (т. е. о «Капитанской дочке»). Он не называл еще имени Пугачева как одного из «главных героев романа», видимо, из-за опасения получить отказ на свою просьбу.

Получив официальное разрешение на поездку, Пушкин 18 августа 1833 года выехал из Петербурга. Накануне этого дня в Петербурге бушевала непогода. Нева вышла из берегов, городу грозило наводнение. Пушкин, выезжая из столицы, видел следы его на гранитных набережных. Это живо напомнило ему события почти десятилетней давности — знаменитое петербургское наводнение 1824 года, свидетелем которого Пушкин, как известно, не был, но не раз слышал о нем от очевидцев и читал подробные описания постигшего столицу бедствия в газетах и журналах той поры.

В болдинском уединении между 6 и 29 октября 1833 года Пушкин создает поэму «Медный всадник», подлинный шедевр его зрелой, отмеченной высочайшей художественностью поэзии. Пушкин определил ее жанр как «петербургскую повесть», и она



*Петербург. Стрелка Васильевского острова*

Неизвестный художник. 1820-е годы

стала не только лучшим из всего того, что написал Пушкин о Петербурге, но и великой загадкой всей русской литературы, ее вершиной, ее гордостью.

Пушкин сумел воплотить в ней все богатство своих впечатлений от жизни этого красивейшего города Российской империи, обширность и глубину вызванных им исторических размышлений. «Медный всадник» стал для Пушкина возвращением к теме исторических деяний Петра I, волновавшей поэта на протяжении всей его творческой жизни. Подступами к этой поэме явились посвященные Петру I наброски и стихи, главы незаконченного исторического романа «Арап Петра Великого», в котором воплотились волновавшие поэта мысли о причастности его знаменитого предка к петровским реформам, имевшим такие важные последствия для всей России. К «Медному всаднику» вела «Полтава», первая подлинно историческая поэма Пушкина, так и не оцененная по достоинству его современниками.

В «Медном всаднике» Пушкин суммирует и обобщает свои прежние наблюдения, дополняя их петровскими материалами из



библиотеки Вольтера и других источников. Во вступлении к поэме — этом подлинном гимне великому городу — Пушкин воссоздает грандиозную живописную и историческую панораму Петербурга, который предстает перед читателем в своей неповторимой красоте со «стройными громадами дворцов и башен», со всеми приметами крупнейшего европейского торгового порта, ради которого и было прорублено Петром «окно в Европу». Поэт сумел вместить в эту панораму всю яркую, праздничную сторону петербургской жизни, военные парады, салюты, воспеть очарование белых ночей, великолепие островов, строгую красоту петербургских архитектурных ансамблей. Но это не фасад империи, как об этом пишут многие авторы, это сущность города, его душа. В нем воплотились грандиозные планы Петра I, мощь и размах его государственного гения, яркая одаренность его великих зодчих и неимоверные усилия тех, на чьих костях возникло это великолепие, — «полнощных стран краса и диво». Вступление завершается вдохновенными строками:

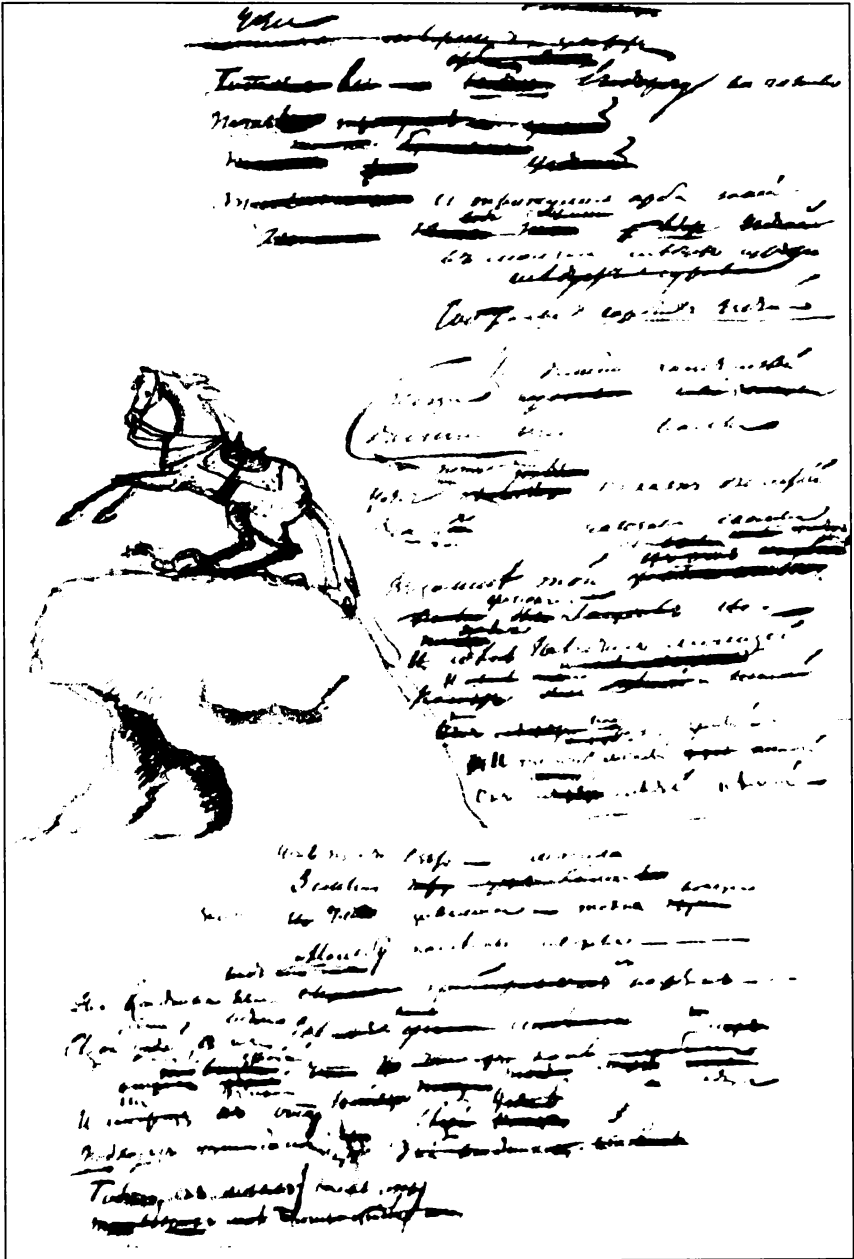
*Красуйся, град Петров,  
И стой непоколебимо, как Россия!*

Далее рассказ поэта о случившемся во время наводнения 1824 года события обретает совершенно иную тональность. Пушкин отказывается от изображения в своей «петербургской повести» тех слоев общества, к которым принадлежал он сам, и выбирает героя обыкновенного, с незаметной, казалось бы, будничной судьбой, лишая его какого бы то ни было ореола:

*...мой герой  
Живет в Коломне, где-то служит.*

Путь автора к изображению этого совсем нового для русской литературы героя был совсем не прост. Выбор его — итог глубоких исторических раздумий Пушкина о судьбах русского дворянства, к которому принадлежал по своему рождению Евгений, герой поэмы. Это совершенно особенная линия пушкинского историзма, проецированная и на личную судьбу поэта, предки которого принадлежали к старинному дворянскому роду, играли важную роль в событиях русской истории, были некогда богатыми и могущественными. Оскудение дворянских родов Пушкин наблюдал на примере и собственной семьи: его отец и





«Медный всадник» (без Петра). 1829



дядя Василий Львович были вполне зажиточными помещиками, владея тысячью душ крепостных каждый. Пушкина же кормили не отцовские «вотчины», а «торговля стихшастая», как писал он о себе еще в 1827 году.

В преддверии замысла «петербургской повести» — наброски поэмы «Езерский», с ее мучительными колебаниями и поисками героя — представителя «дряхлающих родов». В «Медном всаднике» эти колебания решаются в пользу героя «ничтожного», но не в смысле его человеческих качеств, а ничтожного в смысле историческом. Выходец из некогда знаменитого дворянского рода, Евгений стал мелким чиновником, винтиком в огромной государственной машине, запущенной еще великим Петром. Он гибнет в неравной схватке с разъяренной стихией, разрушившей его скромное личное счастье. Только отрешившийся от забот каждодневной жизни и потерявший рассудок, Евгений неожиданно «прозревает» и становится неумолимым обличителем того, «чьей волей роковой над бездной город основался». «Снижение» героя, которое потребовало особого объяснения с читателем в самом начале поэмы, означало для Пушкина вторжение в иную социальную среду. Так в «Медном всаднике» появились картины окраинной Коломны, заброшенные пустыри и острова Невского взморья, с которым у Пушкина были связаны мучительные воспоминания о казни декабристов и их захоронении. В подтексте поэмы, несомненно, скрываются и эти мысли.

Возвращаясь в Петербург через Москву, где он задержался на несколько дней, Пушкин привез законченные в Болдине «Медный всадник» и «Пиковую даму».

Две петербургские повести — стихотворную и прозаическую — называют иногда «повестями-спутниками». Их связывает соотношение судеб главных героев — Евгения и Германна. И там и там человеческая трагедия представлена как эпизод из жизни большого города. В «Пиковой даме» Петербург обращен к читателю новыми гранями. Городу с великой судьбой посвящено вступление к «Медному всаднику». Кульминация действия стихотворной повести разворачивается на улицах города, действие «Пиковой дамы» происходит, главным образом, в его интерьерах (за карточным столом, в комнате бедной воспитанницы, в будуаре красавицы прошлого века, в казарме). С первых же слов повести Пушкин вводит читателя в атмосферу

жизни богатых и знатных петербуржцев. Эта аристократическая среда с ее ночными бдениями, кутежами и азартом хорошо известна Пушкину, которого не раз одолевала страсть к картам. Карточные столы, на которых рушатся и создаются состояния и которые становятся полем брани за успех в жизни, ставят героя на грань безумия. Перед нами новая разновидность героя-петербуржца, человека среднего достатка, который противопоставит всем, с кем сводит его сюжет за карточным столом. Противостоит как военный инженер — гвардейцам, как сын обрусевшего немца (со времен Петра I их было много в столице) — русским аристократам, как человек, стесненный в средствах, — людям состоятельным. Пушкин и Баратынский назвали тридцатые годы «железным веком». В жестокий «железный век» человек попадает под неумолимую власть денег, которые губят его личность, мораль, психику. Тяготы «железного века» обрушиваются на самого Пушкина, и он не раз будет пытаться вырваться из столицы. У поэта достало силы сопротивляться «веку расчета», у его героя — нет. Евгений в «Медном всаднике» любит и сходит с ума в бедной Коломне, где стихия погубила его невесту. Германн имитирует любовь, и его подлинная страсть — деньги — ведет его в конце концов к гибели. Так еще раз в творчестве Пушкина появляется облик императорской столицы, впервые обозначенный в послании к А. А. Олениной как «Город пышный, город бедный».

Тогда же, в самом конце 1833 года, Пушкин начал свой последний дневник, который стал его постоянным спутником в течение 1833—1835 годов.





## Русский Данжо

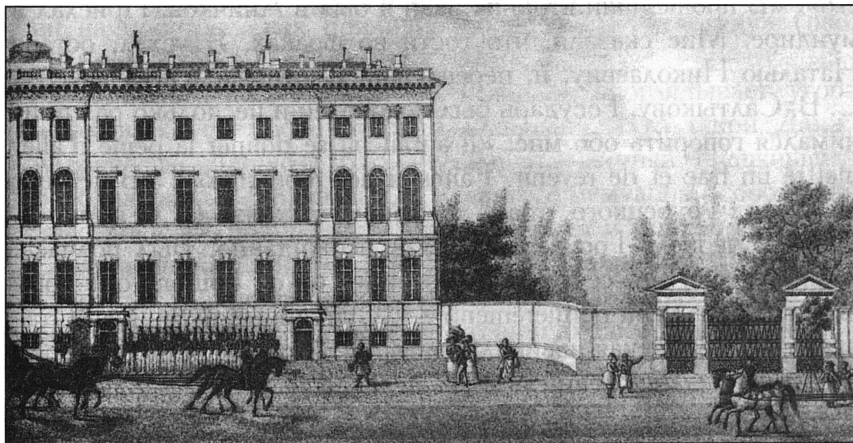
**В** овый 1834 год Пушкин встретил в звании камер-юнкера. Указ о его пожаловании был подписан императором 31 декабря 1833 года. Поэт был донельзя оскорблен высочайшей «милостью». Новое назначение задевало его общественную репутацию, его популярность среди массового демократического читателя. 1 января 1834 года он записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Danjeau». Придворные балы в «Аничкове», в «собственном» (Аничковом) дворце, устраивались для тесного круга приглашенных, близких ко двору и к царской семье, в отличие от более демократич-

ных балов в Зимнем дворце, куда иногда допускали широкий круг дворянства и даже купечество. Желание видеть Наталью Николаевну на балах в Аничковом дворце означало, что император начал оказывать внимание госпоже Пушкиной.

Молодая жена поэта становится центром внимания великосветского Петербурга. Уже 16 января Надежда Осиповна пишет дочери: «Вместо новости сообщу тебе, что представление Наташи ко двору прошло с огромным успехом — только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцевал с ней, а за ужином она была восхитительна». И 3 марта снова сообщает о светском образе жизни Натальи Николаевны: «Масленая (неделя перед Великим постом. — Прим. ред.) очень шумная, всякий день бал, спектакль, утром и вечером, с Понедельника до Воскресенья. Натали бывает на всех балах, всегда прекрасна, элегантна, всюду принята с восторгом; она каждый день возвращается в 4 или 5 ч. утра, обедает в 8, встает из-за стола, чтобы приняться за свой туалет и мчаться на бал».

«Не дай Бог хорошей жены. Хорошу жену часто в пир зовут», — шутил поэт в одном из писем жене.

Но свое камер-юнкерство Пушкин принял с раздражением, даже с негодованием. Самолюбие первого поэта России было задето. Камер-юнкерское звание было незначительным, оно не соответствовало ни его возрасту, ни общественной репутации



Аничков дворец  
В. САДОВНИКОВ



народного поэта. Чаще всего это звание получали молодые люди, только начинавшие служебную придворную карьеру. Появление его среди этих «молокососов», как называл своих товарищей по службе тридцатипятилетний поэт, давало поводы для насмешек. В петербургских гостиных стали распространяться пасквильные стишки, обвинявшие его в малодушии и искательстве перед царем, появился рисунок — поэт целует ключ камергера. Пушкин тяжело переживал эту клевету, боясь, что она отвратит от него массового демократического читателя. «...он, дороживший своею славою, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикою и лишило его народности», — записал приятель Пушкина Н. М. Смирнов (муж А. О. Смирновой-Россет).

Придворное звание обязывало поэта являться на все официальные церемонии в придворном мундире, соблюдать правила придворного этикета, выслушивать поучения Николая I и своего «начальника» по придворной службе церемониймейстера графа Литта. Поэт пользуется любым случаем, чтобы пропустить придворные церемонии, рискуя навлечь неудовольствие царя. В его дневнике постоянно прорывается раздражение. Вот несколько таких записей: «Великий князь намедни поздравил меня в театре: — Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили». «Бал у Бобринского, один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его». «В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне: «Il aurait pu se donner la peine d'aller mettre un frac et de revenir. Faiteslui des reproches»<sup>1</sup>. «В четверг бал у кн. Трубецкого, траур по каком-то князе (т. е. принце). Дамы в черном. Государь приехал неожиданно. Был полчаса. Сказал жене: Est-ce à propos de bottes ou de boutons que votre mari n'est pas venu dernièrement?»<sup>2</sup> (Мундирные пуговицы. Старуха гр. Бобринская извиняла меня тем, что у меня не были они нашиты)». «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон

<sup>1</sup> Он мог бы дать себе труд съездить надеть фрак и возвратиться. Попеняйте ему (фр.).

<sup>2</sup> Из-за сапог или из-за пуговиц ваш муж не явился в последний раз? (Фр.).

(куда я не явился, потому что все были в мундирах) цареубийцу Скарятину и заставил его рассказывать 11 марта». «Вчера проводил Наталью Николаевну до Ижоры. Возвратясь, нашел у себя на столе приглашение на дворянский был и приказ явиться к графу Литта. Я догадался, что дело идет о том, что я не явился в придворную церковь ни к вечерне в субботу, ни к обедне в вербное воскресенье. Так и вышло: Жуковский сказал мне, что государь недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и сказал: «Если им тяжело выполнять свои обязанности, то я найду средство их избавить». «Я ничего не записывал в течение трех месяцев. Я был в отсутствии — выехал из Петербурга, за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, своими товарищами». «Завтра надобно будет явиться во дворец. У меня еще нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами, молокососами 18-летними. Царь рассердится, — да что мне делать? Покамест давайте злословить». «Я все-таки не был 6-го во дворце — и рапортовался больным. За мною царь хотел прислать фельдгегеря или Арнта».

Мы видим, что Пушкин не переставал выражать свое недовольство камер-юнкерством. Мундир был для него «шутовским кафтаном»: «Умри я сегодня, что с вами будет? — писал он жене. — Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку» (около 28 июня 1834 г.).

В приведенной записи от 1 января проглядывает угроза: «Так я же сделаюсь русским Dangeau». Кто такой Данжо? Маркиз де Данжо (1638—1720), упомянутый Пушкиным, — приближенный Людовика XIV, автор мемуаров, сообщавших повседневные подробности жизни короля и придворного быта. Современники Пушкина воспринимали Данжо как писателя-обличителя. Обличителем современных придворных нравов собирався выступить и Пушкин на страницах своего дневника.

В дневнике русского Данжо многие записи относятся к текущей политической жизни России, касаются самодержавия, Николая I, императорского дома, придворной среды. Самодержавие развращает дворянство, воспитывает в нем низкопоклонство, убивает честь и достоинство. Так, при баллотиров-



ке в члены Английского клуба не прошли военный министр граф А. И. Чернышев и петербургский обер-полицмейстер И. В. Гладков. При второй баллотировке («по желанию правительства») они все же стали членами клуба. Пушкин возмущен: согласившись с «желанием правительства», дворянство поступилось своей честью («Закон говорит именно, что раз забаллотированный человек не имеет уже никогда права быть избираемым», — записывает он 2 апреля 1834 года).

Князь В. П. Кочубей и граф К. В. Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. «Эти четыреста тысяч останутся в их карманах. <...> В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубей будут балы (что также есть способ льстить двору)», — замечает Пушкин (14 декабря 1833 г.). Пушкин осуждает мероприятия правительства и распоряжения царя: И. О. Сухозанет, «человек запятнанный», занял пост главного директора Пажеского и всех сухопутных корпусов. «Государь, — записывает Пушкин, — назначил ему важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме инвалидов» (29 ноября 1833 г.).

По поводу нового указа, ограничивающего пребывание за границей для дворян пятью годами, поэт пишет: «Он есть явное нарушение права, данного дворянству Петром III; но так как допускаются исключения, то и будет одной из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно и к досаде благомыслящих людей, и ко вреду правительства» (3 мая 1834 г.).

В дневнике отмечается ничтожность современных государственных деятелей. Узнав о смерти государственного канцлера В. П. Кочубея, Пушкин записывает: «Казалось бы, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!» (конец июня 1834 г.).

Записи о правительственных распоряжениях смыкаются с высказываниями в адрес царя — Пушкин ставит ему в вину неудачный выбор чиновников, перлюстрацию частных писем, недостойное царя поведение. Особое внимание обращает поэт на любовные похождения Николая I. Несколько записей посвящено семейным ссорам молодоженов Безобразовых — молодого красавца флигель-адъютанта С. Д. Безобразова, женившегося на фрейлине Л. Хилковой и почти сошедшего с ума от ревно-



сти. Пушкин не называет, к кому ревнует Безобразов свою жену. Но, по рассказам современников, Николай I перед их свадьбой воспользовался «правом первой ночи». Запись о толках «по городу» в связи с этой историей заканчивается так: «Государь очень сердит. Безобразов под арестом. Он, кажется, сошел с ума». История Безобразовых упоминается 1 января сразу же после известной угрожающей записи: «Так я же сделаю русским Данжо».

После приближения Натальи Николаевны ко двору поэт стал особенно внимательным к любовным похождениям императора и их последствиям. В записи от 8 марта читаем: «Вчера был у Смирновой, ц. н. (царские наложницы. — Я. Л.) — анекдоты». Речь могла идти не только о Николае I, но вообще о нравах при дворе российских императоров, часто обращавших благосклонное внимание на фрейлин и светских дам.

В письмах жене, приблизившейся ко двору после того, как Пушкина сделали камер-юнкером, постоянные предупреждения: «Не кокетничай с царем». Пушкин боится разговоров в обществе, боится, что имя его жены станет в один ряд с княгиней Долгоруковой и другими дамами, которые удостоились благосклонного внимания императора.

Большое значение поэт придает общественному поведению жены, постоянно опасается, как бы она не сделала ложного шага в свете. Существует высказывание Пушкина, сделанное еще до женитьбы, в 1830 году, которое позволяет понять его: «Иной говорит: какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или дурен, старинный ли я дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты и тому под<обное>? Будущий мой биограф, коли Бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться. А критику или читателю дело только до моих книг. Суждение, кажется, поверхностное. Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц (*hommes publics*) к одному из главнейших условий высоко образованных обществ... Таким образом, дружина ученых и писателей всегда впереди на всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности».



Читательский интерес к личности писателя, к его «домашней жизни» Пушкин связывает с общественным значением «дружины писателей и ученых» и поэтому приметыв общественное положение («старинный ли я дворянин или из разночинцев»), общественного поведения (ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь») писателя и черты морально-этические («добр ли или зол») выдвигает на первый план.

После женитьбы поэта в орбиту его морально-этического и общественного кодекса попадает и жена, она становится рядом с ним в «дружине писателей и ученых». Он очень часто предостерегает жену от кокетства. Почему? Объяснение этого мы находим в его дневнике. 14 апреля 1834 года Пушкин записывает: «Ропщут на двух дам, выбранных для будущего бала в предводительницы петербургского дворянства: княгиню К. Ф. Долгорукову и графиню Шувалову. Первая — наложница кн. Потемкина и любовница всех итальянских кастратов, а вторая кокетка польская, т. е. очень неблагопристойная; надобно признаться, что мы в благопристойности общественной не очень тверды». Именно как признак неблагопристойности общественной упоминается кокетство и в письмах к жене: «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона» (30 октября 1833 г.). «Дурной тон» — вот чего больше всего боится Пушкин. Однако он понимает, что молодость и красота берут свое («...будь молода, потому что ты молода, — и царствуй, потому что ты прекрасна»), и гордится успехами жены («Кто же еще за тобой ухаживает, кроме Огарева? пришли мне список по азбучному порядку»). Понимая и гордясь, он не перестает ее наставлять: «...кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему» (21 октября 1833 г.). Отметим, что все упреки в кокетстве, все опасения, что жена может сделать ложный шаг в свете, относятся к первым двум годам их семейной жизни. Потом эти темы из писем Пушкина почти исчезают. Поведение жены в свете уже не волнует поэта. Она стала опытнее, научилась увереннее держаться, вполне могла обходиться без «подражательных затей», и, как в пушкинской героине, «все просто, тихо было в ней». Все так — до катастрофы.

В дневнике Пушкина обозначен круг его ближайших друзей, имеются сведения о салонах и семьях, где он бывал (Карамзины, А. О. Смирнова, Фикельмон, Вяземские, Сперанский, дочь Н. М. Карамзина Е. Н. Мещерская, граф Шувалов, Н. К. Загряжская, В. Ф. Одоевский), рауты и балы, на которые его приглашали (бал у Кочубея, раут у С. В. Салтыкова, бал у Бутурлина, бал у Бобринского, балы в Аничковом дворце и другие). Поэт записывает наиболее примечательные беседы, в которых ему приходилось участвовать, сообщает городские новости. Так, в записи от 17 декабря 1833 года читаем: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки. Н. сказал, что мебель придворная и просится в Аничков. Улицы не безопасны. Сухтельн был атакован на Дворцовой площади и ограблен. Полиция, видимо, занимается политикой, а не ворами и мостовую. Блудова обокрали прошедшей ночью». Отголосок этих же петербургских происшествий находим у Гоголя. В повести «Нос» сообщается история о танцующих стульях на Конюшенной улице, а тема дерзких ограблений в центре города высокопоставленных лиц представлена в гоголевской «Шинели».

Следует упомянуть еще одну запись, сделанную в дневнике 26 января 1834 года: «барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Пушкин не мог предполагать, какое значение первый из «шуанов» будет иметь в его жизни, но уловил налет авантюризма уже в первых шагах карьеры Дантеса. Названием «шуаны» (подсказанным романом Бальзака «Шуаны») Пушкин определил политическую физиономию Дантеса как крайнего легитимиста. В Петербурге знали, что он участвовал в заговоре герцогини Беррийской в Вандее, который имел целью восстановление династии Бурбонов. После того как замысел заговорщиков не удался, Дантесу пришлось бежать в Пруссию, а оттуда он перебрался в Россию. В России он появился с рекомендательным письмом принца Вильгельма Прусского (будущего императора Германии). По дороге в Россию он и познакомился с нидерландским послом в России Геккерном, сразу взявшим



*Ж. Дантес*

БЕНАР, с оригинала неизвестного художника.  
1830-е годы

привлекательного молодого человека под свое покровительство. В январе 1834 года Дантеса допустили к офицерскому экзамену в аристократический кавалергардский полк на льготных условиях, с освобождением от испытаний по русскому языку и словесности, военному уставу и военному судопроизводству. Эти льготы и вызвали «ропот» гвардии.

В Петербурге Геккерн поселил Дантеса в своем доме и снабжал всем необходимым. В обществе, как можно судить по воспоминаниям Н. М. Смирнова, Геккерн распустил слух, что Дантес его внебрачный или приемный сын. Неизвестно, как бы сложилась судьба убийцы Пушкина, если бы не это покровительство и влюбленность посла в молодого француза. Другого «шуана», маркиза де Пина, бывшего пажа короля Карла X, ждала совсем другая участь. Без рекомендательных писем и забот о его материальном благополучии он был принят не в гвардию, а в армейский пехотный полк, где оставался недолго. Он был обвинен в краже серебряных ложек и был вынужден выйти в отставку.

Деньги Геккерна и кавалергардский мундир служили для Дантеса пропуском в высший свет, а природный ум ввел его в литературные салоны Петербурга. Чаще всего Пушкину приходилось встречаться с Дантесом в доме близкой ему семьи Карамзиных, молодые члены которой включили Дантеса в круг своих друзей.

Мы не знаем, когда Пушкин познакомился с Дантесом. К. Данзас в своих воспоминаниях пишет, что их знакомство произошло летом 1834 года в ресторане Дюме, где оба они оказались случайными соседями, но возможно, и раньше они встречались в гостиных своих общих светских знакомых.

Первоначально Пушкин вполне доброжелательно относился к веселому и остроумному офицеру-французу. П. И. Бартенев, несомненно со слов кого-то из пушкинских друзей, записал: «Долгое время их отношения были не только сносными, но Пушкин восхищался острыми словами Дантеса и с добродушным смехом передавал их. Так однажды он приехал на бал с женою и двумя свояченицами; встретив их у дверей, Дантес воскликнул: *Voilà le pacha à trois queues!*<sup>1</sup> Другую остроуту Дантеса помнил В. А. Соллогуб. Раз Пушкин при нем (Дантесе) говорил, как ему назвать журнал, который ему хочется издавать в роде английского *Quarterly Review*. — *Donnes lui nom Kvar-telny Nadziratel*<sup>2</sup> — заметил Дантес.

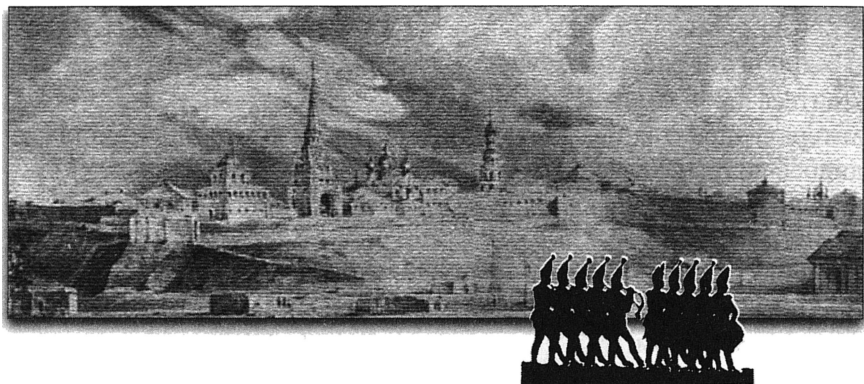
Пушкин мог ценить острое слово, но не переносил нравственной нечистоплотности и подлости. Еще до навязчивого ухаживания Дантеса за его женой, неприязнь Пушкина могли вызвать противоестественные отношения Дантеса с Геккерном, о которых догадывались в обществе. Так краткая запись в дневнике с указанием на «ропот гвардии» для самого Пушкина оказалась пророческой. Но его отношения с Дантесом переступили понятие «ропот», даже «гнев» и через три года окончились дуэлью.

---

<sup>1</sup> Вот трехбунчужный паша (фр.).

<sup>2</sup> Квартальный обозреватель. — Дайте ему название Квартальный надзиратель (фр.).





## *«История Пугачева». Дела семейные*

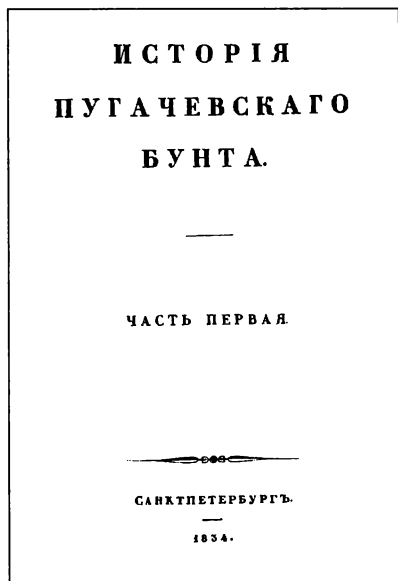
**П**ервую половину 1834 года заняли хлопоты по изданию «Истории Пугачевского бунта». На печатание этого произведения Пушкин просил у казны займы на два года 20 000 рублей. Ссуду он получил. Проект указа о выдаче ему ссуды «за указаны проценты» Николай I подписал 16 марта, но за неделю до этого, 8 марта, М. М. Сперанский отдал распоряжение печатать «Историю Пугачева» на казенный счет. Пушкин оплатил только часть бумаги, пошедшей на печатание 1800 экземпляров его книги (из 3000 экземпляров общего тиража). Казне же печатание «Истории Пугачева» обошлось в 3291 рубль 25 копеек.

«История Пугачева» печаталась «с

дозволения правительства», минуя общую для всех цензуру. Единственный раз в истории взаимоотношений поэта и царя их интересы сомкнулись. Напоминанием об ужасах «пугачевщины» правительство пыталось пугать помещиков, не желавших поступиться своими правами на крепостные души.

Собирая в архивах пугачевские материалы, Пушкин мистифицировал начальство, убеждая, что документы нужны ему для истории Суворова. 6 декабря он отправил часть готовой рукописи Бенкендорфу, а уже 17 января на балу у графа Бобринского царь разговорился с Пушкиным о Пугачеве и при этом заметил: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингофской». «В 1774 году», — приписывает Пушкин вслед за словами царя. Можно представить себе, как был он огорчен этим сообщением. Странствуя по дорогам «пугачевщины» в поисках свидетелей «бунта», он не ведал, что совсем рядом находился, быть может, богатейший источник живых фактов и преданий о вожде крестьянской революции. Очевидно, разговор с царем не ограничился одной этой репликой. Дальше Пушкин уточняет: «Правда, она жила на свободе в предместьи, но далеко от своей донской станицы, на чужой, холодной стороне» (запись в дневнике 17 января 1834 года). В этих скупых словах с вдруг возникшим фольклорным образом «на чужой, холодной стороне» угадывается потрясение поэта судьбой этой женщины.

На издание «Истории Пугачева» Пушкин возлагал большие надежды. «Разрешая напечатание этого труда, — писал он Бенкендорфу в начале февраля 1834 года, — его величество обеспечил мое благосостояние. Сумма, которую я могу за него выручить, даст мне возможность принять наследство,



*Титульный лист  
«Истории Пугачевского бунта»*



от которого я вынужден был отказаться за отсутствием сорока тысяч рублей, недостававших мне. Этот труд мне их доставит, если я сам буду его издателем, не прибегая к услугам книгопродавца». «Наследство» — часть Болдина, принадлежавшая Василию Львовичу Пушкину и заложенная в опеке. Пушкин после смерти дяди хотел ее выкупить, соединив обе части имения (часть дяди и часть отца) в своих руках. Рассчитывая получить 40 000 рублей от продажи «Истории Пугачева», он даже составил список предстоящих уплат. Однако надежды его не оправдались. Книга вышла в последних числах 1834 года, а в феврале 1835-го поэт записал в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают». Одни не покупали «Историю Пугачева», потому что считали ее «возмутительным сочинением», для других это была «мужицкая история» без великих подвигов и славных побед, третьи были убеждены, что поэт взялся не за свое дело и что историк из него не получился. По подсчету П. Е. Щеголева, Пушкин выручил от продажи «Истории Пугачева» не больше 20 тысяч рублей. После смерти поэта в его квартире оказалось 1775 из 3000 напечатанных экземпляров «Истории», оставшихся нераспроданными. Таким образом, этот пушкинский труд не оправдал надежд ни самого Пушкина, ни российского императора.

Литературные дела и обязательная светская жизнь отнимают у Пушкина много времени. 6 марта 1834 года он с облегчением записывает в дневнике: «Слава Богу! Масленица кончилась, а с нею и балы». 15 апреля Наталья Николаевна с детьми (Марией и Александром) уехала в Полотняный Завод. С ее отъездом сократились светские визиты. Остались только встречи с друзьями и салоны, где любил бывать Пушкин.

Наиболее интересные беседы, светские новости и анекдоты Пушкин записывает в дневнике. 3 марта у князя В. Ф. Одоевского он услышал рассказ А. О. Смирновой о том, как Николай I ждал известия о казни декабристов, и сразу же записал этот рассказ в дневнике: «13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку, и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр... подняла платок в память



исторического дня». Трижды повторенный глагол «бежать» («слуга прибежал», «царь... побежал», «собака... побежала») снимает личину величия с самодержца-палача, обнажает его неуверенность, нервозность, суетливость в тот страшный для России день, когда казнили лучших из лучших сынов Отечества.

Воспоминания о «братьях, товарищах» — часть повседневной жизни поэта и его близких. Очевидно, еще в лицейские годы родители поэта познакомились и подружились с семьями его сокурсников. Наиболее тесными оказываются связи с семьями декабристов. В одном из писем Н. О. Пушкиной к дочери в Варшаву среди прочих новостей сообщается следующее: «Говорила я тебе, что Иван Малиновский женился на м-ль Пушциной, с которой знаком 20 лет? Анна Андреевна (Самборская, сестра покойного директора Лицея Малиновского. — Я. Л.) приехала только что из Ревеля со своими новобрачными Вальховскими. Свадьбы Марии Васильевны и Ивана Васильевича совершились в один день, и теперь все семейство в сборе, они очень счастливы, и Анна Андреевна радуется их блаженству; через три недели она едет в Тифлис с маленьким Энни, который прелестен».

Мы видим, что в один день состоялись бракосочетания двух лицейских друзей Пушкина — И. В. Малиновского (в Петербурге) и В. Д. Вальховского (в Ревеле). Женой Малиновского стала М. И. Пушчина, сестра декабриста, «первого» и «бесценного» друга Пушкина, а Вальховский женился на сестре Малиновского Марии. Вальховские увозили с собой в Тифлис «маленького Энни» — сына декабриста Розена и другой сестры Малиновского — Анны, которая уехала к мужу в Сибирь. Эти браки подтверждали прочность «лицейского братства». На бракосочетании Малиновского, конечно, был и Пушкин. Очевидно, духовная близость играла не последнюю роль в этих браках, совершавшихся уже не в первой молодости.

Среди осужденных декабристов были и сыновья друзей старших Пушкиных. Семейные связи родителей поэта позволяют ввести в круг его знакомых новые имена. 28 мая 1833 года родители сообщают дочери новости о семействе Г. И. и С. М. Вишневских. Старший сын, член Северного общества, Федор Гаврилович, после 14 декабря был разжалован в солдаты. В 1833 году он получил офицерский чин и был переведен в Петербург. В это время тяжело заболела и умерла их дочь Пра-



сковья Гавриловна Лермонтова (жена В. Н. Лермонтова, двоюродного брата Михаила Юрьевича). «Участь Вишневских раздирает мне душу, — пишет Сергей Львович. — Я мельком видел их по приезде и зашел к ним в тот момент, когда они собирались (на дачу). Вообрази, Софья Михайловна поцеловала мне руку, которую я не успел убрать, вовсе того не ожидая». Этот жест раскрывает неизвестную грань характера старших Пушкиных. По-видимому, они не покидали своих друзей в беде и в трудные последекабрьские годы продолжали сердечно к ним относиться. Связи с Вишневыми, судя по письму, давние — не мог не встречаться с членами этой семьи и Пушкин. Может быть, и он, узнав о возвращении Вишневого, зашел к нему, чтобы поздравить.

В доме Пушкина всегда были рады возвращавшимся из ссылки декабристам. Об этом можно судить по письмам Павла Бестужева, младшего из пятерых братьев, связанных с декабрьским восстанием. Четыре брата непосредственно участвовали в восстании, младший, Павел, учился в артиллерийском училище и был втянут в «водоворот» позже. Поводом для его ссылки на Кавказ послужила книжечка «Полярной звезды», лежавшая в дортуаре на столике рядом с его кроватью. Пушкин за то короткое время, которое провел в Петербурге, не успел познакомиться даже со старшими Бестужевыми — Николаем и Александром. Павел мог только читать Пушкина и, может быть, знать его «вольные» стихи.

В 1835 году Павел Бестужев по болезни вышел в отставку и вернулся в Петербург. Друзья братьев тепло встретили младшего Бестужева.

В письмах к Александру Павел сообщает новости о столичных литераторах. Самая значительная из них — его свидания с Пушкиным. 5 февраля он еще сомневается, как примут его: «Я еще не был ни у Пушкина, ни у Греча, ни у Булгарина (последние два вели издательские дела Александра Бестужева, вынужденного скрывать в печати свое настоящее имя, ставшего для публики Марлинским. — Я. Л.). Да и не знаю, идти ли мне? Черт их знает, что с ними сделалось в 8 лет моего отсутствия». А 10 декабря он уже сообщает: «Бываю иногда у Пушкина, он премилый человек, тебе кланяется. Пишет что-то о Петре I-м, никуда не ездит...» Знакомство с П. Бестужевым — новый факт в биографии Пушкина, расширяющий наши пред-

ставления о декабристских связях поэта после восстания. Слова «бываю иногда» свидетельствуют об установившихся отношениях. Через Павла Бестужева тянулась нить к Пушкину не только от Александра, но и от других «друзей, братьев, товарищей» в Сибири и на Кавказе.

Весной 1834 года появляются тревожные признаки серьезной болезни Надежды Осиповны. Лечил ее домашний врач Пушкина И. Т. Спасский. Поэт нежно относился к больной матери и, по словам Е. Н. Вревской, «своими неустанными заботами о ней заставил Надежду Осиповну сожалеть о своем прежнем, несправедливом отношении к сыну».

Материальное положение старших Пушкиных заботило поэта. Немало хлопот доставлял ему и брат — беспечный, легкомысленный и всегда любимый. В конце 1832 года Лев Сергеевич вышел в отставку в чине капитана и поселился в Варшаве. Осенью 1833 года он перебрался в Петербург, где, по своему обыкновению, вел беспорядочную жизнь — «бил баклуши» и делал долги. Долги его бременем лежали на родительских плечах. Но в середине 1830-х годов обеспечивать беспутного сына родителям было уже не под силу. Дела хозяйственные всегда были чужды Сергею Львовичу. Отец Пушкина не любил ими заниматься и свои наследственные нижегородские имения за всю жизнь посетил только один раз. Управление ими он поручил своему крепостному человеку Михайле Калашникову, который обкрадывал хозяев как мог. Ежегодной дани, присылаемой из Болдина, не хватало, и Сергей Львович время от времени получал крупные суммы, закладывая и перезакладывая в сохранной казне принадлежавшие ему «души». Залог обычно совершался на 25 или 37 лет на том условии, что помещик ежегодно должен был частично погашать долг и вносить проценты. Сергей Львович затягивал уплату до последней крайности, и Пушкиным постоянно грозила потеря имения. Это заставило поэта в апреле 1834 года принять важное решение. Он твердо намеревался поправить дела семьи и взяться за управление имением. Зрело намерение порвать со «свинским» Петербургом, с придворной средой, избавиться от положения поднадзорного камер-юнкера и уехать в деревню, «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да зажить барином» — как писал он жене в мае 1834 года. Рассуждал он здраво: «Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром, Ольга



Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и горя мало! Меня же будут дыганить. Ох, семья, семья!» Родителям, брату и сестре он обещал давать «содержание» — сестре и брату на первых порах до 1600 рублей ежегодно, кроме того, он решил взять на себя уплату долгов брата.

Хозяйственные дела не трогали ни отца, ни брата. Сергей Львович больше не думал «о несчастных делах» по имению и за деньгами обращался только к сыну, а Лев, как всегда, делал долги.

Особенно докучал Пушкину денежными претензиями муж сестры Ольги Николай Иванович Павлищев. Поэт всегда любил сестру и сочувствовал ее нелегкой девичьей жизни в родительском доме. С ее замужеством в семью Пушкиных вторгся мелочный и меркантильный человек, лишенный малейшей деликатности, постоянно докучавший родителям жены, а потом и поэту денежными претензиями, требуя раздела имущества. Своими письмами он так досаждал Пушкину, что О. С. Павлищева советовала мужу прекратить переписку с братом: «...он бросит твои письма в огонь, не распечатывая их,— верь мне»,— уверяла она его. Действительно, Пушкин часто не дочитывал письма Павлищева, и это делал за него его приятель С. А. Соболевский.

С марта началась переписка с управляющим Пеньковским, бесконечные подсчеты и расчеты. «Голова кругом идет»,— писал поэт жене.

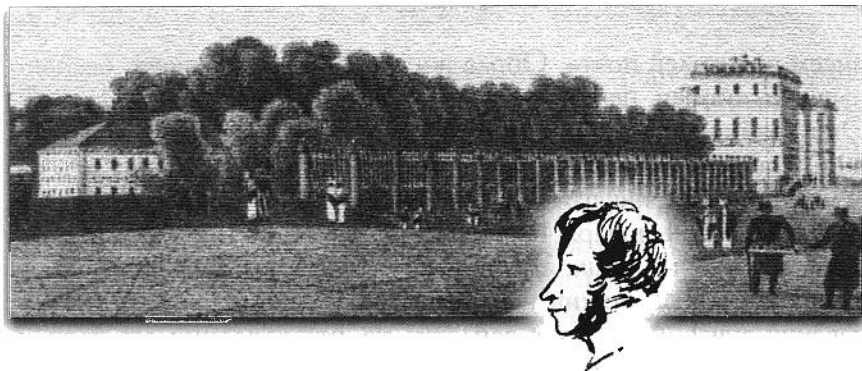
В июне надо было отправлять родителей в деревню, но на отъезд, как всегда, денег не было. «Наш отъезд зависит от Александра,— писал Сергей Львович дочери.— Все готово, кроме денег, которые он собирался дать нам на дорогу». Деньги появились, но не из имения, а из кармана поэта. Пушкин тратил сумму, которую получил от Николая I на издание «Истории Пугачева». «Теребят меня без милосердия»,— писал поэт жене 8 июня, а 11 июня снова: «Уж как меня теребили; вспомнил я тебя, мой ангел». Чтобы спасти имение от гибели и внести проценты, пришлось прибегнуть к испытанному способу — залогу 76 кистеневских душ, еще не заложенных в опекуновском совете. 20 июля он получил за них 13 242 рубля. Однако и эта мера не спасла положение.

На что были истрачены деньги от залога имения, видно из

писем родителей поэта. Образ жизни Льва Сергеевича, непрерывные кутежи переполнили чашу терпения даже родителей. Они крайне раздражены любимым сыном и впервые по-настоящему понимают материальные тяготы старшего сына: «Если Александр еще ничего не послал вам, — пишет Надежда Осиповна дочери 4 января 1835 года, — не обвиняй его, это не его вина, а также не наша. Это все долги Льва, которые довели нас до крайности. Заложив наше последнее имущество (76 кистеневских душ), Александр заплатил то, что задолжал его брат, а это достигло 18 тысяч. Он смог дать ему только очень немного на путешествие в Тифлис. Он в том месяце ждет денег из Болдина и, конечно, сделает для вас все, что можно, так как принимает это близко к сердцу».

Деньги из Болдина не поступали. Помещик из Пушкина вышел плохой, траты по имению росли, и летом 1835 года поэт отказался не только от управления Болдином, но и от доходов с деревни Кистенево, которая была подарена ему отцом перед женитьбой. Отказавшись от кистеневских доходов в пользу сестры, он полностью освободился от помещичьих забот и перестал быть баринном.





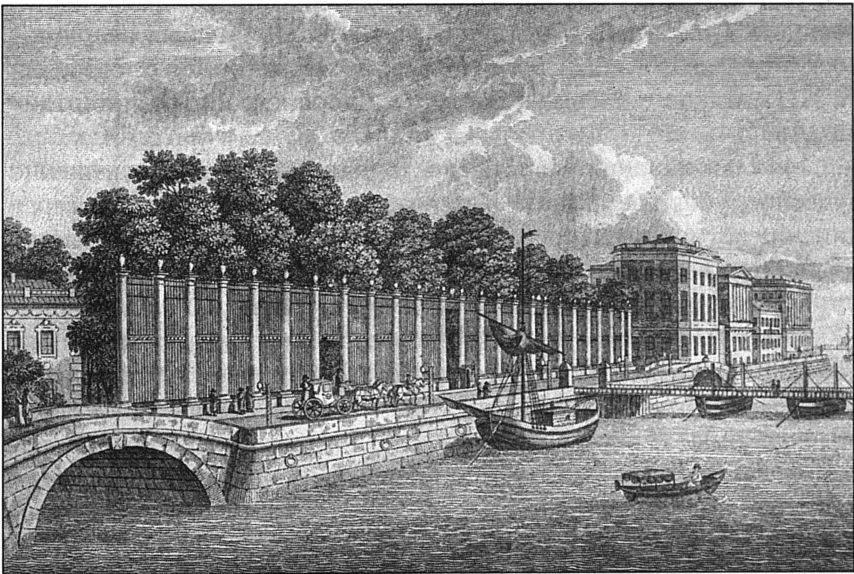
## Жеудавшаяся ответка

**П**осле отъезда жены Пушкин погрузился в работу. «Я сижу дома до 4 часов и пишу. Обедаю у Дюме. Вечером — в клубе» (письмо к жене от 8 июня). «В клубе» — в Английском клубе, членом которого поэт был с 1832 года. Здесь он любил играть на бильярде, а иногда, чтобы отвлечься от душевных тягот, вспоминал страсть своей холостой жизни к картам.

Утренние часы поэт часто проводил в Летнем саду. С 1 сентября 1833 года до середины августа 1834-го Пушкины жили на Пантелеймоновской улице, близ Летнего сада, расположенного на другом берегу Фонтанки (один из входов в сад был со стороны Пантелеймоновской улицы). «...Летний сад мой огород,—

читаем в письме жене от 11 июня. — Я вставши ото сна иду туда в туфлях и халате. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома». В другом письме жене, от 12 мая, он пишет: «Одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое». Но зная, что жену интересуют петербургские новости, подробно сообщает о значительных событиях столичной жизни.

Главным событием было совершеннолетие и присяга наследника (будущего Александра II). Торжества Пушкин хотел отсидеть дома. Чтобы избежать обязательного присутствия на церемонии и лишний раз не надевать ненавистный мундир, поэт решил прибегнуть к испытанному способу. «Нынче великий князь присягал, — пишет он 22 апреля, — я не был на церемонии, потому что репортуюсь больным». И далее о событиях: «Кочубей (родственник Н. К. Загряжской. — Я. Л.) сделан канцлером; множество милостей, шесть фрейлин, между прочим, и твоя приятельница Натали Оболенская, а наша Машенька Вяземская все нет. Жаль и досадно. Наследник был очень тронут; государь также. Вообще, говорят, все это произвело



*Петербург. Летний сад*

Гравюра С. ГАЛАКТИОНОВА, с оригинала П. СВИНЬИНА. 1816



сильное действие. С одной стороны, я очень жалею, что не видел сцены исторической и под старость нельзя мне будет говорить об ней как свидетелю. Еще новость: Мердер (воспитатель наследника. — Я. Л.) умер; это еще тайна для великого князя и отравит его юношескую радость. Аракчеев умер. Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться». Несколько дней спустя Пушкин сообщал: «Святую неделю провел я чинно дома, был всего вчерась (в пятницу) у Карамзиной да у Смирновой. На качелях не являлся; завтра будет бал, на который также не явлюсь. Этот бал кружит всем головы и сделался предметом толков всего города. Будет 1800 гостей. Расчислено, что, полагая по одной минуте на карету, подъезд будет продолжаться 10 часов, но кареты будут подъезжать по 3 вдруг, следственно, время сократится втрое. Вчера весь город ездил смотреть залу, кроме меня».

«Качели» — народные гулянья с качелями и балаганами — обычно устраивались на святой (Пасхальной) неделе на Адмиралтейской площади и куда, вероятно, ездила Наталья Николаевна, живя в Петербурге. Бал, который был «предметом толков», давало дворянство Петербургской губернии по случаю совершеннолетия наследника. Устраивался он в доме Д. Л. Нарышкина (ныне наб. Фонтанки, 21). «Ну уж бал был вчера! — восклицал неизбежный посетитель всех торжественных собраний К. Я. Булгаков в письме к брату. — Дворянство подлинно отличилось. Я не знаю, чего тут недоставало, разве птичьего молока. <...> Иллюминация была превосходная, внутреннее освещение чудесное, уборная комната Императрицы вся в цветах, а в середине боскет из настоящего винограда с висячими кистями винограда. Для великой княгини Елены Павловны тоже была сделана прекрасная уборная. Их величества изволили прибыть в 10 часов с наследником и великими князьями. Было очень много <народу>, а нельзя сказать, чтобы была теснота. Зала, вновь выстроенная для ужина Брюлловым, также прекрасная, жаль, что ее ломают, ибо деревянная. Танцевали много... Кроме сей залы и другой, которая в доме, проломлена была дверь в соседний дом, где были накрыты столы, говорят, 1200 приборов. Разные мундиры, и губернские, и отставные, и множество дам, и очень хорошеньких, новые лица...»

О бале в Петербурге вспоминали еще долго, и Пушкин в нескольких письмах жене сообщает услышанные подробности.



Сам он в этот вечер «пошел бродить по городу» и «в народе» наблюдал, как подъезжали экипажи, готовились к иллюминации, как «шумела» полиция с любопытствующими. Толки в толпе интересовали его больше, чем великолепие и пышность бала.

В дни торжеств он отправил жене письмо, где подвел итог своих отношений с царями: «К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. <...> Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим теской; с моим теской я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями!..»

Письмо это было вскрыто на почте, прочтено полицией, и содержание его стало известно царю. Правда, только содержание, текста письма царь не видел. Копию спрятал от Бенкендорфа его секретарь — бывший лицеист и почитатель Пушкина П. И. Миллер.

Не найдя копию, Бенкендорф все же доложил о письме царю. Царь разгневался, и Жуковскому пришлось успокаивать рассерженного монарха. Гроза как будто миновала, но след остался и обострил отношения между поэтом и царем. «Сходнее нам в Азии писать по оказии», — писал Пушкин друзьям из Кишинева. Но тогда он был в ссылке — этим определялась уверенность, что письма его проверяются. В 1834 году он не мог даже предположить, что за его перепиской следят. Поэт был крайне оскорблен вмешательством правительства в частную переписку и не скрывал своего раздражения. Зная, что письма его внимательно прочитываются, он несколько раз напоминает об этом в письмах жене, стараясь задеть чиновников, занимающихся перлюстрацией. В одном из его писем есть такие слова: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности... невозможно: каторга не в пример лучше. *Это писано не для тебя*» (выделено мною. — Я. Л.).

Эпизод с перлюстрированным письмом был последним толчком к осуществлению давно зревшей мысли об отставке. Когда Пушкин взял на себя управление имением, он понимал, что оно потребует постоянного присутствия в деревне. Пример у него был — старший брат Натальи Николаевны Д. Н. Гончаров пожертвовал служебной карьерой и поселился в Полотняном Заводе, чтобы привести в порядок дела семьи.



Пожалование в камер-юнкеры и необходимость нести придворную службу еще больше утвердили его в этом намерении. С середины мая он начал подготавливать жену к мысли о необходимости покинуть Петербург. 26 мая он прямо связывает свое желание «из Петербурга убраться» с делами по имению: «Хлопоты по имению меня бесят; с твоего позволения, надобно будет, кажется, выдти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе; и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства». Наконец, еще одна, не менее значительная, причина для отставки — стремление к независимости — материальной, личной и общественной: «Я не должен был вступать в службу, — пишет он 8 июня, — и что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутком ниже у Господа Бога».

«Опала легче презрения» — так думал Пушкин, когда принял решение об отставке и когда казалось, что тому существует единственное препятствие — молодость и красота жены: ей трудно будет расстаться с титулом «первой романтической красавицы» петербургского света. Поэт, однако, надеялся, что чувство долга победит в ней женское тщеславие.

Мысль об отставке созрела, но Пушкин не делился ею ни с родными, ни с друзьями. 22 июня он обедал у Вяземского с Жуковским и старым петербургским приятелем, членом «Зеленой лампы» Н. И. Кривцовым. О своих планах не сказал им ни слова. Жуковский потом упрекнет его в неуместной скрытности: «Сожалею, что ты ничего не сказал мне предварительно о своем намерении, ни мне, ни Вяземскому». Не сказал ближайшим друзьям, потому что решение было принято, и очевидно, как казалось ему самому, решение твердое. Через три дня после этого обеда, 25 июня, он попытался исполнить задуманное и обратил-

ся к Бенкендорфу со следующим письмом: «Граф! Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу, и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение».

Выйти в отставку Пушкину не удалось. На просьбу его Бенкендорф ответил сухим письмом, в котором сообщал, что царь никого не хочет удерживать на службе против воли, но что после отставки Пушкину будет закрыт вход в архивы. Для Пушкина это было ударом. Закончив «Историю Пугачева», он принялся активно работать над историей Петра I. Без архивных материалов он не мог продолжать исторические занятия. Письмо Бенкендорфа написано 30 июня, Пушкин получил его только 3 июля, но уже 1 июля он узнал, что отставка грозит ему большими неприятностями.

1 июля в Петергофе ежегодно торжественно отмечалось тезоименитство (именины) императрицы. На праздник съезжались придворные и весь петербургский свет. Пушкин и на этот



*В. А. Жуковский*  
К. БРЮЛЛОВ. 1835



раз собирался отсидеться дома, послав графу Литта извинение, что не может быть на празднике «по причине болезни». Так, во всяком случае, он написал жене 28 или 29 июня, т. е. за день или за два до праздника. Сочинил извинение, но на праздник все же приехал. Современник вспоминает, что видел, как «весь двор длинной вереницей линеек совершал процессию» и как «на одном из этих диванов на колесах» он «увидел Пушкина, смотревшего угрюмо». «Кроме членов двора, никто не имел право на место в линейках. Может быть, ему не нравилось это», — заключает свидетель. Видел Пушкина на празднике и В. А. Соллогуб. Ему запомнилось, что «из-под треугольной шляпы» лицо Пушкина «казалось скорбным, суровым и бледным».

По-видимому, подав прошение об отставке, поэт не решил пренебречь служебными обязанностями и на праздник явился. Здесь, в Петергофе, еще не получив письма Бенкендорфа, он узнал от Жуковского, как отнесся царь к его просьбе. Жуковский разговаривал с царем на балу, которым, как обычно, открывался праздник. После встречи с Жуковским Пушкин отказывается от отставки, но письма его к Бенкендорфу носят сухой, сдержанный характер, и Жуковский дважды просит его переписать прошение так, чтобы его можно было показать царю.

Тот испуг, который сквозит в записках Жуковского Пушкину (от 2 и 3 июля), не оставляет сомнений, что разговор его с императором о Пушкине носил весьма угрожающий характер.

Находясь долгие годы при дворе и близко наблюдая императора Николая, Жуковский прекрасно понимал, что Пушкину с самого начала был предъявлен жесткий ультиматум: или его прежнее, зависимое положение, делавшее столь удобным контроль за ним, или глубокая опала и новые политические преследования.

Ссора с Николаем была опасна. Поэту пришлось извиняться перед императором и униженно благодарить его за оказанные ранее «милости». Он трижды переписывает свое «покаянное письмо», и только третий вариант Жуковский счел пригодным для показа царю. В этом третьем письме Пушкин писал: «Подавая в отставку, я думал лишь о семейных делах, затруднительных и тягостных. Я имел в виду лишь неудобство быть вынужденным предпринимать частые поездки, находясь в то же

время на службе. Богом и душою моею клянусь,— это была моя единственная мысль; с глубокой печалью вижу, как ужасно она была истолкована. Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая милость обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему. И в эту минуту не мысль потерять всемогущего покровителя вызывает во мне печаль, но боязнь оставить в его душе впечатление, которое, к счастью, мною не заслужено.

Повторяю, граф, мою покорнейшую просьбу не давать хода прошению, поданному мною столь легкомысленно».

Слова о «прямоте и великодушии» царя содержат намек на дело о «Гавриилиаде». Пушкин знал, что Бенкендорф покажет письмо царю и что намек его будет понят. Однако вопрос о «прощении» Пушкина был уже решен между Бенкендорфом и Николаем. В докладной записке императору, поданной 3 июля, Бенкендорф советует: «...предполагаю, что Вашему Величеству благоугодно будет смотреть на его письмо (имеется в виду прошение об отставке.— Я. Л.), как будто его вовсе не было. Перед нами мерило человека; лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен сам себе!» Предоставить поэта «самому себе» Бенкендорф считал опасным.

Совет был принят. Раздражение царя, которое почувствовал Жуковский, прорвалось в резолюции на записку Бенкендорфа: «Я ему прощаю,— начертала рука монарха,— но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть прощительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати лет, мужу и отцу семейства».

Царь откровенно признавался, что ситуация 1826 года не повторится, что отъезд в деревню будет равносильен новой ссылке, но уже без надежды на возвращение. Что-то похожее он, вероятно, сказал и Жуковскому. Очевидно, царскую резолюцию Бенкендорф не без удовольствия изложил поэту.

34-летний Пушкин, жаждавший бежать от придворных и светских обязанностей, выпутаться из денежных затруднений, привести в порядок имение, обеспечить будущее детей, жить



без долгов и обязательств, вынужден был признаваться в легкомыслии и выслушивать нотацию шефа жандармов как нашкодивший мальчишка.

Настроение Пушкина перед подачей в отставку передают его стихи:

*Пора, мой друг, пора! [покою] сердце просит —  
Летят за днями дни, и каждый день уносит  
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем  
Предполагаем жить... И глядь — как раз умрем,  
На свете счастья нет, но есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля —  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.*

В рукописи имеется план продолжения этого отрывка: «Юность не имеет нужды et home (домашнем очаге). Зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь etc — религия, смерть».

Идиллия, намеченная в плане стихотворения, не была реализована ни в стихах, ни в жизни. Стихотворение осталось недописанным, попытка «перенести пенаты в деревню» не удалась. Мечта о «покое и воле» не осуществилась. «Опала легче презрения» — так писал Пушкин, пока не столкнулся с реально надвигавшейся опалой. Первым ее проявлением был запрет пользоваться архивами. Рушился замысел «Истории Петра I». Этим Пушкин поступиться не мог. В «Истории Петра I» должное место отводилось бы и детищу царя-преобразователя — Петербургу. Об этом можно судить по отрывку в сохранившейся записи — конспекте «Истории». Запись, относящаяся к 1703 году, начинается так: «Посреди самого пылу войны (речь идет о Северной войне 1700— 1721 гг. — Я. Л.) Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговли с северо-западною Европою и сообщение с образованностью. Карл XII был на высоте своей славы; удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая заложил крепость С.-Петербург (одной рукой заложив крепость, а другой ее за-

щищая. Голиков) <...> В крепости построена деревянная церковь во имя Петра и Павла, а близ оной, на месте, где стояла рыбацья хижина, деревянный же дворец на девяти саженьях в длину и трех в ширину, о двух покоях, с холстинными выбеленными обоями, с простой мебелью и кроватью. Домик Петра в сем виде сохраняется и поныне <...>

Отведено место для гостиного двора, пристани, присутственных мест, адмиралтейства, государева дворца, саду и домов знатных господ. Город Нейшанц был упразднен, и жители оного переведены, и были первые петербургские поселенцы».

Трудно представить, как выглядел бы в окончательном виде этот конспект, сделанный при чтении «Деяний Петра Великого», многотомного труда, изданного в конце XVIII столетия И. И. Голиковым. Труд Пушкина остался незавершенным, но угроза закрыть для него архивы застала его в момент наивысшей увлеченности своей работой.

История с неудавшейся отставкой породила первое предчувствие надвигающейся катастрофы. Через три недели Пушкин записал в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, — но все перемололось. Однако это мне не пройдет».

Правда, слова его в письме Бенкендорфу, что, подавая в отставку, он «думал лишь о семейных делах, затруднительных и тягостных», были искренними. Это подтверждается и письмом жене от 11 июля: «На днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть было не побранился — и тухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею; хоть и он не прав». Тональность рассказа позволяет думать, что эпизод с отставкой Пушкин еще не воспринимал трагически.

В Полотняном Заводе Наталья Николаевна после трехлетней разлуки встретила с сестрами. Сестры были дружны, и Наталья Николаевна решила взять их в Петербург, чтобы извлечь из деревенского заточения, избавить от деспотизма матери, ввести в свет и постараться выдать замуж. Возникла мысль устроить их фрейлинами во дворец. Пушкин был решительно против, но жена настаивала на переезде сестер в Петербург. Пушкин тщетно пытался отговорить ее. Доводы у него были такие: «Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети, покамест малы; родители, когда уже



*Е. Н. Гончарова*  
Ж. Б. САБАТЬЕ. 1838

престарелы. А то хлопот не наберешься, и семейственного спокойствия не будет».

В десятых числах августа Пушкин выехал из Петербурга в Полотняный Завод. Там и было принято окончательное решение о переезде Александры («Ази») и Екатерины («Коко») Гончаровых в столицу. Но еще перед отъездом из Петербурга Пушкин переменял квартиру уже в расчете на жизнь вместе со свояченицами. Новая квартира, которую снял Пушкин, помещалась в бельэтаже дома Баташева на Гагаринской набережной (ныне Французская наб., 32) у Прачечного моста, вблизи Фонтанки. Первое упоминание о новой квартире встречаем в письме жене из Петербурга в конце июля: «Наташа, мой ангел, знаешь ли что? Я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими». А 3 августа сообщает, что уже «взял квартиру Вяземских» и собирается «перетаскивать» «мебель и книги». Квартира в бельэтаже стоила 6000 рублей ассигнациями в год. Расход делился с сестрами Гончаровыми. 7 ноября 1834 года Н. О. Пушкина пи-





А. Н. Гончарова

Неизвестный художник.

Конец 1830-х — начало 1840-х годов

сала дочери, что сестры Гончаровы «снимают прекрасный дом пополам с ними» (т. е. с Пушкиными) и что Пушкин «говорит, что это устраивает его в отношении расходов, но несколько стесняет, т. к. он не любит отступать от своих привычек хозяина дома».

В бельэтаже Пушкины жили год, а с 1 мая 1836 года переселились в верхний этаж дома (потом в этом доме был надстроен еще один этаж), в более дешевую квартиру. Сохранился контракт на наем квартиры в доме Баташева. В контракте указано, что «камер-юнкер двора его императорского величества» Пушкин нанял в «доме отставного Гвардии полковника и кавалера Силы Андреева сына Баташева» «верхний этаж, состоящий из двадцати жилых комнат, с находящеюся в них мебелью <...> на один год с платежом, т. е. по первое июня будущего тысяча восемьсот тридцать седьмого года за четыре тысячи рублей...» До 1 июня 1837 года Пушкин не дожил, но задолго до истечения срока контракта, в августе 1836 года, у него с управляющим



домом Баташева произошел разрыв и он переехал на другую квартиру. «Я вынужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого негодяй», — писал поэт отцу.

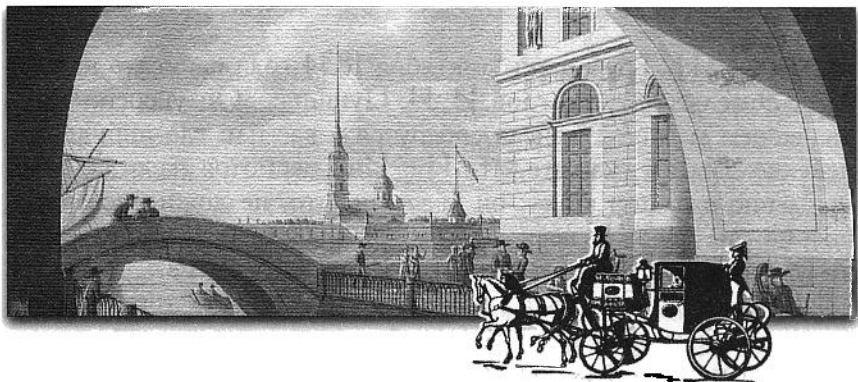
1 сентября 1836 года он снял квартиру на набережной Мойки в доме, принадлежавшем княгине Софье Григорьевне Волконской. Новая квартира стоила 4300 рублей в год. Контракт был заключен на два года — по 1 сентября 1838 года. Поэт рассчитывал жить. Квартира в доме Волконской стала его последней квартирой.

Перетаскив «пожитки» в дом Баташева, закончив дела по имению, дочитав корректуру «Истории Пугачева», 17 августа Пушкин выехал в Полотняный Завод. Пробыв там около двух недель, он через Москву отправился в Болдино. Хозяйственные дела сочетались с надеждой заняться творчеством. 15 сентября, уже из Болдина, он писал жене: «Я рад, что добрался до Болдина; кажется, менее будет мне хлопот, чем я ожидал. Написать что-нибудь мне бы очень хотелось». Были стихотворные замыслы, была надежда закончить «Капитанскую дочку», всерьез заняться мемуарами. Однако третья Болдинская осень прошла для Пушкина без творческого подъема. Очевидно, успел он написать только «Сказку о золотом петушке». В рукописи ее имеется помета: «Болдино. 20 сент. 10 ч. — 53 м.».

Занятый хлопотами по имению, Пушкин жаловался жене, что «стихи в голову нейдут». Его беспокоили домашние, петербургские дела: как добралась жена до Петербурга и как справляется с домом. «Ох, кабы ты уж была в Петербурге, — пишет он ей 25 сентября. — Но по моим расчетам ты прежде 3-го октября не доедешь. И как тебе там быть? без денег, без Амеляна, с твоими дурами няньками и неряхами девушками (не во гнев буде сказано Пелагеи Ивановне, которую заочно целую). У тебя, чай, голова кругом идет. Одна надежда: тетка. Но из тетки двух теток не сделаешь — видно, что мне надобно спешить».

1 октября он, так и «не расписавшись», собрался в обратную дорогу. 4 октября приехал в Москву и, пробыв там несколько дней, воротился «к 15-му октября в Петербург» (запись в дневнике 28 ноября).





## Снова Петербург

**П**риехав в Петербург, Пушкин первым делом осведомился у Яковлева, где будет праздноваться очередная лицейская годовщина. Выяснилось, что у Яковлева. На этот раз в «день Лицея» собралось только семь человек.

Встреча происходила по единожды установленному ритуалу: снова пели лицейские куплеты, «поминали старину» и лицейских товарищей — и тех, кто трудился на «царской службе», и тех, кто находился «в мрачных пропастях земли».

Воспоминания о тех, кто вдали от столицы, цементировали лицейский союз. Традиционность вечеров, ритуал, повторяющийся из года в год, как бы создавали эффект присутствия всех, кто в тот день не был в Петербурге. Это по-



зволило Е. И. Грубецкой 5 октября 1834 года написать из Сибири Энгельгардту со слов И. И. Пушкина: «Он уверен, что в нынешнем месяце 19 числа соберутся у вас или где-нибудь лицейские. Вы им скажете, что Ив. Ив., несмотря на отдаление, мысленно в вашем кругу: он убежден, что, не дожидаясь этого письма, вы уверили всех, что он как бы слышит ваши беседы этого дня и что они находят отголосок в его сердце».

19 октября 1834 года Пушкин мог рассказать товарищам о своем заочном общении с Кюхельбекером.

Кюхельбекер, заключенный в то время в Свеаборгской крепости, в письме к племянникам 27 апреля 1834 года просил их передать Пушкину просьбу прислать ему свои сочинения. Пушкин был рад это сделать, но требовалось разрешение начальства. Он обратился к управляющему III Отделением А. Н. Мордвинову за «позволением» доставить Вильгельму Кюхельбекеру «экземпляр всех (его) сочинений». 16 сентября Кюхельбекер писал родственникам о восторге, с которым он читает присланные книги. «Союз» лицейских выдерживал проверку временем.

С приездом из Болдина возобновилась светская жизнь. Пушкин выезжает теперь с женой и свояченицами. Насмешливая Ольга Сергеевна пишет мужу: «Александр представил меня своим женам, теперь у него целых три». И тут же сравнивает жену поэта с сестрами: «Они красивы, его невестки, но они ничто в сравнении с Натали».

С сестрами Гончаровыми у Пушкина с первых же дней установились сердечные отношения. Об их характере лучше всего свидетельствует письмо захворавшей Александрины к брату: «У меня были такие хорошие сиделки, что мне просто было невозможно умереть. В самом деле, как вспомнишь потом, как за нами ходили дома, постоянные нравоучительные наставления, которые нам читали, когда нам случалось захворать, и как сама болезнь считалась божьим наказанием, я не могу не быть благодарной за то, как за мной ухаживали сестры, и за заботы Пушкина. Мне, право, было совестно, я даже плакала от счастья, видя такое участие ко мне; я тем более оценила его, что не привыкла к этому дома».

Зимой 1834 года поэт настроен благодушно. Его литературные дела идут хорошо. Летом 1834 года напечатаны «Повести, изданные Александром Пушкиным», «История Пугачева» — в типографии. В январе — марте 1834 года в «Библиотеке для

чтения» были помещены «Гусар», «Сказка о мертвой царевне», переводы из Мицкевича («Воевода» и «Будрыс и его сыновья»), «Пиковая дама» и другие произведения. Особым успехом пользовалась «Пиковая дама». Игроки в надежде на счастье понтировали на тройку, семерку и туза. В портфеле поэта оставался еще ряд законченных и незаконченных произведений. Материальные дела семьи запутывались, но Пушкин еще не ощущал их непоправимости. Была надежда, что «оборочный мужичок» Пугачев принесет деньги, была и надежда спасти семью от разорения, приняв на себя управление Болдином. Зимой 1834 года даже придворные балы не вызывают у него раздражения. 18 декабря он записывает в дневнике: «Третьего дня был наконец в Аничковом. Опишу все в подробности в пользу будущего Вальтер Скотта.

Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением: быть в 8<sup>1/2</sup> в Аничковом, мне в мундирном фраке, Наталье Николаевне как обыкновенно. В 9 часов мы приехали. На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами; но это еще не все). Гостей было уже довольно; бал начался контрдансами. Государыня была вся в белом, с бирюзовым головным убором; государь в кавалергардском мундире. Государыня очень похорошела. Граф Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели. — Вообще, бал мне понравился. Государь очень прост в своем общении, совершенно по-домашнему». Тут же, на балу, Пушкин разговорился с поляком Ленским о Мицкевиче.

Польские события 1830-1831 годов разделили поэтов. Каждый из них оказался во враждебных друг другу станах.

Еще в июле 1833 года С. А. Соболевский привез Пушкину из Парижа том собрания стихотворений Мицкевича с циклом «Петербург» (входивший в третью часть поэмы Мицкевича «Дяды»). Он включал семь стихотворений о России, проникнутых исключительным по силе пафосом гражданского негодования и сатиры. Цикл замыкался стихотворением «Русским друзьям» с резкими стихами, посвященными самому Пушкину и обвиняющими его в угодничестве перед царем. Пушкин пере-



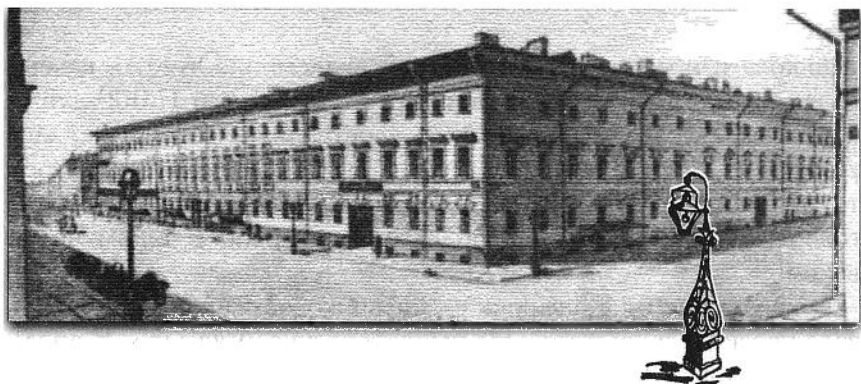
писал польский текст этих стихотворений в свою рабочую тетрадь и собирался перевести одно из них на русский язык, но вместо этого перевел баллады Мицкевича, а позднее, уже в Петербурге, в августе 1834 года, написал замечательное стихотворение «Он между нами жил», которое подводило итог его отношениям с польским поэтом. Вспоминая о дружеских встречах с Мицкевичем в Петербурге и знаменитых импровизациях польского поэта, Пушкин писал:

*Он между нами жил  
Средь племени ему чужого; злобы  
В душе своей к нам не питал, и мы  
Его любили. Мирный, благосклонный,  
Он посещал беседы наши. С ним  
Делились мы и чистыми мечтами  
И песнями (он вдохновен был свыше  
И свысока взирал на жизнь). Нередко  
Он говорил о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся.  
Мы жадно слушали поэта. Он  
Ушел на запад — и благословеньем  
Его мы проводили. — Но теперь  
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом  
Стихи свои, в угоду черни буйной,  
Он напояет. Издали до нас  
Доходит голос злобного поэта,  
Знакомый голос!.. Боже! освяти  
В нем сердце правдою твоею и миром  
И возврати ему...*

Стихотворение осталось неоконченным, но общий колорит его и каждое слово в нем — плод размышления, глубоких эмоций. В нем выражены и скрытая обида, и боль, и прощение, и желание «покоя» душе польского поэта, и надежда на примирение. Пушкин подхватывает провозглашенную некогда Мицкевичем в одной из петербургских импровизаций идею братства народов. Вера в родственность творческих связей вне временных обстоятельств была творческим кредо самого Пушкина.

Стихотворение Пушкина Мицкевич прочитал уже после смерти русского поэта.





## Уваров и Дондуков

**Т**од 1835-й начался для Пушкина с неприятностей. В феврале он записал в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеветет Дондуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати, об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкринна был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой и попал в президенты Академии наук, как княгиня



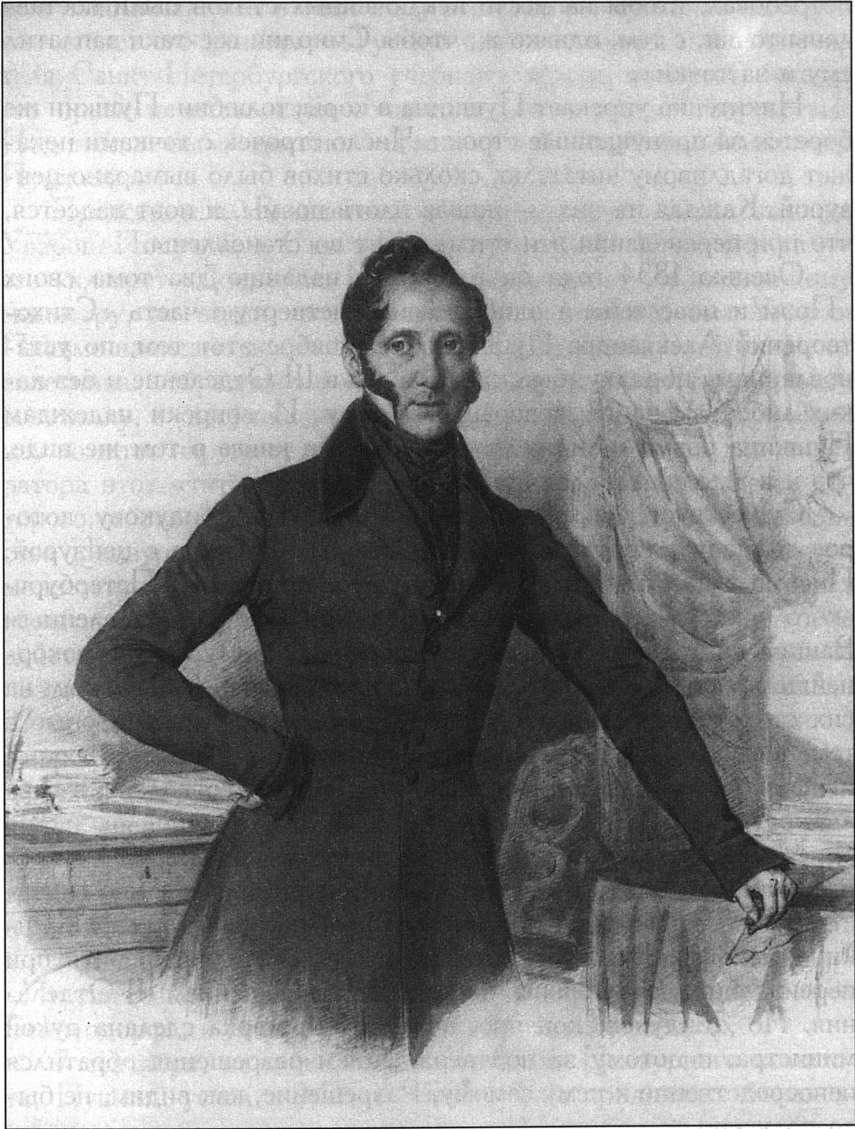
Дашкова в президенты Российской академии. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу etc, etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: „Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!“».

Характеристика Уварова из дневниковой записи через полгода перейдет в памфлет «На выздоровление Лукулла». В апреле 1834 года Сергей Семенович Уваров достиг верхней ступени своей служебной лестницы — был назначен министром народного просвещения. Один из основателей «Арзамаса» стал теперь изобретателем охранительной формулы «самодержавие, православие и народность» и сторонником возведения «умственных плотин».

Тяжелую руку Уварова Пушкин почувствовал при прохождении через цензуру поэмы «Анджело» — вольного переложения пьесы Шекспира «Мера за меру», которую отдал Смирдину для его альманаха «Новоселье». Этой поэмой он особенно дорожил и считал ее лучшим своим произведением. Ему удалось создать многогранный характер героя, чьи тайные страсти противоборствовали явным действиям. Анджело — лицемер, но не просто лицемер, а тип «государственного человека», тиран, облеченный неограниченной властью, человек, который может творить произвол, прикрываясь личиной закона. Вопросы деспотизма и закона, закона и милосердия, милосердия как высшего проявления гуманизма — основные механизмы действия поэмы.

В альманахе поэма была напечатана с пропуском восьми стихов. Вымарки сделал сам министр. 9 апреля 1834 года цензор альманаха Никитенко записал в дневнике: «Я представил ему (министру.— Я. Л.)... сочинение или перевод Пушкина «Анджело». Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензировать их. Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на общем основании. Он сам прочел «Анджело» и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены». Через два дня Никитенко отмечает в дневнике реакцию Пушкина на поправки в поэме: «Он взбесился. Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он





С. С. Уваров  
с. ф. диц. 1840



потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему и за точки».

Никитенко упрекает Пушкина в корыстолюбии. Пушкин же борется за пропущенные строки. Число строчек с точками покажет догадливому читателю, сколько стихов было вымарано цензурой. Каждая из них — живая плоть поэмы, и поэт надеется, что при переиздании эти стихи будут восстановлены.

Осенью 1834 года он готовил к изданию два тома своих «Поэм и повестей» и одновременно четвертую часть «Стихотворений Александра Пушкина». В ноябре этот том, по установленному порядку, был представлен в III Отделение и без каких-либо замечаний возвращен автору. И вопреки надеждам Пушкина поэма «Анджело» появилась в книге в том же виде, что и в альманахе Смирдина.

Существует любопытное письмо Уварова Дондукову, которое знаменует новую веху в отношениях Пушкина с цензурой. Письмо выглядит так: «Господину Попечителю С.-Петербургского учебного округа. Возвращая при сем представленным Вашим сиятельством два стихотворения А. Пушкина, покорнейше прошу предложить цензуре, не стесняясь написанным на сих стихотворениях дозволением к печатанию, сличить оные с тем, как они уже были однажды напечатаны и одобрить оные ныне в том же виде, в каком сии пиесы были дозволены в первый раз.

Министр народного просвещения Сергей Уваров».

Публикатор этого письма В. Э. Вацуро справедливо считает, что в нем речь идет о поэме «Анджело», которую сам Пушкин именовал стихотворением и которую хотел исправить при переиздании, заручившись на этот раз разрешением III Отделения. Но Дондуков, конечно, знал, что вымарка сделана рукой министра, и потому за подтверждением разрешения обратился непосредственно к нему самому. Разрешение, как видим, не было получено.

Было время, когда Пушкин стремился вывести свои мелкие произведения из-под опеки высочайшего цензора. Теперь, когда министром стал Уваров, поэт пытается восстановить некогда данную ему царскую «привилегию». 28 августа он сделал попытку утвердить особые права для прохождения в печать своих сочинений. Он направил в Цензурный комитет письмо, в кото-

ром напоминал, как в 1826 году император «объявил» ему, что сам станет его цензором. Тут же поэт жаловался и на попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, который «лишил его права печатать свои сочинения, дозволенные государем». Подписано было письмо: «Титулярный советник Александр Пушкин».

Председатель Главного комитета цензуры — все тот же Уваров. Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа — его «клевет» Дондуков. На него и жалуется поэт всевысшему министру, не ведая, что главный его противник сам Уваров. Письмо написано не без яда. Поэт надевает маску «титулярного советника», обращаясь к министру, как и подобает титулярному советнику, с «всеуниженным вопросом», давая при этом понять, что комитет нарушает волю самого императора и что для императора этот «титулярный советник» — прежде всего поэт, которого он своей императорской волей освободил от вмешательства Цензурного комитета. Но Уваров знает свою силу и возможности и не торопится с ответом. Он проводит поэта через испытание ожиданием. Уваров рассчитал верно. Пушкин теперь действительно «унижен» и ждет ответа с волнением. Письмо поэта рассматривалось на заседании 9 сентября, и только 23 сентября (т. е. почти через месяц после жалобы Пушкина) Уваров направил копию его просьбы со своим письмом в III Отделение. «Времена Красовского возвратились», — записал Пушкин в дневнике. Он понимает, что «высочайшая цензура» — единственное прибежище и только данное 8 лет назад обещание Николая может спасти его от произвола «дурака» Дондукова и подвластных ему цензоров.

«Сочинение», о котором явно беспокоился Пушкин, — «Путешествие в Арзрум». В апреле он передал его царю через Бенкендорфа, и вскоре оно было разрешено к печати.

7 сентября, не дождавшись ответа из Цензурного комитета, Пушкин уехал в Михайловское. Там продолжал беспокоиться о судьбе своего «сочинения». 11 октября он спрашивает Плетнева: «...что решил комитет на мое всеуниженное прошение. Ужели залягает меня осленок Никитенко и забодает бык Дундук?»

Ответ был подписан самим Уваровым и ждал Пушкина в Петербурге. В отношении от 26 сентября 1835 года «господину титулярному советнику Пушкину» сообщалось, что рукописи,



издаваемые с особого высочайшего разрешения, печатаются независимо от цензуры Министерства народного просвещения, но все прочие издания, назначаемые в печать, должны на основании высочайше утвержденного в 22 день (апреля) 1828 года Устава о цензуре быть представляемы в Цензурный комитет, которым рассматриваются и одобряются на общих цензурных правилах.

Пушкин понял, что главный его противник не цензор Никитенко и не «бык Дондук», а сам министр. «Милость», дарованная ему императором 8 сентября 1826 года, перестала действовать — все его сочинения передавались общей цензуре.

В шуточном послании к малолетнему сыну П. А. Вяземского Павлу Пушкин писал:

*Душа моя, Павел,  
Держись моих правил:  
Люби то-то, то-то,  
Не делай того-то.  
Кажись, это ясно.  
Прощай, мой прекрасный.*

«Правила» у Пушкина были. Он почитал себя «человеком общественным», т. е. человеком, на которого обращены взгляды современников и потомков. Он не мог допустить унижения своего человеческого и писательского достоинства и взял себе за «правило» отвечать ударом на удар. Вяземский вспоминал: «Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен... Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за ними.

В помощь памяти своей он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило.

Рано или поздно... взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою. В сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подобных взысканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него».

На удар, нанесенный ему Уваровым, Пушкин ответил сразу же. Случай представился чрезвычайно удачный. Когда поэт

был в Михайловском, тяжело заболел скарлатиной известный петербургский богач и дальний родственник Уварова (муж его двоюродной сестры) граф Д. Н. Шереметев (в его «Фонтанном доме» Пушкин позировал Кипренскому, который до отъезда в Италию жил у Шереметева). Когда пронесся ложный слух о смерти Шереметева в Воронеже, Уваров, считавший себя его наследником по жене, явился запечатывать дом. Но Шереметев благополучно поправился, а Уваров стал предметом для упражнений светских остряков.

Через несколько дней после возвращения Пушкина из Михайловского в его черновой тетради появляются первые наброски стихотворения, обращенного к Шереметеву:

*...наследник твой,  
Как ворон, к мертвечине падкий,  
Бледнел и трясся над тобой,  
Знобим стяжанья лихорадкой.*

.....  
*Он мнил: «Теперь уж у вельмож  
Не стану няньчить ребятишек;  
Я сам вельможа буду тож;  
В подвалах, благо, есть излишек.  
Теперь мне честность — трын-трава!  
Жену обсчитывать не буду  
И воровать уже забуду  
Казенные дрова!*

В конце декабря вышел очередной номер «Московского наблюдателя» (сентябрьский — журнал выходил с запозданием) с напечатанным стихотворением «На выздоровление Лукулла». Портрет незадачливого наследника был убийственно точен. Уваров пришел в бешенство. В январе 1836 года о памфлете Пушкина заговорили обе столицы. «Спасибо переводчику с латинского. <...> Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеил его бессмертным поношением.— Поделом вору и вечная мука!» — писал из Парижа А. И. Тургенев, сразу оценивший стихотворение как политический памфлет. Цензор Никитенко 20 января записал в дневнике: «Весь город занят «Выздоровлением Лукулла». Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением



не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор».

Неизменный собиратель светских новостей московский почт-директор А. Булгаков записал в своих воспоминаниях распространившиеся быстро сведения об этой беседе шефа жандармов с поэтом:

«Благодарнее было бы Уварову себя не узнавать и ограничиться молчанием, вместо того он стал жаловаться в обиде, нанесенной не столько частному лицу, сколь сановнику, облеченному высоким званием министра. Пушкин был призван к графу Бенкендорфу, управляющему верховною тайною полициею.

— Вы сочинитель стихов на смерть Лукулла?

— Я полагаю признание мое лишним, ибо имя мое не скрыл я.

— На кого вы целите в сочинении сем?

— Ежели вы спрашиваете меня, граф, не как шеф жандармов, а как Бенкендорф, то я вам буду отвечать откровенно.

— Пусть Пушкин отвечает Бенкендорфу.

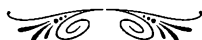
— Ежели так, то я вам скажу, что я в стихах моих целил на вас, на графа Александра Христофоровича Бенкендорфа.

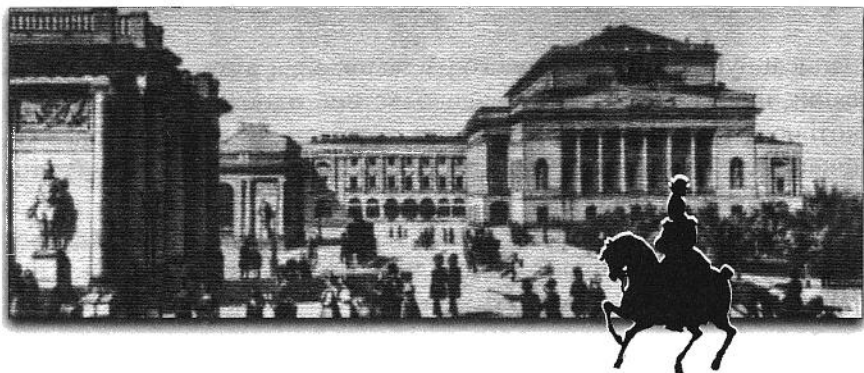
Как ни было важно начало сего разговора, граф Бенкендорф не мог не рассмеяться, а Пушкин на смех сей отвечал немедленно сими словами: «Вот видите, граф, вы этому смеетесь, а Уварову, кажется, это совсем не смешно», — Бенкендорфу иное не оставалось, как продолжать смеяться, и объяснение так и кончилось для Пушкина».

Конец разговора с Бенкендорфом не был таким идиллическим, как его изображает Булгаков. Сохранился черновик письма Пушкина Бенкендорфу, в котором он почтительно доказывал, что стихи его представляли общую сатиру и не имели в виду никакого определенного лица. Письмо не было отправлено — возможно, Пушкин еще раз имел возможность объясниться с Бенкендорфом. Однако когда Альфонс Жобар, бывший профессор Казанского университета, в марте 1836 года перевел оду на французский язык и собирался напечатать свой перевод в Бельгии, Пушкин «умолял» его этого не делать: «Мне самому досадно, — писал он, — что я напечатал пьесу,

написанную в минуту дурного расположения духа. Ее опубликование навлекло на меня неудовольствие одного лица, мнением которого я дорожу и пренебречь которым не могу, не оказавшись неблагодарным и безрассудным». «Одно лицо» — это, конечно, Николай I.

С 1836 года Пушкин начал издавать свой долгожданный журнал «Современник». Последнее слово оставалось за Уваровым.





## Разнузданные надежды

**К** апрелю — июню 1835 года относится еще одна отчаянная попытка Пушкина обратиться к правительству для устройства денежных дел.

В начале апреля он набросал вчерне следующее письмо Бенкендорфу: «Осмеливаюсь представить на разрешение вашего сиятельства.

В 1832 г. его величество разрешил мне быть издателем политической и литературной газеты.

Ремесло это не мое и неприятно мне во многих отношениях, но обстоятельства заставляют меня прибегнуть к средству, без которого я до сего времени надеялся обойтись. Я проживаю в Петербурге, где благодаря его величеству могу предаваться занятиям более важным и более отвечающим моему вкусу, но



жизнь, которую я здесь веду, вызывает расходы, а дела семьи крайне расстроены, и я оказываюсь в необходимости либо оставить исторические труды, которые стали мне дороги, либо прибегнуть к щедротам государя, на которые я не имею никаких других прав, кроме тех благодеяний, коими он меня уже осыпал.

Газета мне дает возможность жить в Петербурге и выполнять священные обязательства. Итак, я хотел бы быть издателем газеты, во всем сходной с „Северной пчелой“; что же касается статей чисто литературных (как-то иностранных критик, повестей, рассказов, поэм и т. п.), которые не могут найти место в фельетоне, то я хотел бы издавать их особо, один том в каждые 3 месяца, по образцу английских Review.

Прошу извинения, но я вынужден сказать вам все. Я имел несчастье навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения, так же как князя Дондукова, урожденного Корсакова. Оба уже дали мне ее почувствовать довольно неприятным образом. Вступая на поприще, где я буду вполне от них зависеть, я пропаду без вашего непосредственного покровительства. Поэтому осмеливаюсь умолять вас назначить моей газете цензора из вашей канцелярии; это тем более необходимо, что моя газета должна выходить одновременно с „Северной пчелой“ и я должен иметь время для перевода тех же сообщений — иначе я буду принужден перепечатывать новости, опубликованные накануне; этого одного будет довольно, чтобы погубить все предприятие».

Письмо не было ни переписано набело, ни отправлено. Вместо этого Пушкин просил у Бенкендорфа свидания, которое и состоялось 11 апреля.

Пушкин был уверен, что газета будет разрешена (в 1832 году он такое разрешение имел), но получил отказ. Отдать в руки поэта политические новости, позволить ему соперничать с «Северной пчелой» правительство не захотело. Позиция Булгарина не вызывала сомнений, и все публикуемые в его газете сообщения были вполне согласны с духом официальной политики. Газета Пушкина могла принести неожиданности.

Надежда поправить дела изданием газеты рухнула. Тогда возникла новая идея: просить отпуск на несколько лет; его мотивировка — тяжелое материальное положение семьи.

«У меня нет состояния... жизнь в Петербурге ужасающе дорога, — писал он Бенкендорфу 1 июня 1835 года. — До сих пор



я довольно равнодушно смотрел на расходы, которые я вынужден был делать, так как политическая и литературная газета — предприятие чисто торговое — сразу дала бы мне способ получить от 30 до 40 тысяч дохода. <...> Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые лишь вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только тревоги и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям его величества». В другом письме Пушкин объясняет, что «необходимость проживания в Петербурге» вовлекла его в долги, и называет сумму долгов — 60 000.

В том, что после отказа на издание газеты отпуск будет ему разрешен, Пушкин не сомневался. В семье вопрос об отъезде считался почти решенным. Н. О. Пушкина без тени сомнения сообщает дочери: «Знаешь ли ты, что Александр в сентябре месяце уезжает на три года в деревню, он уже получил отставку, а Наташа совсем покорилась».

О решимости выйти в отставку говорит и неожиданная для родных поездка поэта в Михайловское. 5 мая он выехал из Петербурга, а 15-го уже вернулся обратно, не пробыв в Михайловском и четырех дней. Собираясь поселиться на несколько лет в деревне, он выбрал не Болдино, а Михайловское. Болдино было слишком далеко от Петербурга и затрудняло бы поездки в столицу (а поездки эти были необходимы и для самого поэта — он не собирался оставлять работу в архивах, — и для Натальи Николаевны, которая могла бы ненадолго возвращаться к светской жизни).

В Михайловском Пушкин не был после 1827 года и, по-видимому, хотел проверить состояние имения. Картина была не из отрадных. 17 мая Сергей Львович рассказывает дочери: «Александр совершил дневное путешествие в Тригорское — прокатился туда и обратно и воротился в среду в 8 часов утра... Печальные новости рассказал нам о Михайловском. Люди грабят и творят ужасы. Ты знаешь, как я берег и, смею сказать, украсил сад и все окрестности дома. Я велел также заново отстроить службы, а ныне... Эти непорядки весьма нас огорчают».

Неизвестно, какие распоряжения оставил поэт, но мы знаем, что для хозяйственных дел у него была хорошая советчица, практичная и умная П. А. Осипова.

Накануне возвращения Пушкина, 14 мая, Наталья Николаевна разрешилась сыном. Мальчика назвали Григорием в честь предка Григория Пушкина. Его Пушкин ввел в число действующих лиц «Бориса Годунова», его же упоминает в своей автобиографии как человека, который «принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев».

Надежды Пушкина на получение отпуска также не оправдались. Царь ответил, что столь длительный отпуск равносильен отставке, он предложил поэту безвозвратную ссуду в 10 000 рублей и отпуск на 6 месяцев. Пушкин понимал, что на языке Николая I «отставка» — значит опала. Отказался он и от царской подачи. Вместо безвозвратной ссуды он просит 30 000 рублей с удержанием этой ссуды из жалованья.

Позиция Пушкина ясна: он хочет поправить дела изданием газеты, отказ служит мотивом для просьбы об отпуске. Угроза отставки вынуждает его объяснить свои денежные дела. Отказываясь от суды, он просит о займе, называя при этом не общую сумму своих долгов (60 000), а лишь 30 000 — сумму, которая поможет ему уплатить «долги чести». Сдержанный деловой тон писем Бенкендорфу обнаруживает позицию человека, который не «хочет ползать у ног сильных».

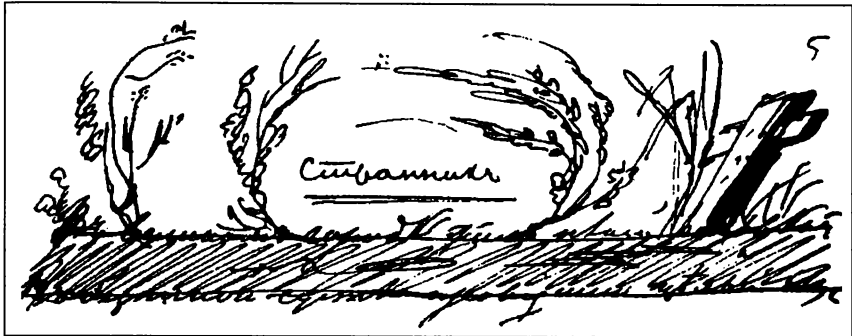
Вместе с этими отправленными Бенкендорфу письмами сохранились незавершенные черновики, которые обнаруживают душевное состояние поэта, его внутреннее смятение. Оно передается многочисленными перечеркиваниями и поисками наиболее достойных для просителя выражений. В одном из черновиков письма с просьбой об отпуске Пушкин вместо отпуска просит дать ему заем в 100 000 рублей с рассрочкой на 10 лет без процентов. Обращение за деньгами к царю обосновывается тем, что в России «нет возможности занять столь крупную сумму». Первая черновая редакция обрывалась зачеркнутыми словами: «Один только государь...» Письмо не было дописано, Пушкин не закончил даже мысль, почему заем у частного лица невозможен в России (он возвращается к ней и обосновывает ее в позднейшем письме Бенкендорфу от 22 июля 1835 г.). Первые части письма и черновика связывают их в один биографический эпизод, вызванный одним психологическим импульсом, когда Пушкину кажется, что, не получив повторного разрешения на издание газеты, он имеет право диктовать некие условия (вспомним, что за три года до этого он такое разрешение имел).



Когда и каким образом могла возникнуть мысль о возможности столь грандиозного займа? Идея о займе 100 000 рублей в казне обыграна Пушкиным в его заметке «О Дурове» — человеке, одержимом манией непременно достать 100 000, брате известной кавалерист-девицы. В 1829 году Пушкин ехал вместе с ним из Арзрума. Бывший спутник Пушкина по поездке из Арзрума напомнил о себе письмом, как раз в период переговоров поэта с правительством об отпуске и денежной ссуде. Письма мы не имеем, известен только ответ Пушкина, составленный 16 июня; в конце его ироническая фраза, напоминающая о маниакальной идее Дурова: «Жалею, что из 100 000 способов достать 100 000 рублей ни один еще вами с успехом, кажется, не употреблен. Но деньги [будут] — дело наживное. Главное, были бы мы живы».

В заметке поэт задает Дурову вопрос: «Как! безо всякого права?» Черновик письма к Бенкендорфу, где Пушкин просит о займе, и является обоснованием этого права для самого поэта: «Я сделал это для очистки совести, дабы не упрекать себя, что я пренебрег [каким-либо] способом [который был в моей власти], который вывел бы меня из затруднений и обеспечил бы мое состояние... Е<го> в<еличество>, соизволив принять меня в свою службу, оказал мне милость назначить 5000 жалования... Однако эта сумма, представляющая собою проценты со 125 000, как она ни велика, [если принять в соображение], является слабой для меня помощью [в городе], где я трачу около 25 000». Так Пушкин пишет о запрещенной газете и о вынужденной необходимости жить в столице. Одна из зачеркнутых фраз содержала еще и такой упрек: «Но положение моих дел, расстроенных не по моей вине». Таким образом, Пушкин пытается довести до сознания властей, что зависимость политическая ведет его к зависимости материальной.

По-видимому, сама мысль о возможности стотысячного займа в казне появилась, когда пришло письмо от Дурова. Это письмо и пушкинское письмо Бенкендорфу, в первоначальном замысле которого присутствовала навязчивая идея Дурова о 100 000 рублей, слишком близки во времени, чтобы объяснить все простым совпадением. В заметке «О Дурове» Пушкин ставит заем у государя в один ряд с другими «нелепостями и несообразностями», придуманными Дуровым («Словом, нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой бы Дуров уже не



## «Странник»

Рисунок А. С. ПУШКИНА. Июнь 1835 года

подумал»). Однако, закрепив на бумаге «удивительную» просьбу Дурова, применив ее к себе, Пушкин, по-видимому, сразу же осознал ее «нелепость».

В концовке письма к Дурову после иронической фразы о 100 000 рублей появляется местоимение «мы»: «Но деньги — дело наживное. Главное, были бы мы живы». Житейские заботы Пушкина и Дурова уравниваются, но для выхода из них Пушкин избирает другой путь.

Именно во время этой переписки Пушкин начинает переводить стихотворение Беньяна «Странник» (в автографе дата: «26 ию» — слово не дописано) с его четко выраженной темой побега. «Великая скорбь» Странника заставляет его бежать от близких, от окружения, от существующих устоев.

Переговоры с правительством затянулись. В середине июня Пушкины уже жили на даче Миллера на набережной Черной речки, где-то поблизости от того дома, который снимали летом 1833 года.

Перед отъездом на дачу Наталья Николаевна и ее сестры настойчиво просят брата, Дмитрия Гончарова, прислать им из Полотняного Завода лошадей. Все три сестры — прекрасные наездницы и, конечно, хотят блеснуть в дачном обществе. Нужна была лошадь и поэту. Его просьбу передает брату Александрин: «Пушкин ради Христа просит, нет ли для него какой-нибудь клячи, он не претендует на что-либо хорошее, лишь бы пристойной была, как приятель он надеется на тебя». Дальше следует знаменательная приписка: «Даже если лошади прибудут



к нам к концу июля — ничего, это будет самое хорошее время, жары будут меньше». Ссылка на «жары» нас не обманет. К началу августа должен был вернуться с маневров кавалергардский полк, стоявший в летних лагерях недалеко от Черной речки, в Новой Деревне. В одном из августовских писем Александрины читаем: «Ездили мы несколько раз верхом. Между прочим, была у нас очень веселая прогулка большой компанией. Мы были в Лахте, которая находится на берегу моря, в нескольких верстах отсюда. Дам нас было только трое и еще Соловая, урожденная Гагарина, одна из тех, кого ты обожаешь, мне кажется, и двенадцать кавалеров, большей частью кавалергарды. Там у нас был большой обед; были все музыканты полка, так что вечером танцовали, и было весьма весело».

Из письма следует, что сестры участвовали в прогулке одни, без поэта. Очевидно, «клячу» для себя Пушкин так и не получил. Московские исследователи М. Дементьев и И. Ободовская справедливо заметили, что, скорее всего, в летний сезон 1835 года, когда верховые прогулки с кавалергардами были частым развлечением «прекрасных амазонок», началось «двойное» ухаживание Дантеса: за Натальей Николаевной и — для отвода глаз — за Екатериной Гончаровой.

В курзале завода минеральных вод на Черной речке давались балы, и сестры от души веселились.

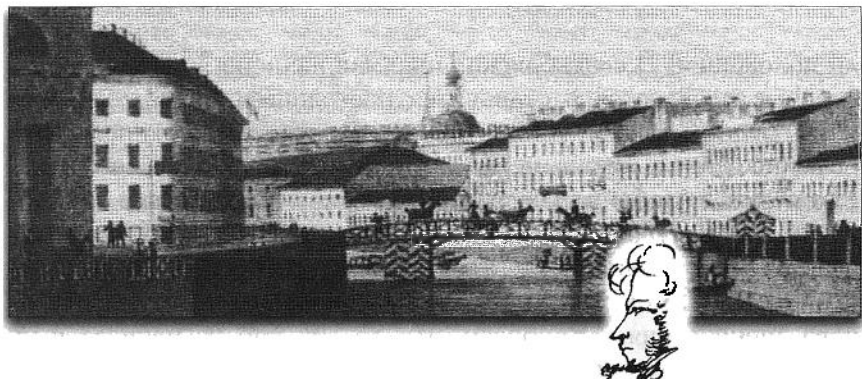
1 июля они все (вместе с Пушкиным) отправились на петергофский праздник. «Натали, говорят, была дивно хороша, и правда, после последних родов она стала красива, как никогда», — сообщает Сергей Львович. И в другом письме: «...по слухам я знаю, что они веселятся, были в Петергофе и Парголове у графини Полье».

Родители видят только внешнюю сторону жизни сына и считают его участие в петергофском празднике развлечением, но для поэта это тягостная обязанность. Летом 1835 года он как никогда был зависим от царя. Просимые 30 000 Пушкин получил. Но петля затягивалась. Он лишился жалованья на 6 лет (оно шло на погашение ссуды) и должен был платить проценты с ссуды, выданной в 1834 году, до тех пор, пока не сможет погасить ее сполна. После смерти Пушкина опека над его детьми и имуществом подсчитала общую сумму долгов поэта. Она равнялась 138 000 рублей. Полученные в результате длительных переговоров 30 000 рублей и отпуск на шесть месяцев не спаса-

ли положения. В сентябрьских письмах жене из Михайловского впервые появляется и становится постоянным мотив «чем нам жить будет», потому что царь «не позволяет ни записаться в помещики, ни в журналисты». И в тех же письмах жене, как и Плетневу, жалобы на «бесплодную осень» и отсутствие вдохновения: «Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».

Осенью 1835 года не было самого необходимого — душевного спокойствия. «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен», — писал поэт жене 25 сентября. В этом же письме, возможно, содержится и первое скрытое упоминание о Дантесе: «...иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу». «Расписаться» Пушкину так и не удалось, и 23 октября он уже вернулся в Петербург.





## Отчаяние

**О**ктябрь 1835 года для Пушкиных был ознаменован новыми бедами. В семейную жизнь поэта впервые вошли сплетни. Болела Н. О. Пушкина. Родители жили на Моховой в доме Кольберга, летом переехали в Павловск, а вернувшись, устроились в деревянном доме у Шестилавочной улицы на углу Графского переулочка в маленькой и неудобной квартире, где Надежда Осиповна и скончалась 29 марта 1836 года. Пушкин часто бывает у больной матери. «Александр здоров, он навещает меня по утрам», — пишет она дочери. Когда-то он рос нелюбимым ребенком. В последние годы отношения изменились. Старший сын постепенно становился главой и опорой семьи. Он постоянно внимателен к матери и тяжело переживает неутешительные прогнозы докторов. 26 октября



поэт пишет тригорской приятельнице П. А. Осиповой: «Бедную мать мою я застал почти при смерти. <...> Раух и Спасский потеряли всякую надежду. В этом печальном положении я еще с огорчением вижу, что бедная моя Натали стала мишенью для ненависти света. Повсюду говорят: это ужасно, что она так наряжается, в то время как ее свекру и свекрови есть нечего. <...> Нельзя, конечно, сказать, чтобы человек, имеющий 1200 крестьян, был нищим. Стало быть, это у отца моего кое-что есть, а вот у меня нет ничего. Во всяком случае, Натали тут ни при чем, и отвечать за нее должен я. <...> Поверьте мне, дорогая госпожа Осипова, хотя жизнь — и *süsse Gewohnheit*<sup>1</sup>, однако в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной, а свет — мерзкая куча грязи. Тригорское мне милее». Клевета преследовала Пушкина и раньше. Осенью 1835 года она впервые коснулась его дома, семьи — тех, кого он должен был защищать.

Письмо к Осиповой заслуживает особого внимания. В переписке Пушкина мы не встречаем писем с подобной откровенностью признаний. Это констатация ситуации, и ситуации безысходной. Жизненный идеал, «обитель дальная трудов и чистых нег» — Михайловское, — недостижим. А реальность — «куча грязи», из которой невозможно выбраться. Это письмо воссоздает психологическую атмосферу, в которой очутился Пушкин осенью 1835 года. Эмоции находят выход в творчестве, и Пушкин пишет стихотворение, проникнутое беспрецедентной, всепоглощающей безысходностью. Душевный кризис заставляет его прибегнуть к мольбе о разуме:

*Не дай мне Бог сойти с ума.  
Нет, легче посох и сума;  
Нет, легче труд и глад.  
Не то, чтоб разумом моим  
Я дорожил; не то, чтоб с ним  
Расстаться был не рад:*

*Когда б оставили меня  
На воле, как бы резво я  
Пустился в темный лес!  
Я тел бы в пламенном бреду,  
Я забывался бы в чаду  
Нестройных, чудных грез.*

<sup>1</sup> Сладкая привычка (нем.).

*И я б заслушивался волн,  
И я гледел бы, счастья полн,  
В пустые небеса;  
И силен, волен был бы я  
Как вихорь, роющий поля,  
Ломающий леса.*

*Да вот беда: сойди с ума,  
И страшен будешь как чума  
Как раз тебя запрут,  
Посадят на цепь дурака  
И сквозь решетку как зверка  
Дразнить тебя придут.*

*А ночью слышать буду я  
Не голос яркий соловья,  
Не шум глухих дубров —  
А крик товарищей моих,  
Да брань зрителей ночных,  
Да визг, да звон оков.*

В лирике Пушкина страдание часто совмещается с нравственным самосознанием, а духовная драма находит развязку в творчестве. «Не дай мне Бог сойти с ума» фиксирует те моменты, когда даже в творчестве мыслящий человек не видит опоры, когда кажется, что страдания приводят к безумию, лишают его возможности мыслить и творить. Это и вопль отчаяния, и мольба о разуме, и стремление к свободе во что бы то ни стало.

В последние годы жизни «свобода» связана у Пушкина с темой побега. О побеге пишется в послании 1834 года к жене «Пора, мой друг, пора», в «Страннике» (1835) и в «Не дай мне Бог сойти с ума». В те же годы (начиная с мая 1834 года) в письмах жене настойчиво повторяется одна и та же мысль: необходимость «удрать на чистый воздух», «удрать, улизнуть из Петербурга», «из Петербурга убраться», «удрать в Болдино».

В стихотворении «Странник» побег впервые соотносится с безумием. Но это безумие мнимое, обусловленное противоречием между человеком, отвергающим общепринятый стереотип мышления и поведения, и средой. «Не дай мне Бог сойти с ума» обнажает иллюзорность побега. Мнимым оказывается уже не безумие, а побег. Разрыв с обществом невозможен даже для человека, потерявшего рассудок.

Глубоко личные, лирические ноты в трех стихотворениях Пушкина, связанных с темой побега, исходят из обстоятельств его

внутренней и внешней жизни. Приведенное письмо к П. А. Осиповой, несомненно, воссоздает психологическую атмосферу, в которой очутился Пушкин, вернувшись после творчески бесплодной осени 1835 года в Петербург, и которая могла стать эмоциональным фоном стихотворения. На этом фоне достаточно было незначительного толчка или «импульса от действительности» чтобы появилось это стихотворение. Таким толчком могло быть письмо, которое 2 ноября 1835 года Пушкин получил от некоего Никанора Иванова. Письмо содержало денежную просьбу. Корреспондент просил ссудить его «денежным пособием, не превышающим 550 рублей». Просьба была облечена в пространный рассказ о жизни и страданиях Иванова. Письмо заканчивалось словами: «Говорят, что безумие — несчастье; ошибаются — это благо... я бы желал помешаться, или клянусь, за счастье почел бы, если б мог родиться грубым, беззаботным, но спокойным поселянином, или выбрать жребий дикого, воинственного сына степей и гор».

Мы не знаем, помог ли Пушкин просителю, не знаем, ответил ли он ему, но письмо счел достойным сохранения. Для поэта оно могло представлять особый интерес в двух аспектах: социальном и психологическом. Что нам известно об Иванове? Из письма можно узнать возраст, социальную принадлежность, материальные обстоятельства, литературные вкусы и пристрастия, наконец, психологическое состояние. Ему 20 лет, он получил домашнее образование, знает французский язык, он имел некоторое состояние, но истратил его. Точно обозначенная сумма, которую он просит взаймы (550 рублей), позволяет предположить, что это сумма долга или долгов Иванова.

Судя по всему, Иванов принадлежал к обедневшему дворянству, т. е. представлял ту социальную прослойку, которая особенно интересовала Пушкина в 30-е годы и к которой он относил себя. Этим отчасти объясняется, почему он так охотно обращался к изображению подобных же героев, ушедших от своего класса. Иногда изгой становится бунтарем («Дубровский»), иногда он представлен смирившимся, почти слившимся с новой социальной средой. Таков Евгений в «Медном всаднике», таков же и неизвестный Пушкину проситель. В лице Никанора Иванова поэт увидел одного из своих героев. Евгения Пушкин наделил некоторыми автобиографическими чертами, но, как отметил Б. В. Томашевский, «отнял у него свою главную черту,



отличавшую Пушкина от других: он не наградил своего героя талантом». Но в черновых вариантах «Езерского» герой был «сочинитель и любовник», в черновиках «Медного всадника» — «сосед-поэт» и «молодой поэт». В самой поэме Пушкин приблизил ничтожного героя к обыденности, лишил всего, что могло бы помешать ему быть одним из многих. В отличие от героя Пушкина его корреспондент — поэт. В образе Н. Иванова перед Пушкиным предстало сочетание «ничтожности», «мелкости» и поэтического дара, т. е. Пушкин получил письмо как бы от своего героя в первоначальных его очертаниях. Никанор Иванов, как и Евгений из «Медного всадника», — чиновник и поэт

*Без роду племени, связей,  
Без денег — то есть без друзей.*

Приподнятый тон письма свидетельствует, что он романтик. В стихах Пушкина Иванов видит прямое выражение эмоций поэта и прилагает их к себе.

Его рассказ заполнен романтическими штампами, однако среди них постоянно встречаются реминисценции из пушкинских стихов. Отдельные строки его письма похожи на вольное переложение элегии «Погасло дневное светило»: «пылкие страсти» довели его до крайности, юность он «запятил пороками», сама юность представляется ему «мгновенною». Пылкое отречение от «пагубного, губительного дара фантазии» эпигонски повторяет пушкинское «дар напрасный, дар случайный».

Неизвестный Никанор Иванов уловил в поэзии Пушкина наиболее уязвимую черту Пушкина-человека — переживания «неотразимых обид», связанных с клеветой. Начиная с «Посвящения» к «Кавказскому пленнику», клевета является постоянным мотивом пушкинской лирики. У Иванова мотив клеветы, измены друзей, их неверности повторяется несколько раз.

Жалобы Иванова соответствовали личной ситуации самого поэта, но, окруженные романтической риторикой, они теряли психологическую достоверность.

Пушкинские образы, наконец, личная психологическая ситуация самого Пушкина в письме Иванова погружены в атмосферу вульгарного романтизма середины 30-х годов, пропущены через мещанско-чиновничье сознание. Письмо свидетельствует, что корреспондент Пушкина был одним из тех, кто упивался, зачитывался стихами новых кумиров русской публики

(теперь совсем забытых) — Бенедиктова, Кукольника, Тимофеева. Вспоминая об отношении широкой публики к Пушкину, И. С. Тургенев потом напишет: «Пушкин был <...> в полном расцвете сил и, по всем вероятностям, ему предстояло много лет деятельности... но, правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики... Марлинский все еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус (Сенковский) царствовал... на Кукольника взирали с надеждой и почтением... а Бенедиктова заучивали наизусть... Время было смиренное по духу и трескучее по внешности».

В письме Никанора Иванова личные, психологические ситуации самого Пушкина: долги, одиночество в обществе, противоречия со всеми и вся, даже собственное болезненное ощущение «неотразимых обид» клеветы — все предстало перед поэтом в уродливом, перевернутом, мизерном, жалком облике. В письме Пушкин увидел похвалу, которая хуже хулы, почитание, которое хуже непризнания, увидел свою поэзию, сближенную в сознании рядового читателя с вульгарным романтизмом.

За несколько месяцев до этого письма, как уже говорилось, Пушкин также прибегал к просительству; на какое-то время поверил, что может осуществиться маниакальная идея Дурова о займе в сто тысяч, и старательно аргументировал свое право просить у царя эту сумму.

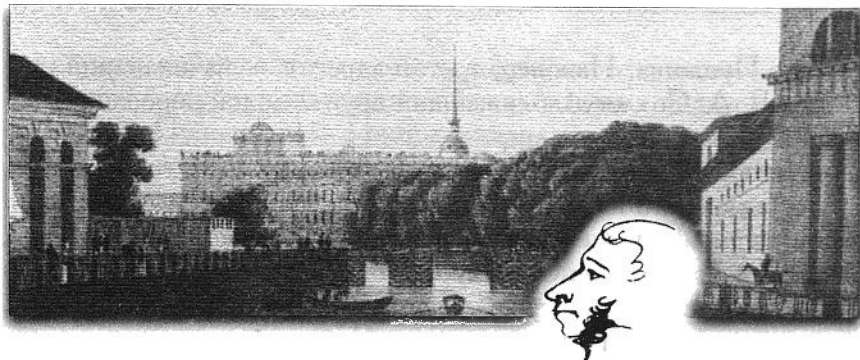
Письмо Никанора Иванова пришло в тот временной отрезок, когда денежные неудачи, осознание «кучи грязи вокруг себя», «ошеломление» новой клеветой — все вместе взятое могло создать у Пушкина ощущение надвигающегося безумия. Романтическая выпренность, противоестественность желания сойти с ума («я хотел бы быть помешанным») предстала перед поэтом в своей реальной, жизненной абсурдности. 3 апреля 1830 года Пушкин видел сошедшего с ума Батюшкова. Эта встреча должна была произвести на Пушкина сильное впечатление и очень ему запомниться. М. П. Погодин, видевший Батюшкова «через окно», записал в дневнике: «Лежит почти неподвижный. Дикая взгляд. Взмахнет иногда рукою, мнет воск... И так лежит он два месяца. Боже мой! Где ум и чувство? Одно тело чуть живое. Страшно». Распад личности Пушкина, как и Погодин, увидел в его страшной обнаженности.

Три месяца отделяют письмо Дурова к Пушкину (и вызванную им мечту о ста тысячах) от заметки «О Дурове». В заметке



была закреплена нравственная, духовная победа Пушкина над самим собою. Просьба о ста тысячах осталась только в перемаранных черновиках. В концовке письма к Дурову Пушкин пишет: «...Но деньги [будут] — дело наживное... были бы мы живы». «Мы» уравнивает житейские заботы Пушкина и Дурова. Сознание собственной принадлежности к «третьему сословию» России — обедневшему дворянству закрепляется этим местоимением. Через три недели после того как в заметке «О Дурове» Пушкин поставил дату: «8 октября 1835», ситуация повторилась. Пушкин получил письмо от неизвестного ему человека, в котором искаженно, как в кривом зеркале, отразились его собственные нужды и чувства. В один клубок сплелись у поэта и собственное трагическое мироощущение, и осознание своей принадлежности к обедневшему дворянству, и фиглярская схожесть с собой незадачливого поэта-просителя.





## Три несостоявшиеся дуэли

**В** первых числах февраля 1836 года Пушкин написал три письма трем адресатам — С. С. Хлюстину, Н. Г. Репнину и В. А. Соллогубу. В каждом из этих писем заложена возможность дуэльной ситуации, хотя причины для этого, как и отношения Пушкина с адресатами, были разными.

С. С. Хлюстин — светский знакомый Пушкина, десятью годами его моложе, сосед Гончаровых по Полотняному Заводу. За него Наталья Николаевна еще в 1834 году собиралась выдать одну из своих сестер. Н. Г. Репнин — брат декабриста С. Г. Волконского, почтенный и уважаемый человек, член Государственного совета, на двадцать лет



старше Пушкина. Наконец, третий адресат — начинающий писатель В. А. Соллогуб, ближайший друг молодой поросли семьи Карамзиных.

История с Соллогубом началась в конце 1835 года. Поводом к вызову его на дуэль послужила невинная шутка Соллогуба, обращенная к жене поэта в ответ на ее насмешки над романтической страстью Соллогуба. Из этой невинной шутки, как вспоминает сам Соллогуб, «присутствующие дамы соорудили целую сплетню». Пушкин отправил Соллогубу письмо, которое по счастливой случайности до того не дошло, и Соллогуб узнал о нем уже находясь в служебной командировке в Ржеве. Из Ржева он вынужден был отправиться в Тверь, а Пушкину написал, что совершенно готов к его услугам, хотя и не чувствует за собой вины. На письменное объяснение Соллогуба Пушкин и ответил в начале февраля. Встреча их произошла в мае 1836 года в Москве, в доме Нащокина, куда примчался Соллогуб из Твери, узнав о приезде Пушкина.

К тому времени гнев Пушкина охладел и он понял неуместность поединка с двадцатилетним юнцом из-за пустяка. Встреча потенциальных противников началась с разговора о «Современнике», первый номер которого уже вышел, и закончилась в присутствии Нащокина вполне миролюбиво. Соллогубу было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне, на что он с радостью согласился.

Соллогуб был одним из немногих современников, кто понимал глубинные свойства характера Пушкина и особенности его поведения в последний год жизни. Позднее Соллогуб напишет: «Моя история с Пушкиным может быть немаловажным материалом для будущего биографа. Она служит прологом к кровавой драме его кончины; она объясняет, как развивались в нем чувства тревоги, томления, досады и бессилия против удушливой светской сферы, которой он подчинялся. И тут, как и после, жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного возмущения против судьбы».

«Взрывочное возмущение» лежало в основе и двух других дуэльных ситуаций. Оба этих эпизода касались дел литературных.

В начале 1836 года Пушкин издал сказку Виланда «Восток», переведенную посредственным литератором Е. П. Люценко. Пушкин знал Люценко с лицейских лет: в 1811—1813 годах



он служил в Лицее секретарем хозяйственного правления. Книга вышла без указаний имени переводчика, но с подзаголовком: «Изд. А. Пушкиным». Поэт поставил свое имя на книжке, чтобы помочь бывшему лицеисту, находившемуся в бедственном положении.

Благотворительный поступок обернулся для Пушкина журнальной травлей. Особенно ополчилась на поэта «Библиотека для чтения». Она поместила рецензию Сенковского на «Востолу», в которой читателю предлагалось два варианта трактовки имени Пушкина на титуле книги: по первой — он дал переводчику напрокат свое имя, т. е. хотел присвоить себе чужое произведение, по второй — сам был автором этого слабого перевода.

Цитируя тяжеловесные стихи Люценко, Сенковский издевательски восклицал: «...не сомневаюсь, что это стихи Пушкина. Пушкин дарит нас всегда такими стихами, которым надобно удивляться не в том, так в другом отношении».

Пушкин был взбешен, и когда 3 февраля зашедший к нему Хлюстин повторил слова Сенковского (но, как объяснял он сам, только «в качестве цитаты», т. е. как мнение Сенковского, а не свое собственное), Пушкин обрушился на него со свойственной ему горячностью. Оскорбленный Хлюстин настаивал на дуэли. С помощью Соболевского дуэль удалось предотвратить. Насколько поверхностной была ссора, свидетельствует то, что за день до нее Пушкин мирно встречался с Хлюстиным и даже подарил ему собственноручно переписанный текст эпиграммы на Дондукова-Корсакова «В Академии наук...»

Наконец, третий эпизод связан с откликами в свете на оду, направленную против Уварова. До Пушкина дошел слух, что Н. Ф. Боголюбов, которого называли «уваровским шпионом-переводчиком», распространяет оскорбительные отзывы на оду, якобы исходящие от Н. Г. Репнина. Репнин так же, как и Уваров, был наследником Шереметева (они были женаты на сестрах), и, не будь он человеком умным и к тому же настроенным доброжелательно к Пушкину, мог бы принять оду и на свой счет, хотя не состоял «в няньках» у министра финансов Канкрин и не крал казенные дрова.

Пушкин, не поверив слухам, написал Репнину письмо с просьбой «не отказать ему сообщить, как он должен поступать». Поэт ставил Репнина перед необходимостью либо признать, что никаких оскорбляющих достоинство Пушкина слов



тот не произносил, либо ждать вызова на дуэль. «Как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и то имя, которое оставляю моим детям» — так объяснил свое письмо Пушкин.

Репнин ответил Пушкину вежливым письмом, из которого следовало, что Боголюбов попросту соврал, но вместе с тем Репнин не удержался от нотации: «...искренне скажу, — писал он, — что гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением честных людей». Очевидно, только глубокое уважение к почтенному человеку, который по возрасту годился ему в отцы, позволило Пушкину без последствий оставить эту нотацию. Из слов Репнина он, очевидно, понял, что недоброжелатели пытались переадресовать оду Репнину. Конфликт был улажен.

Общаясь часто с молодым Пушкиным, Е. А. Карамзина писала, что у него «каждый день дуэли». Но то была горячая пора «порочных заблуждений», как определил ее позднее сам поэт. В эту пору, следуя романтическим канонам, он вольным, озорным поведением бросал вызов ханжеской морали света. По словам декабриста И. Д. Якушкина, он часто «корчил лихача» и «рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты». Теперь же романтические атрибуты были ему не нужны. Он был умудрен жизненным опытом, был мужем, отцом семейства — и вдруг такая серия дуэльных историй по самым ничтожным поводам.

Ни к одному из возможных противников Пушкин не испытывал вражды, больше того, двое из них в дуэльных эпизодах играли несколько ролей. Хлюстин — сперва противник, а через несколько дней, после обмена письмами, с тем же Хлюстиным Пушкин передает в Тверь Соллогубу письмо, в котором отказывается принять объяснения Соллогуба и настаивает на дуэли. Та же ситуация повторяется с Соллогубом. В ноябре Пушкин отправит его к секунданту Дантеса д'Аршиаку выработать условия дуэли. Соллогуб вместе с д'Аршиаком сыграют роль примирителей.

Что же произошло в начале 1836 года, почему именно в это время обнажилось столь горячее проявление свойственного поэту «пристрастия к светской молве, отличиям, толкам и условностям»? «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться, — сказал Пушкин Соллогубу у Нащокина. — Да что делать. Я имею несчастье быть общественным человеком, а вы знаете,

это хуже, чем быть публичной женщиной». К чести Соллогуба следует сказать, что он принял твердое решение «не стрелять в Пушкина, но выдержать его огонь сколько ему будет угодно».

Здесь уместно вспомнить еще одно наблюдение Соллогуба. Когда он находился в Твери и ждал возможности встретиться с Пушкиным, через Тверь проезжал зять Вяземских Валуев. Среди прочих новостей он сказал Соллогубу, что «около Пушкиной увивается Дантес», и оба приятеля смеялись «тому, что, когда Соллогуб будет стреляться с Пушкиным», жена поэта «будет кокетничать со своей стороны».



*Е. А. Карамзина*

Неизвестный художник. 1830-е годы



В начале 1836 года увлечение Дантеса женой поэта было светской новостью. Как раз к тому времени относятся два письма Дантеса к Геккерну, в которых он признается, что «безумно влюблен» в даму, чей муж «бешено ревнив». Первое письмо датировано 20 января, и влюбленность Дантеса представлена в нем как новость, которая еще неизвестна барону (он уехал из Петербурга осенью 1835 года). А через месяц произошло объяснение Дантеса с женой поэта. Вот как он рассказывает об этом своему «приемному отцу» 14 февраля: «...когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор; а его было очень трудно поддерживать, потому что речь шла об отказе человеку, любимому и обожаемому, нарушить ради него свой долг; она описала мне свое положение с такой непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если бы ты знал, как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь и что мое положение ужасно; а когда она сказала мне, я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой».

Из писем видно, что жена поэта, выслушав признания Дантеса, ответила ему, как Татьяна Ларина, отказом, поставив долг выше чувства. Очевидно и то, что Дантес обещал ей с уважением относиться к ее «долгу». В письмах он как будто заботится о репутации любимой женщины — не называет ее имени и просит Геккерна не предпринимать попыток разузнать, за кем он ухаживает. Но эта забота была лишь красивой позой. Он вел себя так, что его влюбленность сразу же стала достоянием молвы. Мы видели, что в феврале через Валуева узнал о ней Соллогуб. 5 февраля, в тот самый день, когда Пушкин написал письмо Репнину, вечером он с женой был на балу у неаполитанского посланника князя ди Бутера. Молоденькая фрейлина М. Мердер обратила внимание, что во время мазурки Ж. Дантес пылким изъяснением своих чувств привлекает внимание окружающих к себе и к жене поэта. Но тогда это еще не предвещало

трагедии. В июле С. Н. Карамзина, рассказывая брату Андрею о петергофском празднике, пишет: «Я шла под руку с Дантесом, он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали)». И только после смерти поэта наблюдательная Д. Ф. Фикельмон записала в дневнике о Дантесе: «Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине <...> он был решителен в намерении довести ее до крайности».



А. С. Пушкин

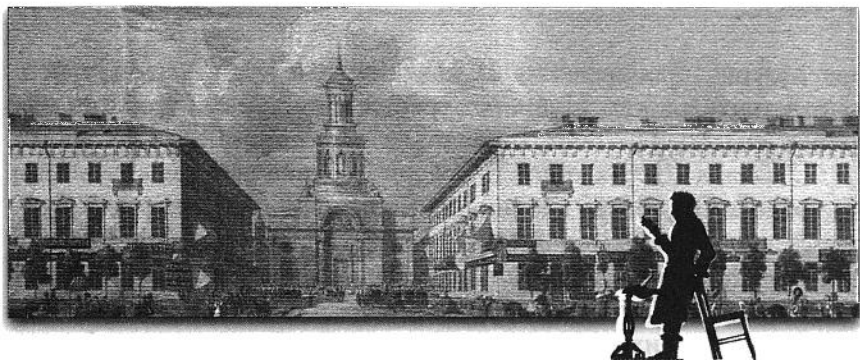
П. Ф. СОКОЛОВ. 1836



Первая красавица столицы была достойна поклонения. Мы видим, что даже друзья Пушкина не находили в поведении Дантеса ничего выходящего за рамки светских приличий. В начале 1836 года молва еще не стала сплетней. Пушкин был прощательнее своих друзей и знакомых. Всегда щепетильный в вопросах чести, теперь он с особым пристрастием относился к любым самым незначительным и даже непреднамеренным поводам задеть его достоинство.

В феврале 1836 года безмятежная спокойная жизнь поэта дала трещину. Когда осенью Дантес возобновил свое настойчивое ухаживание за Натальей Николаевной, Пушкин далеко не всегда мог владеть своими эмоциями. Окружающим он казался безумцем. Софья Николаевна Карамзина, рассказывая брату Андрею об одном из веселых вечеров в своем доме, отмечает «блуждающий, дикий, рассеянный взгляд» поэта. Очевидно, и в эти последние преддуэльные месяцы Пушкин не раз повторял расхожие житейские слова, которыми он начал свое стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума».





## «Современник»

**М**

ридцать первого декабря 1835 года Пушкин обратился к Бенкендорфу «с покорнейшей просьбой» издать в следующем, 1836 году «4 тома статей чисто литературных (как-то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; на подобие английских *Reviews*». По сути дела, эта просьба была уже адресована правительству полгода назад, но тогда кварталник мыслился как приложение к литературной и политической газете. Пушкин не называет будущее издание журналом, но пишет «4 тома статей» наподобие английских «*reviews*». Пушкин ссылается на английские «обозрения» («*Quarterly reviews*»). Эти журналы содержали только критические разборы современной



литературы, произведения художественные там не печатались. В действительности Пушкин ориентировался на другой тип издания.

С начала 1820-х годов в России публика зачитывалась альманахами. Это были сборники стихов и прозы, сопровождавшиеся часто критическими статьями. Для издания альманаха, в отличие от журнала, разрешение было получить легче. Альманахи были безобидными в глазах правительства, и в то же время издатели с их помощью могли дать, по словам декабриста Александра Бестужева, «направление общему мнению». Таковыми были альманахи «Полярная звезда» А. Бестужева и Рылеева, «Северные цветы» Дельвига, «Мнемозина» Кюхельбекера и В. Одоевского.

Обычно альманахи издавались раз в год, в качестве «подарка любителям отечественной словесности» к Новому году. Исключением была «Мнемозина». Это по существу был кварталник, который вполне соответствовал программе, намеченной Пушкиным в письме Бенкендорфу. Художественные произведения сочетались там со статьями учеными и с критическими разборами. Конечно же, это был журнал, издававшийся под видом альманаха. «Мнемозина» явилась подлинным прообразом «Современника». Не случайно Пушкин, имея в виду издательскую деятельность Кюхельбекера, говорил, что «он человек дельный с пером в руках».

В середине 20-х годов можно было спрятать журнал под вывеской альманаха, в середине 30-х — приходилось ссылаться на иностранные образцы. Поэтому, вероятно, в прошении Пушкина и появляется неопределенное обозначение будущего издания: «4 тома статей». Отметим, что пока он просит разрешения только на один год, конечно же, из опасения, как бы не приняли его проект за намерение начать многолетнее издание журнала.

Сам Пушкин и его ближайшие друзья и сотрудники называли задуманное издание журналом. Со временем они надеялись, очевидно, сделать его ежемесячным. Пушкин хотел противопоставить «Современник» коммерческой журналистике, собрав вокруг него когорту лучших представителей современной литературы. Надеялся он и на доходы от журнала. Сестра поэта Ольга Сергеевна Павлищева 31 января писала мужу Николаю Ивановичу в Варшаву: «Он издает на днях журнал, который ему приносить будет не меньше, он надеется, 60 000. Хорошо и



завидно». В феврале в одной из черновых тетрадей Пушкин рисует автопортрет и чуть выше — колонку цифр. 2500 он умножает на 25. 2500 — тираж «Современника», 25 — цена годового комплекта.

Мы видим, что Пушкин надеялся на успех. Этого успеха боялись его соперники на журнальном поприще.

Самым популярным журналом в это время была «Библиотека для чтения», издававшаяся Смирдиным и Сенковским, вполне удовлетворявшая провинциального читателя, да и непритязательных жителей столицы. Энциклопедичность и развлекательность, балагурство и буржуазная мораль, обязательные модные картинки — таковы были установки издателей этого популярного журнала. Тираж «Библиотеки для чтения», 5000 экземпляров, был максимальным для того времени.

Издатели «Библиотеки» попытались убрать с дороги возможного соперника. Каждый из них действовал по-своему. Смирдин, бесконечно уважавший Пушкина и дороживший его сотрудничеством (в «Библиотеке для чтения» начиная с 1834 года были напечатаны «Гусар», «Сказка о мертвой царевне», «Будрыс и его сыновья», «Воевода», «Пиковая дама», «Красавица», «Подражания древним», «Песни западных славян», «Сказка о рыбаке и рыбке»), соблазнял поэта деньгами. В середине января 1836 года Пушкин пишет Нащокину: «Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его «Библиотеки», но хотя это было бы и выгодно, но не могу на это согласиться. Сенковский такая bestия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно». 3 февраля подписка на «Современник» была объявлена в «Северной пчеле», но уже до этого атаку на Пушкина в печати начал «bestия» Сенковский. Наглая ерническая рецензия Сенковского на «Востолу» Виланда, изданную Пушкиным, была рассчитана точно: она опережала объявление подписки на «Современник», показывала, в каком тоне можно писать о Пушкине, и вызывала недоверие к поэту как тех, кто мог думать, что бездарные стихи Люценко действительно принадлежат Пушкину и что талант его иссяк, так и тех, кто считал, что стихи Пушкину не принадлежат и что поэт опустил до того, чтобы давать свое имя напрокат бездарности.

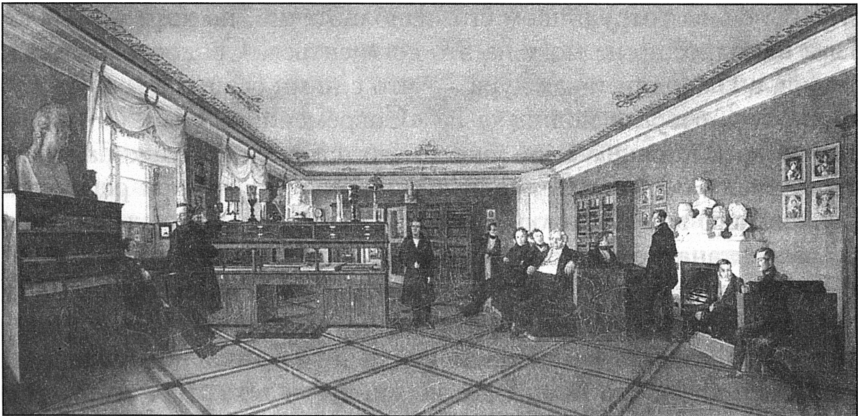
Цензурное разрешение на второй номер «Библиотеки для чтения» было подписано 30 января. Вполне возможно, что уже



31 января Пушкин знал о выезде Сенковского. Вечером он зашел к родителям. Там его встретило очередное письмо Павлищева с денежными претензиями. Поэта давно раздражала бесцеремонность зятя. Но в этот день реакция на его письмо была явно неадекватной содержанию письма. После сцены в доме родителей сестра поэта писала мужу: «Я сердита на тебя за то, что ты написал Александру. Это привело только к тому, что у него разлилась желчь; я не помню его в таком отвратительном расположении духа». Так в начале 1836 года в один узел стянулись история с «Лукуллом», выговор царя и осознание тех трудностей, которые встанут перед ним на поприще журналистики. Выпад Сенковского был предупреждением.

Пушкин собирался сделать свой журнал литературной, эстетической и общественно-политической трибуной. «Современник» должен был просвещать общество, направлять умы, знакомить публику с лучшими произведениями отечественной словесности, показывать образцы истинной критики. Среди авторов старые друзья и сподвижники Пушкина — Жуковский, Плетнев, Вяземский, Баратынский.

В январе 1831 года, после смерти Дельвига, Пушкин писал Плетневу: «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться». А. И. Тургенев — один из «кучки» близких Пушкину литераторов — присылает из Пари-



*Субботнее собрание у Жуковского.  
Г. К. Михайлов, А. Н. Мокрицкий и др.  
1834—1836*

жа письма, наполненные новостями западноевропейской жизни, «сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего», как называл их Вяземский. В «Современнике» эти письма печатаются под заголовком «Хроника русского». С первого номера центральное место в журнале занимает Гоголь — тогда еще подающий большие надежды представитель молодого поколения русских писателей.

Привлекается к сотрудничеству старый знакомый Пушкина князь П. Б. Козловский. Человек энциклопедически образованный, он выступает в «Современнике» со специальными статьями по теории вероятности и статистике.

Постоянный сотрудник «Московского наблюдателя» М. П. Погодин считает за честь печататься в «Современнике». 23 января он записывает в дневнике: «Думал <...> о журнале Пушкина. Не отдать ли туда статей, назначенных в мой журнал, то есть не издавать ли вместе». Помощником Пушкина в издании журнала и активным его сотрудником стал бывший издатель «Мнемозины» В. Ф. Одоевский, а со второго номера в проверке корректуры и сношениях с типографией Пушкину помогает А. А. Краевский. Печатался журнал в «Гутенберговой» типографии, владельцем которой был родственник В. Ф. Одоевского Б. А. Враский.

Около 20 января в Петербург приехал Денис Давыдов. Его с радостью приняли петербургские литераторы. Почти ежедневно с ним встречается Пушкин. 24 января Давыдов пишет жене: «Вчера из театра я провел вечер у Вяземского <...> Я у него нашел Пушкина, Жуковского, которые для меня туда приехали, — еще одного князя Б. А. Четвертинского и твоего брата кн. Козловского, с которым мы возобновили знакомство». На другой день вечером Давыдов — в гостях у Пушкина. Среди прочего речь, конечно, шла и о сотрудничестве Давыдова в «Современнике» — для второго номера Давыдов прислал Пушкину отрывок из своих воспоминаний о войне 1812 года «Занятие Дрездена», а вслед за этим еще одну статью — «О партизанской войне». 25 января на субботнем собрании у Жуковского в Шепелевском дворце они встречаются опять, а 27 января в честь Дениса Давыдова писатель и переводчик Вильгельм Иванович Карлгоф дает обед, на который, как вспоминает молоденькая хозяйка дома, была приглашена «вся литературная аристократия». Тут были Крылов, Пушкин, Жуковский, Вя-



Д. В. Давыдов

К. ГАМПЕЛЬН

земский, Плетнев, Тепляков, Розен и восходящая литературная звезда Бенедиктов. Елизавете Алексеевне Карлгоф запомнились и некоторые темы бесед этого вечера: «Разговор был донельзя оживлен, ни на минуту не прекращался. Много толковали о мнимом открытии обитаемости луны. Пушкин доказывал нелепость этой выдумки, считал ее за дерзкий пуф, каким она впоследствии и оказалась, и подшучивал над легковерием тех, которые падки принимать за наличную монету всякую отважную выдумку». После обеда хозяйка дома «осмелилась заговорить с Пушкиным и беседовала с ним о „Современнике” — очевидно, затеянный Пушкиным журнал не обошли вниманием присутствующие у Карлгофов литераторы.

Вернувшись в Москву, Давыдов «побуждает» московских писателей сотрудничать в «Современнике» и с удовлетворением сообщает поэту, что получил согласие Баратынского и что Языков «готов и поступает под знамена» Пушкина.

В связи с изданием журнала у Пушкина завязываются новые знакомства и контакты с учеными, литераторами, мемуа-

ристами — со всеми, кого хотел бы он видеть среди авторов «Современника». Это и кавалерист-девица Н. А. Дурова, и начинающий поэт Кольцов, и никому еще не известный поэт Тютчев, и русский офицер — черкес Султан Казы-Гирей. Печатаемая в первом номере «Современника» автобиографический очерк Казы-Гирея «Долина Ажитугай», Пушкин сопровождает его восторженным предисловием, которое начинается словами: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно...». Приглашает Пушкин в свой журнал историка войска Донского В. Д. Сухорукова. Сотрудничество это не состоялось. Сухоруков, как человек, причастный к декабризму, находился в ссылке на Кавказе. Пушкин, очевидно, не знал, что в 1829 году он пытался печататься в «Тифлиских ведомостях». Николай I выразил по этому поводу личное неудовольствие, и на Сухорукова обрушились новые преследования.

«Высочайшее повеление» о разрешении Пушкину издавать «Современник» было получено 14 января. Для Пушкина начинался тернистый путь журналиста. Цензором назначили А. Л. Крылова, «самого трусливого и самого строгого из всей нашей братии», как записал в своем дневнике цензор А. В. Никитенко.

Цензурные тяготы Пушкин почувствовал уже при прохождении первого номера журнала. Он открывался стихотворением «Пир Петра Первого». Стихотворение было программным для первого номера и служило камертоном для следующих номеров. Пушкин определил в нем свою нравственную и гражданскую позицию. Оно же продолжало тему, давно и настойчиво возникавшую в сознании и творчестве Пушкина: «поэт и царь», «поэт и власть». В течение многих лет Пушкин чувствовал огромную общественную силу своего поэтического дарования и порывался воздействовать своим воистину могучим пером на самодержца, чтобы побудить его следовать по пути декларированных им в начале царствования преобразований. «Пир Петра Первого» и был еще одной такой попыткой. Отправной точкой для стихотворения послужили слова Ломоносова о милосердии Петра: «Простив он многих знатных особ за тяжкие преступления, объявил свою сердечную радость принятием их к столу своему и пушечною пальбою».



Слова Ломоносова Пушкин переводит в поэтический регистр, разворачивая картину царского пира.

*Над Невою резво вьются  
Флаги пестрые судов;  
Звучно с лодок раздаются  
Песни дружные гребцов;  
В царском доме пир веселый;  
Речь гостей хмела, шумна;  
И Нева пальбой тяжелой  
Далеко потрясена.*

*Что пирует Царь Великий  
В Питербурге-городке?  
Отчего пальба и клики  
И эскадра на реке?  
Озарен ли честью новой  
Русский штык иль русский флаг?  
Побежден ли швед суровый?  
Мира ль просит грозный враг?*

*Иль в отъятый край у шведа  
Прибыл Брантов утлый бот,  
И пошел навстречу деда  
Всей семьей наш юный флот,  
И воинственные внуки  
Стали в строй пред стариком,  
И раздался в честь науки  
Песен хор и пушек гром?*

*Годовщину ли Полтавы  
Торжествует Государь,  
День, как жизнь своей державы  
Спас от Карла русский Царь?  
Родила ль Екатерина?  
Именинница ль она,  
Чудотворца-исполина  
Чернобровая жена?*

*Нет! Он с поданным мирится;  
Виноватому вину  
Отпуская, веселится;  
Кружку пенит с ним одну;  
И в чело его целует,  
Светел сердцем и лицом;  
И прощенье торжествует,  
Как победу над врагом.*

*Оттого-то шум и клики  
В Питербурге-городке,  
И пальба и гром музыки  
И эскадра на реке;  
Оттого-то в час веселья  
Чаша царская полна  
И Нева пальбой тяжелой  
Далеко потрясена.*

Стихотворение было приурочено к определенному историческому моменту. Исполнялось десят лет, как на престол вступил Николай I. Ожидался «всемиловейший манифест» о прощении осужденных декабристов. В исследовательской литературе давно связывают публикацию «Пира Петра Первого» с надеждами в обществе на смягчение участи декабристов. Манифест 14 декабря 1825 года был обнародован только 7 января, но содержание его было известно в придворных и литературных кругах раньше. Содержание манифеста не оправдало ожиданий. В день 10-летия своего царствования Николай I как бы держал экзамен перед русской публикой. Экзамен император не выдержал. Лучшие люди остались в Сибири, и только срок каторги для них был несколько сокращен. Стихотворение звучало укором царю. В 1826 году Пушкин обращался к нему с призывом: «Во всем будь пращурю подобен». «Пир Петра Первого» демонстрировал разницу между царствующим императором и его великодушным пращуром. Так и поняли стихотворение наиболее проникательные современники. Писатель, член Российской академии Л. И. Голенищев-Кутузов, получив первый номер, писал: «Не распространяясь уже о стихе, сама идея стихотворения прекрасна, это урок, преподанный им нашему дорогому и августейшему владыке, — без всякого вступления, предисловия или посвящения журнал начинается этим стихотворением, которое могло быть помещено в середине, но оно в начале, и именно это обстоятельство характеризует его». К стихотворению придрался цензор. Современник вспоминал: «Однажды в субботу сидели у Жуковского Крылов, Краевский и еще кто-то. Вдруг входит Пушкин, взбешенный ужасно. — Что за причина? — спрашивают все. А вот причина: цензор А. Л. Крылов не хочет пропустить в стихотворении Пушкина — Пир Петра Великого — стихов: чудотворца-исполина чернобровая жена... Пошли толки о цензорах...» Как видим, декабристские аллюзии остались за пределами внимания цензора, сомнение вызвало упо-



минание о будущей императрице, которое, очевидно, показалось ему неуважительным. Была остановлена и «Хроника русского» А. И. Тургенева — как «статья, содержащая политические известия». Журнал чисто литературный, без политических статей — таково было главное цензурное условие существования «Современника».

Цензоры обычно брали ответственность за пропущенные статьи на себя, и только спорные вопросы выносились на обсуждение в Цензурный комитет. Однако Крылов счел за правило переправлять в комитет почти каждую из статей, предназначенных для пушкинского журнала. Таким образом «Современник» постоянно подвергался двойной цензуре.

Пушкин уговорил цензора оставить в неприкосновенности «Пир Петра Первого», а «Хроника русского» прошла еще одну цензурную ступень — Главное управление цензуры — и была разрешена самим Уваровым. Некогда Уваров, как и Тургенев, был членом «арзамасского братства». Теперь рядом с Пушкиным были другие арзамасцы — Жуковский, Вяземский. И хотя пути арзамасцев разошлись, выступать против бывших единомышленников и потерять если не их расположение, то уважение Уваров не захотел. Правда, в статье были сделаны вымарки — убрано все, что противоречило программе литературного журнала. Больше всего пострадало описание известного заговора Фиески и процесса над участниками заговора. Ярый бонапартист Фиески в 1835 году организовал покушение на французского короля Луи Филиппа. Связав 24 ружейных ствола, участники заговора устроили «адскую машину», которая должна была убить короля. Заговор не достиг цели — пострадали только придворные, окружавшие короля, а сам король остался невредим. Фиески и его сподвижники мужественно приняли казнь — об этом и рассказывал Тургенев, невольно вызывая сочувствие к казненным. Описание гибели французских революционеров могло напомнить о событиях десятилетней давности, когда на кронверке Петропавловской крепости были казнены декабристы.

Цензурные тяготы сопровождали каждый номер «Современника». Много хлопот доставили Пушкину военные воспоминания Д. Давыдова. Посылая для второго номера статью «Занятие Дрездена», Давыдов писал Пушкину: «Боюсь за цензуру. <...> Увидим: смелым Бог владеет». Воспоминания



Давыдова об этом эпизоде войны 1812 года не соответствовали официальным данным. 13 марта 1813 года он, послушавшись приказа не занимать Дрезден собственными силами, совершил блистательный рейд, занял город и заключил перемирие с французским генералом Дюрютом. Понадобилось заступничество Кутузова, чтобы этот эпизод не стал началом крушения карьеры Давыдова. Виновником своих бед Давыдов считал своего непосредственного начальника генерала Винценгероде и всячески стремился, чтобы история захвата Дрездена появилась в печати в правдивом освещении.

По существующим правилам статьи, описывающие военные действия, направлялись военному министру графу Чернышеву, а от него шли в Военно-цензурный комитет, который следил, чтобы статьи были основаны на строго официальных реляциях. «Защита Дрездена» подверглась жестокой правке. «Как бы то ни было, — писал Пушкину с наигранной бодростью Давыдов, — а Эскадрон мой, как ты говоришь, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею Ценсуры, прошу тебя привести в порядок: убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с остальным числом всадников — ура! и снова в атаку на военно-цензурный Комитет». И тут же он предлагает Пушкину еще одну статью, которая, по его мнению, «пройдет через военную цензуру нос кверху, фуражка набекрень — и с сигаркою в зубах». Эта новая статья называлась «О партизанской войне». В ней Давыдов, основываясь на собственном опыте, излагал основы партизанской войны. И снова надежды пройти через военную цензуру «нос кверху» не оправдались. Статья появилась в «Современнике» с большими вымарками. Этот эпизод вызвал широко известные горькие слова Пушкина в письме к Д. Давыдову: «Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смиренны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. — Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царствования покойного императора, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову».

Не удалась попытка Пушкина напечатать в «Современнике» свою статью «Александр Радищев», в которой он воспользовался проблематикой радищевского «Путешествия...»

для постановки важных общественно-политических проблем своего времени. Не пропустила цензура и записку «О древней и новой России» Карамзина. Записка была написана еще в 1811 году и содержала неллицеприятную критику либеральных начинаний Александра I и смелую оценку предыдущих царствований — Екатерины и Павла. Не только сама статья, но и упоминание о ней в печати вызывало сомнение цензора. Когда на заседании Цензурного комитета рассматривалась статья Пушкина «Российская академия», А. Л. Крылов обращал специальное внимание комитета на упоминание о «сочинении Карамзина Древняя и новая Россия, которое никогда не было напечатано и известно весьма немногим». Статью Пушкина комитет разрешил печатать полностью. Позднее П. В. Анненков напишет: «Пушкин был чуть ли не первым человеком у нас, заговорившим публично „О древней и новой России“ Карамзина. Дотоле трактат ходил по рукам секретно, в рукописях, как оппозиционный и, по мнению других, даже агитаторский голос непризнанного советчика».

С купюрами были напечатаны стихотворения Ф. И. Тютчева, дебютировавшего в пушкинском журнале. Без неприятностей не обошлась и публикация «Долины Ажитугай», которую с таким восторгом принял Пушкин в «Современник». От Бенкендорфа последовал выговор с напоминанием, что военные и гражданские чиновники могут печатать свои литературные произведения только с разрешения директоров департаментов или начальников штабов. «Уведомляя о сем вас, милостивый государь,— писал Бенкендорф,— я покорнейше прошу не помещать в издаваемом вами журнале ни одного произведения чиновников высочайше вверенного мне Жандармского корпуса, лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона и собственного конвоя Государя Императора, не получив на то предварительного моего или начальника моего штаба разрешения».

Первый номер «Современника» предполагали выпустить к 1 апреля. Цензурные мытарства задержали его выход на 11 дней. Пушкин понял, что борьба с цензором Крыловым будет постоянной, и сделал попытку вырваться из-под его опеки. 6 апреля он обратился к Дондукову-Корсакову с просьбой «о дозволении выбрать себе еще одного цензора». Мотивировал Пушкин свою просьбу «излишней мнительностью» Крылова и необходимо-

**СОВРЕМНИКЪ,**

**ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЬ,**

**ИЗДАВАЕМЫЙ**

**АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.**

*ПЕРВЫЙ ТОМЪ.*

**САНКТПЕТЕРБУРГЪ.**

**ВЪ ГУТТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФІИ.**

**1836.**

*Титульный лист журнала «Современник»*



стью «ускорить рассмотрение» его журнала, «который без того остановится и упадет».

Пушкин просил возможности выбрать цензора. Председатель Цензурного комитета цензора назначил. Пушкину было сообщено, что вторым цензором его журнала будет П. И. Гаевский. Ответное письмо Дондукова-Корсакова, в котором сообщалась эта новость, внешне вполне доброжелательно. Он пишет, что «рад сему случаю» доказать «свою всегдашнюю готовность содействовать <...> скорейшему изданию журнала и сочинений» поэта. За внешней доброжелательностью скрывалась издевательская интонация. Что из себя представляет цензор Гаевский, знали и Пушкин, и Дондуков-Корсаков, и сослуживцы Гаевского. Вот запись в дневнике Никитенко, сделанная после этого назначения: «Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печати известия вроде того, что такой-то король скончался».

С Гаевским у Пушкина еще в 20-е годы были столкновения. В 1827 году Гаевский отказался пропустить стихотворения «19 октября» и «Я помню чудное мгновенье». «В стихотворениях сих автор, — писал он, — говоря о самом себе, употребляет выражения, которые напоминают об известных обстоятельствах его жизни». Под «обстоятельствами жизни» подразумевалась ссылка поэта. Сомнение цензора вызвали такие строчки: «Поэта дом опальный, о П. мой, ты первый посетил/Ты усладил изгнания день печальный»; «Когда постиг меня судьбины гнев»; «В глуши, во мраке заточенья». Подчеркнул цензорский карандаш и строку, где поэт называет себя «опальным затворником».

«Содействие» Дондукова-Корсакова оказалось напрасным. Гаевскому Пушкин предпочел Крылова, во всяком случае, через руки Гаевского не прошла ни одна статья для «Современника». В июле, когда была закончена «Капитанская дочка», Пушкин постарался обойти и Крылова. Роман о дворянине, который нарушил офицерский долг и прибегнул к помощи самозванца, был крепким орешком для цензуры. Пушкин решил печатать его отдельным изданием и отдал цензору Корсакову. «Вы один у нас умели сочетать щекотливую должность цензора с чувст-

вом литератора», — писал он Корсакову, посылая первую половину своего романа. И лишь после того как разрешение на публикацию было получено, Пушкин согласился на уговоры Краевского и владельца типографии Б. А. Враского поместить роман (до отдельной публикации) в четвертом номере «Современника». Несомненно, что предварительному разрешению Корсакова Пушкин был обязан тем, что роман не возбудил подозрительности цензора Крылова.

29 марта, в день Пасхи, скончалась Надежда Осиповна. Пушкин отвез тело матери в Святые Горы, где она и была погребена. Из Петербурга он уехал 8-го и вернулся 16 апреля. За пять дней до его приезда вышел первый номер «Современника». Сбылась наконец долгожданная затея — издание журнала, — затея, которую Пушкин лелеял еще в ссылке. Среди сотрудников и помощников не было уже Дельвига, издателя «Литературной газеты», близкого друга, вокруг которого собиралась «бедная кучка» литературных единомышленников.

Пушкин, гуляя по городу, зашел на Волково кладбище, где был похоронен Дельвиг. В бумагах поэта сохранилась автобиографическая запись, которая толкуется исследователями как план стихотворения: «Я посетил твою могилу — но там тесно; les vorts m'en distrai<ent> теперь иду на поклонение в Ц.<арское> С.<ело> <...> (Gray) les jeux deu Lycée, nos leçons... Delvig et Kuchel<beker>, la poesie<sup>1</sup> — Баб.<олово>».

Это стихотворение не было написано. Но впечатление от «тесного» петербургского кладбища отозвалось в стихотворении «Когда за городом задумчив я брожу», написанном 14 августа уже на Каменном острове.

В кругу литераторов журнал Пушкина был оценен высоко. «Ваш Современник цветет и красуется, — писал Пушкину Н. М. Языков, — жаль только, что выходит редко; лучше бы книжки поменьше да лучше чаще». Доброжелательный отзыв на «Современник» поместил в седьмом номере «Молвы» Белинский. Правда, он не сумел по достоинству оценить произведения самого Пушкина, напечатанные в журнале. «„Пир Петра Первого“ отличается бойкостью стиха и оригинальностью выражения. „Скупой рыцарь“, отрывок из Ченстонновой трагико-

<sup>1</sup> «...Покойники меня отвлекают... (Грей) лицейские забавы, наши уроки... Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия» (фр.).



медии, переведен хорошо, хоть как отрывок и ничего не представляет для суждения о себе». Вот и все, что было сказано о Пушкине.

Несколько задиристая, но основательная статья молодого критика не задела Пушкина. Его не огорчило, что Белинский без восторга отнесся к его собственным произведениям. Он почувствовал его неординарность и увидел талант, который дает первые ростки и много обещает. Приехав в начале мая в Москву, он через Нащокина передал том «Современника» Белинскому («тихонько от Наблюдателей», т. е. от сотрудников «Московского наблюдателя», против которых резко выступал Белинский). Белинского, как мы знаем теперь, он собирался привлечь к работе в своем журнале. Через два года Белинский будет с горечью вспоминать, что «критики в один голос заговорили о мнимом падении таланта Пушкина» и что «сцены из комедии „Скупой рыцарь“ едва были замечены, а между тем, если правда, что, как говорят, это оригинальное произведение Пушкина, они принадлежат к лучшим его созданиям». Но этих слов Пушкин уже не прочтет.

Иначе отнеслись к «Современнику» представители более широких слоев читающей публики. Некий К. Н. Лебедев, чиновник Департамента юстиции, получив журнал, записал в дневнике: «Я получил журнал Пушкина „Современник“. И стоило ждать его три месяца... Что такое 1-й номер „Современника“? Кое-какие стишки, кое-какие статейки, кое-какие разборцы. Замечательного только „Рифма“ б. Розена и о „Журналистике“ самого издателя да разве еще учебный разбор Annuair'a Парижского. <...> Не таким должен быть „Современник“. Наше время повыше этого. Он должен быть литературно-ученый. Нынче учености не боятся и дамы». И дальше о прозе журнала: «Посмотрите, что вы поместили в 1 №? Повести г. Гоголя: ну можно ли помещать такие повести? Путешествие в Арзрум; ну не совестно ли занять половину книги почтовым дорожником? Библиография: нам ужасно интересны упомянутые там книги».

В четырех номерах «Современника», которые успел выпустить Пушкин, появилось много значительных произведений.

Здесь были опубликованы «Нос», «Коляска», «Утро делового человека» Гоголя, стихи Жуковского, Тютчева, Кольцова, Языкова, записки Д. Давыдова и Н. Дуровой, критические и

публицистические статьи Вяземского, Гоголя, В. Одоевского, Розена. В подготовке материалов для журнала обозначилось тяготение Пушкина к документальной и научно-популярной прозе, к сатирическим и этнографическим очеркам. Сам Пушкин кроме упомянутых «Пира Петра Первого», «Путешествия в Арзрум», «Капитанской дочки», «Скупого рыцаря» напечатал в журнале «Отрывок из неизданных записок дамы» («Рославлев»), стихотворение «Из А. Шенье» (без подписи), «Родословная моего героя», «Полководец», «Перед гробницею святой», несколько исторических анекдотов, а также критических статей и рецензий.

При всем блеске художественного, критического, публицистического материала «Современник» не имел успеха у публики: он собрал всего 700 подписчиков. Первые две книжки журнала Пушкин печатал тиражом 2400 экземпляров (в два раза меньше, чем тираж «Библиотеки для чтения»), тираж третьего тома уменьшился до 1200 экземпляров и четвертого — до 900. Фактическая распродажа издания была еще меньше: после смерти Пушкина 109 полных комплектов «Современника» за 1836 год были взяты на учет опекой над его детьми и имуществом. Нераспроданные экземпляры первых томов, не попав в опись опеки, рассматривались как макулатура. Таким образом, учитывая, что 700 экземпляров распределялось по подписке, в розничной продаже было реализовано меньше ста экземпляров. «Современник» не только не принес ожидаемой прибыли, но вынудил Пушкина сделать новые долги. Расходы на бумагу, гонорары (участники журнала получали 300 рублей за лист), печать составили, по подсчетам Н. Смирнова-Сокольского, 25 000 рублей.

Получив разрешение на издание чисто литературного журнала, Пушкин понимал, что для его успеха необходимо возможно чаще и шире затрагивать актуальные общественно-политические вопросы, однако его попытки выйти за пределы литературного издания разбивались о сопротивление цензуры.

Провинциальному читателю, воспитанному «Библиотекой для чтения», журнал Пушкина был чужд и неинтересен. Из семисот подписчиков Пушкин не имел и полутора ста иногородних.

Лишенный политической остроты, журнал не получил должной поддержки и в кругах столичной интеллигенции. Сложившееся мнение о журнале передает С. Н. Карамзина в пись-



ме брату Андрею: «Вышел второй номер „Современника”. Говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разобрал ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее). Тяжко сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!»

Еще не видя журнала, Карамзина соглашается с мнением Булгарина. В своем отзыве на «Современник» рецензент «Северной пчелы» лицемерно сетовал: «Поэт променял золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста; он отдал даром свою свободу, которая прежде была ему так дорога, взамен ее взял тяжкую неволю; мечты и вдохновения он погасил срочными статьями и журнальною полемикою; князь мысли стал рабом толпы... и для чего он променял свою блестящую завидную судьбу на тяжкую долю труженика? Для того чтобы иметь удовольствие высказать несколько горьких упреков своим врагам, т. е. людям, которые были не согласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых, совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола <...> его значительность <...>. Между тем поэт почил на лаврах слишком рано, и, вместо того чтоб отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдает толстые, тяжелые книжки сухого скучного журнала, наполненного чужими статьями».

Слов «светило, в полдень угасшее» нет у рецензента «Северной пчелы», нет их и в других откликах на журнал или поэзию Пушкина. Услышанное где-нибудь или придуманное самой Софьей Николаевной определение сказано не по злобе — в доме Карамзиных к Пушкину относились и дружески, и, как мы видим, даже сочувственно. Это сочувствие пронзительной болью должно было отзываться в душе поэта. Мнение Карамзиной в какой-то степени отражает общий спад интереса к творчеству Пушкина.

Читательский холодок Пушкин почувствовал еще в конце 20-х годов. «Толпа» перестала понимать поэта, и он отстаивал свое право на самобытность, на независимость от ее вкусов и требований. С годами круг «толпы» расширился, захватывая и интеллигентные слои русского общества.

В близких Пушкину кругах чтити Бенедиктова, в нем видели будущее русской поэзии. Широкая публика читала



Булгарина. В 1829 году появился «Иван Выжигин», затем «Петр Иванович Выжигин», «Дмитрий Самозванец». Две тысячи «Ивана Выжигина» разошлись за пять дней, а в течение двух лет было распродано 7000 экземпляров романа. Пушкин таких тиражей не знал. Авантюрно-нравоучительный сюжет «Выжигина», примитивный патриотизм, сусальные сцены из жизни народа — все это было по вкусу грамотным обывателям.

В 30-е годы необычайной популярностью пользовались повести Марлинского. Под псевдонимом «Марлинский» выступал бывший издатель «Полярной звезды» и автор исторических повестей декабрист А. А. Бестужев. В 1829 году ему разрешили вступить рядовым в действующую армию, которая вела боевые действия на Кавказе. Увлекательные рассказы о полной тревоге и отваги жизни, о стычках с горцами, страстно-лирические описания диких красот Кавказа, цветистый слог — все это отвечало вкусам читателей романтической прозы Марлинского. «Все были перед ним на коленях», — вспоминал о Марлинском Белинский. Журналы, в которых печатался Марлинский, шли нарасхват.

«Современник», как мы видели, постигла другая судьба. Журнал Пушкина, как и все его творчество последних лет, был больше обращен к потомкам, чем к современникам.

Поэт, очевидно, тяжело переживал явный неуспех «Современника». Раньше «толпа» не понимала его творений, теперь «толпа» не приняла его новое детище — журнал, в котором нашло выражение гордого самосознания, утверждения громадной силы искусства и великого назначения поэта.

1 августа на дачу Пушкина на Каменном острове заехал его приятель Н. А. Муханов. Пушкин прочитал ему незадолго до того написанное стихотворение. От Муханова о стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» узнал Александр Карамзин. После беседы с Мухановым он пишет брату Андрею: «Старший (из братьев Мухановых. — Я. Л.) накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упавшим духом... вздыхающим по потерянной фаворитке публики. Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней».



Знаменательно, что Муханову больше всего запомнилась последняя строфа пушкинского стихотворения:

*Веленью Божию, о муза, будь послушна,  
Обиды не страшась, не требуя венца,  
Хвалу и клевету приемли равнодушно  
И не оспоривай глупца.*

Пророческие слова Пушкина о значении его творчества для будущих поколений прошли мимо Муханова, он уловил в них только отклик поэта на непонимание читателей и враждебные отзывы критики. Строфа запомнилась, очевидно, потому что соответствовала настроениям самого Муханова, подтверждала его собственное отношение к Пушкину как поэту, талант которого угасает.

Мы не знаем, о чем разговаривали Александр Карамзин и Муханов, какие слова произносились в адрес Пушкина. И только признание самого Карамзина, сделанное уже после смерти поэта, возможно, восстанавливает эту часть их беседы. 13 марта 1837 года, после того как Жуковский и Дубельт закончили разбор бумаг Пушкина, Карамзин пишет брату: «Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделана большая перемена, прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений et une grâce infinie jointe à beacoup de sentiment et de chaleur<sup>1</sup>, в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта, сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает и на каждом стихе задумываешься и чувствуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!!! Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!»

В бумагах Пушкина были найдены «Медный всадник» (раньше не пропущенный «высочайшим цензором»), «Каменный гость», «Русалка», «Дубровский», «История села Горюхина», «Египетские ночи», знаменитый «Каменноостровский цикл»

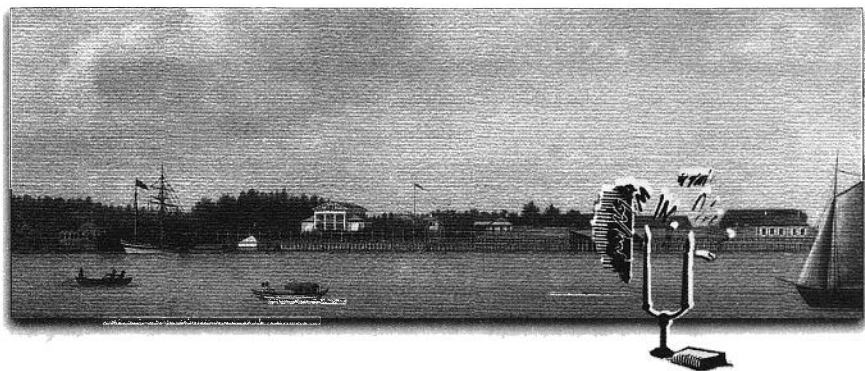
---

<sup>1</sup> И бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и жаром души (фр.).



его стихотворений и многое другое. Пушкину было чем наполнять свой «Современник», поэтому и готовил он пятый том, надеясь, что подлинная литература возьмет верх над обывательскими вкусами. Его последнее письмо, как мы знаем, было написано в день дуэли к писательнице А. О. Ишимовой с просьбой перевести для «Современника» «несколько из драматических очерков» английского поэта и драматурга Барри Корнуола. Мы можем сказать, что одна из последних мыслей Пушкина перед отъездом на Черную речку была о будущем его журнала. Пушкин хотел и собирался жить.

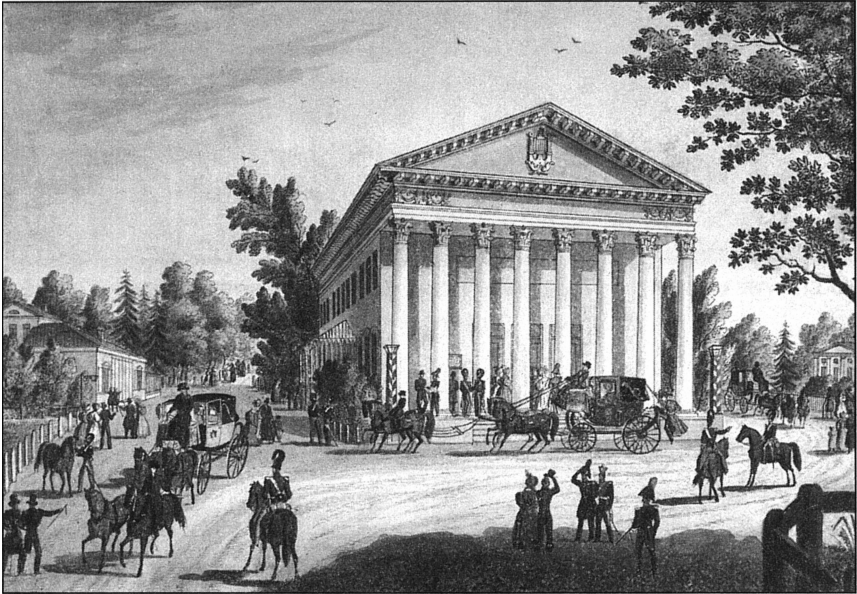




## Каменный остров

**В** 1836 году Пушкины изменили место летнего отдыха и сняли дачу Ф. И. Дольво-Добровольского на Каменном острове (ныне участок дома 2/35 на углу набережной Большой Невки и Большой аллеи; дом не сохранился).

Владельцами Островов были члены царской фамилии и знатные вельможи. Французский посол при дворе Николая I де Барант писал на родину: «Острова составляют одну из красот Петербурга. Вообразите себе по ту сторону реки, за мостом, целый лабиринт, около двух квадратных верст дерна, лесов, садов, перерезанных тысячами потоков, то маленькими ручейками, то речками или озерами; все это граничит с большими сосновыми лесами, прилегающими к мо-



*Каменноостровский театр*

Неизвестный художник. 1830

рю». Острова были излюбленным местом отдыха петербургской знати. В Каменноостровском театре в летний сезон выступала французская труппа. По вечерам площадь перед театром заполнялась экипажами. С окрестных дач и из города на спектакли съезжался светский Петербург. На правом берегу Большой Невки стоял кавалергардский полк.

Инициатива выбора, надо думать, принадлежала Наталье Николаевне. Анна Николаевна Вульф писала матери из Петербурга, что жена Пушкина «на будущие барыши (имелись в виду барыши от «Современника») наняла дачу на Каменном острове вдвое дороже прошлогоднего». Мы не знаем, сколько платил Пушкин за дачу на Черной речке, но, судя по объявлениям, дачи в районе Островов из 11—12 комнат стоили около 900 рублей в месяц. На Черной речке у Пушкиных было 15 комнат. Дача, которую они сняли у Доливо-Добровольского, состояла из двух небольших домов, стоящих на одном участке. Дома были двухэтажные и в каждом было по 7—8 комнат.

Но за дачу пришлось платить, не дожидаясь доходов от «Современника». «На даче ли ты? Как ты с хозяином управи-

лась?» — спрашивает Пушкин жену 6 мая. И в следующем письме: «Ты уже, вероятно, в своем загородном болоте, что-то дети мои и книги мои? Каково-то перевезли и перетащили тех и других?»

На даче на Каменном острове 23 мая, за несколько часов до приезда Пушкина из Москвы, Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью. Когда карета Пушкина подкатила к даче, жена его спала, и только на следующий день он поздравил ее и отдал подарок Нащокина — ожерелье.

На даче поэт надеялся обрести тишину и покой. Книги, о которых он спрашивал Наталью Николаевну, были отобраны им для чтения и для работы. Петербург летом был невыносим для городских жителей. По словам современника, «облака пыли засыпают с ног до головы, и если даже согласиться развезжать в карете с поднятыми стеклами в удушливый зной, то и так не защитит себя от мелкой пыли. Это превращение петербургских улиц в африканскую степь происходит от того, что при мощении их камни покрывают слоем мелкого песку».

На даче Пушкин интенсивно работал. К нему часто приезжали друзья и сотрудники «Современника». Дача на Каменном острове вошла не только в петербургский быт, но и в русскую литературу. Здесь была закончена «Капитанская дочка», написаны поэтическое завещание Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и знаменитый цикл стихотворений, который обычно именуется «Каменноостровским» («Отцы пустыньники и жены непорочны...», «Как с древа сорвался предатель ученик...», «Мирская власть» и «Из Пиндемонти»), статьи для «Современника».

Пушкин часто бывает в своей городской квартире. Он навещает знакомых, но видится только с ближайшими друзьями. Недавняя смерть матери освобождала его от лишних визитов и встреч. «Я в трауре и не езжу никуда», — отвечал он на все приглашения. Часто заходит в книжные лавки и следит за новыми поступлениями. Мы знаем, что, например, 25 и 29 мая, 2 июня он покупает 30 томов в магазине Беллизара (на Невском — напротив Строгановского дворца). Среди купленных у Беллизара книг на французском языке — роман Бальзака «Старик», поэма Ламартина «Жослер», нашедший в Париже роман Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века», роман Бульвера-Литтона «Риэнци», сочинения Гофмана в шестнадцать



А. С. Пушкин

Автопортрет, шаржированный под Данте. 1835

томах (также на французском языке) и другие книги. Заглядывал он и в книжные магазины Диксона и И. Глазунова (в Гостином дворе), и в магазин И. Лисенкова в доме Пажеского корпуса (теперь Садовая ул., 26) и всякий раз уходил не с пустыми руками, хотя накопились уже кипы неоплаченных счетов. Одновременно с покупками поэт просматривал новые поступления. Мемуарист вспоминал: «Пушкин посещения делал к Лисенкову довольно часто, когда издавал журнал „Современник“, ему нужно было знать о новых книгах для помещения беглого разбора о них в его журнале; иногда ему приходила охота остеречь у Лисенкова в магазине над новыми сочинениями: взявши



книгу в руки в прозе, быстро пробежал ее, читая гласно одно лишь предисловие, и по окончании приговаривал, что он имеет об ней полное понятие; стихотворные же книги он просматривал еще быстрее и забавнее, и Лисенков иногда невольно хохотал, и сам Пушкин улыбался, читая только одни кончики слова (рифмы), и, закрывая книги, произносил иногда: „А! бедные!“, а заглавия их выписывал дома из газет своих».

В один из первых дней июня поэт-крестьянин М. Суханов приносит Пушкину только что вышедшую книгу своих стихотворений «Время не праздно». В эти же дни в Петербург приезжает знаменитая героиня Отечественной войны Надежда Андреевна Дурова. С помощью Пушкина она собиралась издать свои «Записки». Поэт сразу откликнулся на ее приглашение и 7 июня приехал с визитом в гостиницу Демута, где она остановилась. Тут произошел забавный эпизод, который, наверное, не без удовольствия рассказывал потом поэт домашним и друзьям. Дурова по давней военной привычке носила мужской костюм и говорила о себе, пользуясь мужским родом, «был!.. пришел!.. пошел!.. увидел!..» В автобиографической повести она вспомнила, что Пушкин в этих случаях при разговоре с ней «всегда приходил в замешательство». Расставаясь, Пушкин взял ее рукопись, поблагодарил за честь, которую она делает ему, избирая его издателем записок, и, оканчивая свою речь, поцеловал ей руку. «Я поспешно выхватила ее, — вспоминала Дурова, — покраснела и уже вовсе не знаю для чего сказала: „Ах, Боже мой! Я так давно *отвык* от этого!“ На лице Александра Сергеевича не показалось и тени усмешки». При следующих встречах с Дуровой поэт уже называл ее мужским именем, более для нее привычным.

Бывает Пушкин в Петербурге у М. Ю. Виельгорского, у поэта В. Г. Теплякова, у Брюллова и, конечно же, у Жуковского и Вяземского. 16 июня Вяземский устроил вечер в честь приехавшего из Парижа известного французского литератора Леве-Веймара. О том, что вечер удался, можно судить по письму Вяземского к жене, посланному 20 июня: «На днях был у меня вечер для Жуковского прощальный, он поехал на шесть недель в Дерпт, а для Loeve Viemar встречальный. Все было взято напрокат и вышло прекрасно. Une soirée des célébrités <Вечер знаменитостей>: Брюллов, Лев Веймар, Пушкин, Крылов, Жуковский, я, Бартенев и еще кое-кто...»



*М. Ю. Виельгорский*

П. Ф. СОКОЛОВ

Леве-Веймар — издатель «Revue des Deux Mondes» и сотрудник многих французских журналов — приехал в Петербург с солидным запасом рекомендаций. Так, Проспер Мериме писал С. А. Соболевскому: «Литературная репутация г. Леве-Веймара, который передает вам это письмо, будет для вас достаточной рекомендацией. Позвольте мне надеяться, что кроме этого вы не откажетесь видеть в нем одного из моих друзей».

В дневнике Н. Кукольника есть такая запись: «В Петербург приехал Луи-Веймар... Русь танцует около него, литераторы просятся в Revue, кланяются о литературной славе в Европе: очень нужно». Новый кумир петербургской публики Кукольник явно не может скрыть зависти и раздражен тем, что не попал в круг избранных литераторов. Собравшиеся у Вяземского литераторы, конечно, не имели корыстных целей. Друг Мериме, человек блестящего ума, хорошо знакомый с новинками европейской литературы, был, несомненно, интересен всем, кто был на вечере у Вяземского. В беседе Леве-Веймара с Пушкиным вы-

яснились и общность их интересов, и взаимная симпатия. Пушкин пригласил гостя к себе на дачу.

Еще в 1827 году Мериме издал под видом сербских песен свои собственные стихи; Пушкин поддался на эту мистификацию и перевел их на русский язык. Когда в 1834 году в «Библиотеке для чтения» появились «Песни западных славян», Пушкин уже знал о своей ошибке. Эта сравнительно недавняя история, по-видимому, всплыла уже при первом разговоре русского поэта с другом Мериме и могла быть поводом, вызвавшим интерес Леве-Веймара к русскому фольклору. Пушкин перевел для него на французский язык одиннадцать русских народных песен.

О своем визите к Пушкину с большой теплотой вспоминал Леве-Веймар после смерти поэта. Позже, передавая эти песни французскому ученому Фельде, он писал: «Вот неизданные автографы Пушкина. Прошу вас их принять. Они драгоценны, так как труд этот был им совершен для меня одного, за несколько месяцев до его кончины, на даче Каменно-Островской, т. е. на одном из Невских островов под Петербургом, где я очень приятно проводил время».

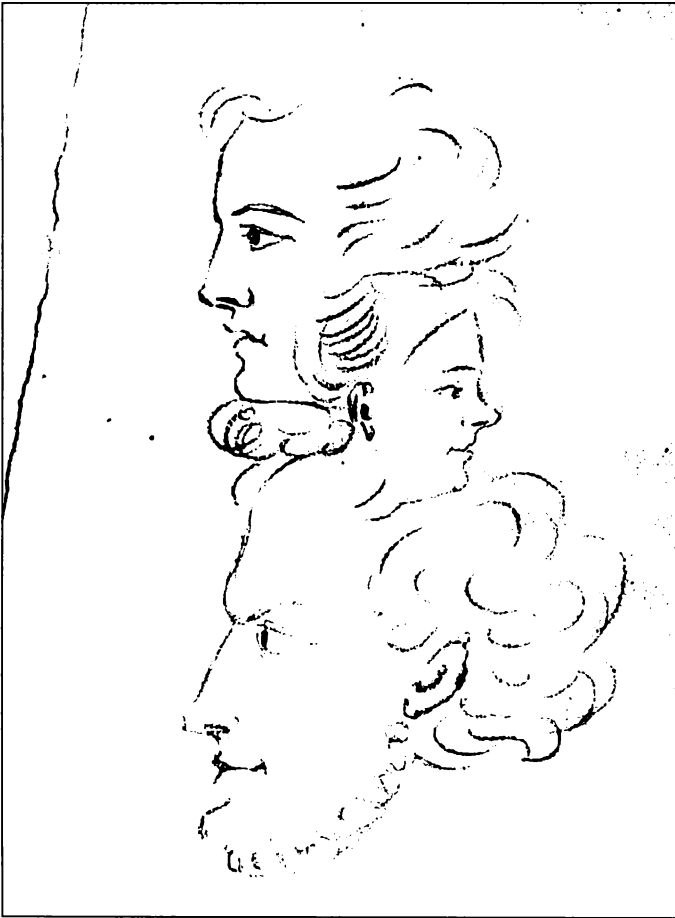
Пушкин познакомил гостя из Парижа со своей семьей. Леве-Веймар вспоминал потом и «прекрасную смуглую мадонну» — жену поэта, — и его самого в его «веселом жилище с молодой семьей и книгами, окруженного всем, что он любил». Гость не заметил напряженности, которая уже вошла в дом поэта, и даже не оценил всей трагичности сказанных ему горьких слов Пушкина: «Я более не популярен». Дом поэта казался гостю из Парижа наполненным семейным счастьем и покоем. Его увлекала и яркая, оживленная беседа Пушкина о его исторических занятиях. «Его беседа на исторические темы, — писал он, — доставляла удовольствие слушателям; об истории он говорил прекрасным языком поэта, как будто сам был в таком же близком общении со всеми этими старыми царями, в каком жил с Петром Великим его предок».

Совсем другое впечатление произвел дом поэта на Карла Брюллова. Пушкин познакомился с ним во время весенней поездки в Москву, быстро подружился и перешел на «ты». Они часто встречались. За несколько дней до дуэли Пушкин вместе с Жуковским был в мастерской Брюллова. Пушкин просил подарить ему один из рисунков, но рисунок был уже обещан кня-



гине Салтыковой, и Брюллов предложил сделать для Пушкина другой. Судьба не дала художнику возможности выполнить это обещание.

В Петербург Брюллов приехал в конце мая, вскоре после приезда Пушкин и привез его к себе на дачу. Вот как вспоминал художник этот визит к Пушкину: «...вечером ко мне пришел Пушкин и стал звать к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отказывался, но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети Пушкина уже спали, он их будил и выносил



А. П. и К. П. Брюлловы

Рисунок А. С. ПУШКИНА. 1830-е годы

ко мне поодиночке на руках. Не шло это к нему, было грустно, рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья, и я его спросил: «На кой черт ты женился?» Он мне отвечал: «Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать, — и женился».

Чутье друга и художника подсказало Брюллову, что в доме поэта не все было благополучно. Мы знаем, что Пушкин очень хотел, чтобы Брюллов написал портрет его жены. Еще в Москве, только познакомившись с Брюлловым, он обращался к Наталье Николаевне: «Неужто не будет у меня твоего портрета, им написанного! Невозможно, чтоб он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя; пожалуйста не прогони его, как прогнала ты прусака Криднера». Однако портрет Натальи Николаевны Брюллов не написал. Может быть, события, которые разворачивались в семье поэта и о которых, начиная с осени 1836 года, уже судачили в свете, подтвердили его первое впечатление о семейной жизни поэта, внушили предубеждение к его жене и даже ее красота не дала ответа на вопрос: «На кой черт ты женился?»

На даче у Пушкина бывали и другие его друзья — Жуковский, Вяземский, Виельгорский, Плетнев, Соболевский, Александр, Владимир и Софья Карамзины. Наталья Николаевна после родов долго не могла оправиться и больше месяца не спускалась из верхних комнат к гостям. «Вижу и кланяюсь с ней только через окошко», — писал Вяземский жене.

Сестры развлекались без нее. Места вокруг дачи были замечательные, зеленые аллеи Островов цвели и благоухали — все располагало к веселым кавалькадам. 27 мая на дачу к Пушкину верхом заехали за сестрами Гончаровыми С. Карамзина, А. Трубецкая, Е. Балабин и И. Мальцев. На следующий день молодые люди уже вместе с Дантесом (накануне он был дежурным по полку) снова оказались на даче. Об этих двух днях мы знаем со слов С. Карамзиной. Верховые прогулки с кавалергардами продолжались и дальше, до 15 июня, когда кавалергардский полк выступил на маневры. Дантес, вероятно, успешно продолжал начатую еще прошлым летом двойную игру — ухаживал за Екатериной Гончаровой и не скрывал своих чувств к жене поэта.

26 июня Наталья Николаевна первый раз в карете выехала на прогулку. Сестры сопровождали ее верхом. На следующий



день, 27 июня, новорожденную Наталью Пушкину крестили. Восприемниками были Е. И. Загряжская и М. Ю. Виельгорский. Вечером крестины были отмечены семейным праздником. А потом для жены поэта и ее сестер началась привычная дачная жизнь — поездки в театр, прогулки верхом в сопровождении кавалергардов. Об одной из таких поездок мы знаем из письма Екатерины Гончаровой брату Дмитрию: «Мы получили твое письмо, — сообщает она 1 августа, — вчера, в карете, в тот момент, когда нам перепрягали лошадей в городском доме, чтобы нам отправиться в лагерь, где мы должны были присутствовать на фейерверке, устраиваемом гвардией, и который из-за непогоды должен состояться сегодня, но мы не поедем. Мы выехали вчера из дому в двенадцать часов с половиной пополудни и в 4 часа прибыли в деревню Павловское, где стоят кавалергарды, которые в специально приготовленной для нас палатке дали нам превосходный обед, после чего мы должны были отправиться большим обществом на фейерверк. Из дам были только Соловая, Полетика, Ермолова и мы трое, вот и все, и затем офицеры полка, множество дипломатов и приезжих иностранцев, и если бы испортившаяся погода не прогнала нас из палатки в избу к Соловому, можно было бы сказать, что все было очень мило. Едва лишь в лагере стало известно о приезде всех этих дам и о нашем, императрица, которая тоже там была, сейчас же пригласила нас на бал в свою палатку, но так как мы все были в закрытых платьях и башмаках и к тому же некоторые из нас в трауре, никто туда не пошел, и мы провели весь вечер в избе у окон, слушая, как играет духовой оркестр кавалергардов. Завтра все полки вернутся в город, поэтому скоро начнутся наши балы. В четверг мы едем танцевать на воды».

Конные прогулки «прекрасных амазонок» продолжались вплоть до переезда в город, теперь уже на набережную Мойки, 12, — последнюю квартиру поэта.

В Петербург они вернулись 12 сентября, а уже через неделю Софья Николаевна Карамзина, рассказывая брату Андрею, как прошел день ее ангела 17 сентября, пишет известные строки: «...получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогой вниманием



*С. Н. Карамзина*

Копия Е. Б. БАРСУКОВОЙ, с оригинала П. Н. ОРЛОВА



останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же штучки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой в конце концов все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как все это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея (ты знаешь, что она — одно из его отношений, и притом рабское), как вдруг вижу — он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. „Ну, что же?“ — „Нет, не пойду, там уж сидит этот граф“. — „Какой граф?“ — „Д'Антес, Геккерн, что ли!“» (слова, выделенные курсивом, во французском тексте написаны по-русски. — Я. Л.).

«Озабоченность» Пушкина летом 1836 года объясняется не только поведением Дантеса. Как никогда ранее он понимал, что, порвав с Петербургом, он сможет обрести независимость, сбросить иго долгов, а теперь еще и отвратить от дома своего светские пересуды. Душевная стесненность, так тонко подмеченная Брюлловым, давно не оставляла поэта и, естественно, проникала в его творчество. Внутреннюю свободу поэта ограничивала «мирская власть» — так назовет Пушкин одно из написанных на Каменном острове своих стихотворений.

Когда-то «побежденный учитель» Жуковский подарил «победившему ученику» Пушкину свой портрет, который мы и сейчас видим в кабинете поэта в его последней квартире на Мойке. Рядом с датой Жуковский на портрете написал: «Великая пятница». «Великая пятница» — день, когда подходил к концу страстной путь Христа. Жуковский поэтическим чутьем угадал в молодом поэте гения. Тогда, в 1820 году, слова «Великая пятница» не звучали как предупреждение, а может быть, Жуковский предчувствовал, что путь «победившего ученика» будет тернист. Слова его оказались пророческими. Страстной путь поэта проходил через унижения и ссылку, потерю друзей и равнодушные публики, через начальственные окрики шефа жандармов и лицемерное покровительство царя.

В последний год своей жизни Пушкин отчетливо сознавал значение и величие своего поэтического дела. «Нет, весь я не умру», — написал он всем известные строки на Каменном острове, за несколько месяцев до трагической гибели. Это было



еще одно прямое обращение к потомкам. В последние годы в дневнике и письмах жене часто (то шутливо, то серьезно) упоминаются «потомки» — не дети и правнуки своих детей, а дети и правнуки читателей, которым казалось, что талант поэта исчерпан. Собственную судьбу Пушкин вписывал в судьбу мыслящего, неординарного человека, которому выпало жить в России в эпоху Александра I и Николая I. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом», — вырвалось у него весной 1836 года в одном из писем жене.

В третьем томе «Современника» печатается написанное еще в 1836 году стихотворение «Полководец». Оно обращено к Барклаю-де-Толли — великому, но непризнанному полководцу, наметившему стратегический план войны с Наполеоном, — план, который волею судеб выполнил другой полководец — Кутузов. В марте 1836 года Пушкин посетил мастерскую скульптора Б. И. Орловского, где видел памятники Барклаю-де-Толли и Кутузову, поставленные позднее (уже после его гибели) у Казанского собора. В написанном под впечатлением от этого посещения стихотворении «Художник» он точно определил роль каждого из полководцев в Отечественной войне: «Здесь начинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов».

Концовка «Полководца» имеет несомненный биографический подтекст: судьба не признанного «толпой» полководца невольно сопоставлялась с судьбой самого поэта:

*О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!  
Жрецы минутного, поклонники успеха!  
Как часто мимо вас проходит человек,  
Над кем ругается слепой и буйный век,  
Но чей высокий лик в грядущем поколенье  
Поэта приведет в восторг и в умиленье!*

Пушкин тоже был человеком, над которым «ругался слепой и буйный век». Он уходил вперед, а современникам казалось, что он остановился на месте и даже деградирует. Барклай-де-Толли отступал, чтобы выиграть сражение и войти в бессмертие. Пушкин шел вперед, в бессмертие, а печать и читатели твердили, что он отступает назад.

На Каменном острове, когда вокруг поэта сгущалась атмосфера социальная и семейная, общественная и домашняя, когда попытки «удрать, улизнуть» из «свинского Петербурга» прова-



*М. Б. Барклай-де-Толли*

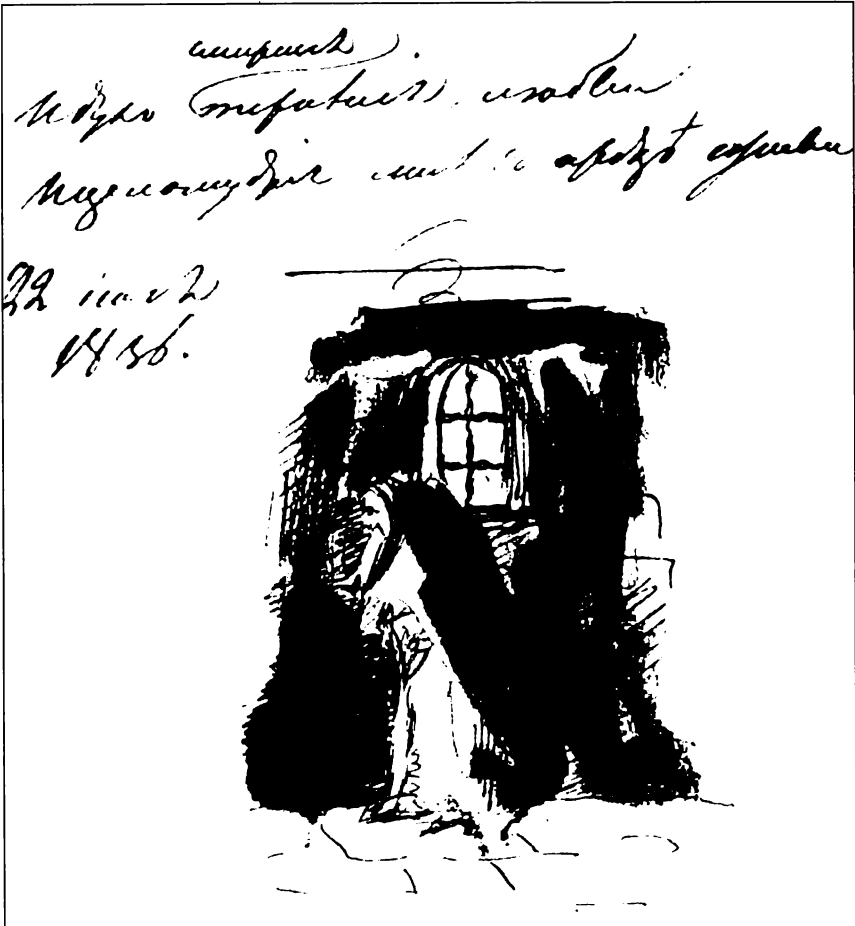
Д. ДОУ. 1829

ливались одна за другой, когда придворная жизнь затягивала, дела запутывались, когда журнал не оправдывал надежд, а недоброжелатели заставляли с особой щепетильностью относиться к вопросам чести, Пушкин пишет четыре стихотворения, которые мы называем «Каменноостровским циклом». В них, обращаясь к библейским образам, он осмысляет путь творчески одаренного человека в мире суеты и предательства.

Стержневая тема цикла — поиск нравственного идеала, соотношение свободомыслящего, независимого человека и «мирской власти». Пушкин обращается к событиям Страстной недели, используя их для воплощения собственных переживаний. Первое стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны...» является переложением молитвы Ефрема Сирина, которая читалась в течение всего Великого поста, включая среду на Страстной неделе. Молитва содержит мольбу о сохранении человеческого достоинства. Молящий просит избавить его от грехов праздности, уныния и любоначалия. Молитва как нельзя более соответствовала душевному состоянию Пушкина в зимне-весенние месяцы 1836 года: конфликты с цензурой, нашумевшая история с Лукуллом-Уваровым, конфликтные дуэльные ситуации с Соллогубом и Репниным, наконец, смерть матери в день Пасхи, 29 марта, — все это склоняло душу поэта к унынию. В черновиках к стихотворению его личный, эмоциональный мотив проявляется ярче и яснее, чем в окончательном тексте. Здесь девятый стих читается: «И падшего крепит», в черновиках: «И душу мне живит», потом: «И душу мне крепит».

На особом месте в этой «покаянной» молитве стоит грех любоначалия («змеи сокрытой сей»). Его Пушкин выделяет как тяжелейший. Зависимость человека постоянно толкает его на преклонение перед властью имущими. Клонить голову перед царем, выступать в роли просителя, мы видели, не раз приходилось и Пушкину — и мы видели, как он старался сохранить при этом честь и достоинство независимого человека.

Судьба «вечного грешника» Иуды (он повесился в четверг Страстной недели) — сюжет второго стихотворения. «Предатель ученик» совершил этот тяжелейший грех — любоначалие, предал властям своего учителя, и страшная кара постигла его самого. Что такое предательство, Пушкин знал на собственном опыте. В 1828 году, в период душевной депрессии, родились строки стихотворения «Воспоминание», которые поэт устранил



«Отцы пустынноики и жены непорочны»

Рисунок А. С. ПУШКИНА «Монах в келье». 22 июля 1836 года

при его публикации. Среди них есть такие: «Я слышу вновь друзей предательский привет», «Вновь сердцу моему наносит хладный свет/Неотразимые обиды». Драматизм этих строк обусловлен страшной достоверностью переживаний. «Друзей предательский привет», как и «неотразимые обиды» — это выстраданная правда, выстраданная потому, что Пушкин всегда был верен дружбе и привык расплачиваться с обидчиками. Эта черта характера в конечном счете стоила ему жизни.

В стихотворении о «предателе ученике» тема мирской власти поворачивается другой гранью — вознаграждением, которым власть платит за предательство. Любоначалие ведет к предательству, а предательство — один из способов соприкосновения с «мирской властью».

Третье стихотворение также связано с евангельским сюжетом и соотносится с событиями пятницы Страстной недели. Солдаты («воинственная стража»), охраняющие распятие, — таков центральный образ стихотворения. Возник он из реалии петербургской жизни. В Страстную пятницу в Казанском соборе у плащаницы стояли солдаты на часах. С этим эпизодом связывал Вяземский замысел стихотворения. В нем мирская власть прямо противопоставлена власти духовной.

Наконец, последнее стихотворение цикла «Из Пиндемонти» раскрывает стремление поэта к духовному раскрепощению, к выстраданной необходимости порвать все связи с «мирской властью». Пушкин мечтает:

*...Никому*

*Отчета не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;  
По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам,  
И пред созданьями искусств и вдохновенья  
Трепеща радостно в восторгах умиленья.  
— Вот счастье! вот права...*

Так заканчивается это стихотворение. Мечта, как видим, осталась неосуществленной.





*19 октября  
1836 года*

**Л**ицейская годовщина 1836 года отмечалась опять на «лицейском подворье» у Яковлева. 1836 год был для Лицея юбилейным. Предполагалось (это была идея Энгельгардта, поддержанная Корфом) торжественно отметить 19 октября, собрав вместе три первых выпуска. Мнение Корфа, высказанное в письме Яковлеву, содержит подтекст, который еще раз подчеркивает политический характер лицейских сходов: «...лицейские воспоминания между всеми нами (т. е. тремя курсами. — Я. Л.) могут быть точно так же живы и громки, а о другом, постороннем, едва ли кто тут что и затеет, да и лета наши уже не те, чтобы опасаться иметь при нашем разговоре свидетелей». Яковлев возражал: «Пусть Егор Анто-

нович <...> соединяет под свои знамена 2-й, 3-й и прочие выпуски и воздает честь и хвалу существованию Лицея, но пусть нас, стариков, оставит в покое».

К этому мнению решительно присоединился Пушкин: «Нечего для двадцатипятилетнего юбилея изменять старинные обычаи Лицея, — написал он Яковлеву. — Это было бы худое предзнаменование, сказано, что и последний лицеист один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить». «Худое предзнаменование» — начало распада традиции, которое уловил Пушкин в мнении Корфа и которое вызвало раздраженный тон записки поэта. Юбилею казенного учебного заведения Пушкин противопоставлял двадцатипятилетие союза первокурсников.

Корф четко отделяет «общие» для всех лицеистов воспоминания и беседы «о другом, о постороннем». В протоколе годовщины записано: «...читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером». В разговоры о «постороннем» входили и неизменные поминания «отсутствующих». Старые письма Кюхельбекера в день 25-летия Лицея были прочитаны не случайно. Между двумя «годовщинами» 1835 и 1836 годов прошло десятилетие декабрьского восстания. Кюхельбекера из крепости отправили на поселение. Это была одна из «милостей», оказанных Николаем I «государственным преступникам». В апреле 1836 года Пушкин получил от Кюхельбекера письмо, а вслед за этим выговор от Бенкендорфа и требование доставить письмо в III Отделение и указать, кто передал его поэту. Несмотря на предостережение, Пушкин ответил Кюхельбекеру (письмо это до нас не дошло) и предложил ему сотрудничать в «Современнике». Кюхельбекер послал для журнала свою поэму «Юрий и Ксения», но она была задержана III Отделением.

В один из сентябрьских дней 1836 года родственник Кюхельбекера С. Н. Дирин передал Пушкину два письма Кюхельбекера, посланные родным. Письма сопровождалась запиской следующего содержания: «Уверен, что вы с удовольствием узнаете кое-какие новости о Вильгельме, почему посылаю вам эти письма, недавно полученные из Сибири. <...> Не могу вам оставить ни одного, ни другого на более долгий срок, чем сколько вам понадобится, чтобы их прочитать, ибо я похитил их тайком у матери, чтобы переслать вам». После получения этих писем

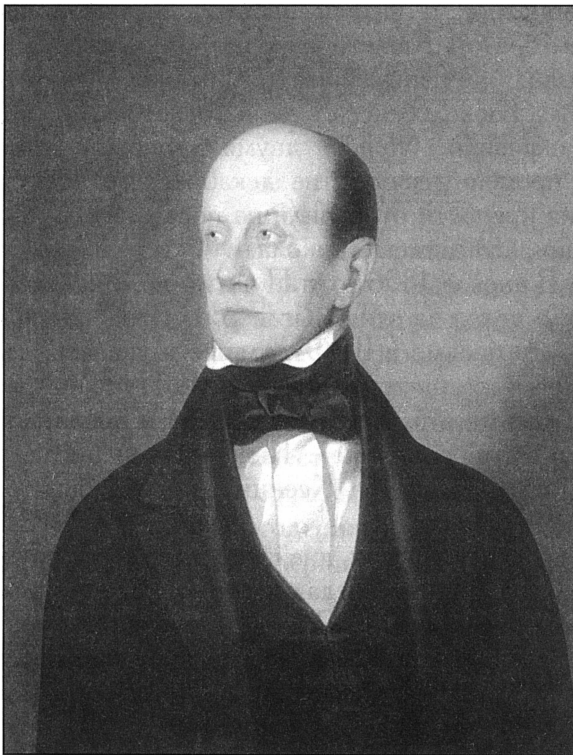


Пушкин решается с помощью Дирина отдать в печать хранившуюся у него рукопись Кюхельбекера «Русский Декамерон 1831 года», скрыв от цензуры истинное имя автора. На титульном листе рукописи, которую получил (и одобрил) цензор П. А. Корсаков, значилось: «Соч. И. Иванов». Пушкин помог Кюхельбекеру вернуться в литературу.

Конечно же, о своих связях с «братом» Кюхельбекером Пушкин рассказывал присутствующим, и этот рассказ вызвал воспоминания о «Кюхле» и его письмах.

Одну из тем бесед 19 октября 1836 года мы знаем, об остальных можем только догадываться.

Перед выходом из дому на празднование годовщины Лицея Пушкин начал набрасывать черновое письмо П. Я. Чаадаеву — ответ на его «Философическое письмо», из-за опублико-



*П. Я. Чаадаев*

РАКОВ, с оригинала КОЗИМА. (1842—1845). 1864



вания которого был закрыт «Телескоп», а сам Чаадаев объявлен сумасшедшим. Письмо Чаадаева в эти дни «занимало все петербургское общество, начиная с литераторов, духовенства и кончая вельможами и модными дамами». Чаадаев говорил о катастрофической отсталости России по сравнению со странами Западной Европы. Причину застоя он видел в том, что в силу исторических условий прославленная Россия оказалась обособленной от западноевропейских государств, объединенных католицизмом. Одновременно в письме резкой критике подвергалась общественная атмосфера современной России. Не принимая общей философско-католической концепции статьи, Пушкин соглашался с Чаадаевым в оценке современной жизни. В письме Пушкина есть такие слова: «Действительно нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

В те дни, после письма Чаадаева, так думал не один Пушкин. «Философическое письмо» и вызванные им размышления о «нашей общественной жизни» не могли не обсуждаться на годовщине. Тем более что и стихотворение, прочитанное Пушкиным, призывало к таким разговорам:

*Припомните, о други, с той поры,  
Когда наш круг судьбы соединили,  
Чему, чему свидетели мы были!*

Отгалкиваясь от событий прошлого, поэт доводит свой рассказ до 30-х годов. Поэт и его сверстники были свидетелями европейских революций, побед и падения Наполеона, триумфа русской армии, наконец, они прошли через испытания трагических событий 14 декабря 1825 года, пережили казнь пятерых участников восстания, каторгу и ссылку своих друзей.

В день 19 октября собиралось не так уж много лицеистов — только жители Петербурга и те, кто бывал в Петербурге наездами. Но организаторы этих дружеских застолий мыслили их как собрания единомышленников. Не случайно предложение Корфа объединить несколько выпусков было отвергнуто не только Пушкиным, но и всеми, кому Яковлев показывал записку Корфа.

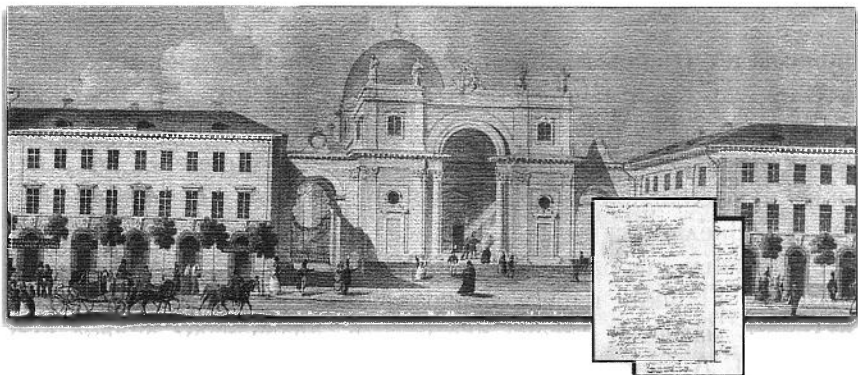


Лицейский праздник 1836 года от того дня, когда Пушкин получил анонимный пасквиль, отделяли лишь две недели. Кольцо клеветы давно сжималось вокруг поэта. Его душевное состояние 19 октября 1836 года передает рассказ одного из бывших на празднике лицейстов: поэт «извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал, при всеобщей тишине, свою удивительную строфу: «Была пора, наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался», как слезы покатались из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю лицейскую годовщину».

Последняя встреча Пушкина с некоторыми из лицейских товарищей состоялась у Яковлева, в день его именин, 8 ноября 1836 года. После обеда, когда пили шампанское, Пушкин вынул из кармана полученный анонимный пасквиль и сказал: «Посмотрите, какую мерзость я получил». Сказав о пасквиле, он должен был сказать и о своих действиях — о вызове, poslanном Дантесу. Жуковскому, который старался уладить конфликт с Геккернами, Пушкин обещал держать ход событий в тайне. Он так и поступал, сделав только два исключения: посвятил в историю с анонимным пасквилем ближайших друзей — Карамзиных и своих лицейских товарищей.

После смерти Пушкина Матюшкин писал Яковлеву из Севастополя: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев! Яковлев! Как мог ты это допустить?..» Но именно лицейские друзья, которым Пушкин раскрыл всю низость своих врагов, понимали, очевидно, что события неизбежно ведут к дуэли. Не случайно секундантом Пушкина был его лицейский друг Данзас. Сам поэт, уже на смертном одре, еще раз вспомнил «союз» лицейский: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пуштина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать», — сказал он Данзасу.





## Анонимные письма

**Ч**етвертого ноября 1836 года в квартиру Пушкина и еще по шести адресам городская почта доставила конверты с письмами одного содержания. На конверте значились имя и адрес получателя, а внутрь конверта было вложено письмо, адресованное Александру Сергеевичу Пушкину. Такое письмо, не распечатывая его, принес днем в дом Пушкина В. А. Соллогуб. Письмо получила тетка Соллогуба А. И. Васильчикова, у которой на Большой Морской улице жил тогда Соллогуб. Но содержание письма было известно поэту. «Я уж знаю, что такое,— сказал Пушкин Соллогубу,— я такое письмо получил сегодня же от Елисаветы Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем,



понимаете, что безыменным письмам я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может». Кроме Е. М. Хитрово и Васильчиковой такие же письма получили Вяземский, М. Ю. Виельгорский, К. О. Россет и Карамзины.

Пасквиль пародировал грамоты на пожалование кавалерам орденов. Пушкин избирался коадьютором (т. е. помощником) великого магистра ордена рогоносцев. Магистром ордена был назван Д. Л. Нарышкин — знаменитый рогоносец, муж многолетней любовницы Александра I М. А. Нарышкиной, женщины «красоты неестественной, невозможной».

Анонимный пасквиль, причисляя Пушкина к ордену рогоносцев, метил не только в Дантеса, но и в царя. Сам Пушкин говорил П. В. Нащокину о Николае I, что тот «как офицеришка ухаживает за его женою; нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены». В обществе «внимание», которое оказывал император жене поэта, конечно же, было замечено. Пушкин сразу понял намек.

Получив пасквиль, он сразу же решил освободиться от царских «милостей». 6 ноября он написал министру финансов Е. Ф. Канкрину письмо, в котором просил разрешения погасить свой долг правительству за счет передачи в казну нижегородского имения. В обществе было широко известно, что Александр I щедро расплачивался с Д. Л. Нарышкиным. Племянница Пушкина Ольга Львовна Оборская вспоминала: «Царь Александр I оригинально платил Нарышкину за любовь к себе его жены. Нарышкин приносил царю очень красивую книгу в переплете. Царь, развернув книгу, находил там чек в несколько сот тысяч, будто на издание повести, и подписывал этот чек. Но в последний раз, очевидно, очень часто и много просил Нарышкин, царь сказал: „Издание этой повести прекращается”».

Пушкин явно не хотел, чтобы кто-нибудь из светских сплетников мог прочить ему судьбу «величавого рогоносца». Поэтому и поспешил отправить свое письмо Канкрину, хотя и понимал, что лишает своих детей единственной недвижимости, которая ему принадлежала. 6 ноября он еще не знал, сколько было разослано писем и как широко было известно содержание пасквиля.

П. Е. Щеголев, первым из исследователей увидевший в «дипломе» «намек по царской линии», правильно понял значение письма Пушкина. До нас дошли устные рассказы В. А. Соллогуба, относящиеся к дуэльной истории. Один из них записал горячий поклонник Пушкина Н. И. Иваницкий: «23 февраля 1846. Вот что рассказал граф Соллогуб Никитенке о смерти Пушкина. Разумеется, обвинения в связи с дуэлью пали на жену Пушкина, что будто бы была она в связях с Дантесом. Но Соллогуб уверяет, что это сущий вздор. Жена Пушкина была в форме красавица, и поклонников у ней были целые легионы. Немудрено, стало быть, что и Дантес поклонялся ей, как красавице; но связей между ними никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти».

Иваницкий путает, когда пишет, что Н. Н. Пушкина была фрейлиной, но это не меняет основного смысла рассказа Соллогуба. Соллогубу было ясно скрытое содержание пасквиля, намекавшего не на Дантеса, а на царя. Письмо к Канкрину свидетельствует: так понял пасквиль сам Пушкин, — очевидно, именно это и позволило ему считать инициатором его Геккерна. Намек же на Дантеса, несомненно, должен был привести к дуэли — этого посланник не мог не понимать.

А. Ахматова обратила внимание на то, что «дипломы» были посланы только друзьям Пушкина. Очевидно, голландский посланник хотел разлучить Дантеса с Натальей Николаевной и был уверен, что «возмутительно ревнивый муж», как называл Пушкина Дантес в одном из писем к Геккерну, увезет жену из Петербурга, пошлет к матери в деревню или уедет вместе с ней куда угодно и все мирно кончится.

В тот же день, 4 ноября, Пушкин отправил вызов Дантесу на квартиру его приемного отца Геккерна. Дантес был дежурным по полку, и вызов попал в руки Геккерна.

Анонимное письмо и немедленная реакция Пушкина — вызов — привели в смятение родных поэта. Решено было обратиться к Жуковскому, который находился в это время в Царском Селе.

От Жуковского до нас дошел ценнейший документ о по-



следних месяцах жизни Пушкина. Это конспективные заметки, которые он вел начиная с 4 ноября до посмертного обыска на квартире поэта. Жуковский был душевно привязан к Пушкину и лучше других друзей поэта осведомлен о его делах — Пушкин ему доверял. Жуковский делал заметки для себя, а не для потомков. Присмотримся к этим заметкам и попробуем по ним проследить ход событий.

В первой строчке Жуковский записывает: «4 ноября. *Les lettres anonymes*»<sup>1</sup>. В Царском Селе служил брат Натальи Николаевны Иван Николаевич Гончаров — офицер лейб-гвардии гусарского полка. К нему родные поэта и обратились для связи с Жуковским. «Гончаров у меня. Моя поездка в Петербург. К Пушкину», — записывает Жуковский во второй строчке.

Жуковский относит посещение Гончарова к 6 ноября. Узнав о вызове, он немедленно приехал в Петербург. Жуковский не раз выручал Пушкина из трудных житейских ситуаций. Надеялся он отвести беду от Пушкина и на этот раз. Но еще до Жуковского у Пушкина дважды побывал Геккерн с просьбой отсрочить дуэль. Жуковский с помощью Е. И. Загряжской пытается уладить конфликт. 6 и 7 ноября он все время в разъездах. В заметках он фиксирует свои встречи с Загряжской, с друзьями Пушкина — Вяземским и Виельгорским.

Геккерн знал о влиянии Жуковского на Пушкина и всячески стремился заручиться его доверием. В записи Жуковского за 7 ноября читаем: «Я поутру у Загряжской. От нее к Геккерну (*Mes antecedents*<sup>2</sup>. Незнание совершенное прежде бывшего). Открытия Геккерна. О любви сына к Катерине (моя ошибка насчет имени). Открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе. — Мое слово. — Мысль все остановить. Возвращение к Пушкину. *Les révelations*<sup>3</sup>. Его бешенство...»

Чтобы спасти жизнь и честь Дантеса, Геккерн выстроил хитро сплетенную версию. Его «открытия» о любви Дантеса к сестре Н. Н. Пушкиной удивили Жуковского, и он даже «ошибся» насчет имени, предположив, что речь идет об Александрине. Любовная игра Дантеса с Екатериной Гончаровой не была новостью в свете и затевалась, чтобы возбудить ревность жены

<sup>1</sup> Анонимные письма (фр.).

<sup>2</sup> Мои прежние действия (фр.).

<sup>3</sup> Откровения (фр.).



поэта. Теперь эта игра могла пригодиться Дантесу для спасения жизни. Но Жуковский удивляется своему «незнанию».

Геккерн прибег к еще одной лживой уловке — сказал, очевидно, Жуковскому, что Дантес — его побочный сын (в обществе недоумевали, почему посланник усыновил молодого офицера). «Открытия», которым поверил простодушный Жуковский, привели Пушкина в «бешенство». Да и как было не привести, когда об уходе за Дантесом он знал от самой Натальи Николаевны, сам был свидетелем его поведения, сам наблюдал, как «красивая наружность», «несчастливая страсть» (из письма его к Геккерну 21 ноября) вызывали ответное чувство у его жены. После предложения Екатерине Гончаровой Дантес в глазах Пушкина стал трусом, спрятавшимся от выстрела за женскую спину.

День 8 ноября посвящен переговорам. «„Pourparlers”<sup>1</sup>. Геккерн у Загряжской. Я у Пушкина. Бóльшее спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях», — записывает Жуковский. В разговоре с Загряжской Геккерн, очевидно, подтвердил предложение Екатерине, чтобы успокоить тетку сестер. Жуковский, в свою очередь, пытается воздействовать на Пушкина и умерить его «бешенство», напоминая ему о его увлечениях («отношениях»). В этой записи фиксируются как бы два взаимоисключающих эмоциональных состояния Пушкина: «бóльшее спокойствие» и «слезы». «Спокойствие» — это состояние человека, принявшего решение ценой жизни смыть оскорбление, нанесенное его дому, его жене, ему самому. «Слезы» — душевная боль, которую можно открыть только такому близкому и любящему человеку, как Жуковский.

9 ноября Геккерн снова оказывает давление на Жуковского. В его записках читаем: «Les rélations de Heckern»<sup>2</sup>. Какие «разоблачения» сделал Геккерн Жуковскому на этот раз? Можно предположить следующее: свои «тайны» Геккерн ему уже изложил; объектом новых разоблачений теперь, очевидно, становится Пушкин. Скорее всего, в ход пускаются какие-то порочащие Пушкина слухи.

Пушкинист П. И. Бартнев записал со слов А. О. Россета (брата А. О. Смирновой-Россет), что уже «летом 1836 года

<sup>1</sup> Переговоры (фр.).

<sup>2</sup> Разоблачения Геккерна (фр.).



шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни и уже замечали волокитство Дантеса».

Упоминаемые Россетом «сплетни» связаны с именем Александрины Гончаровой. Средняя сестра Натальи Николаевны — особа хозяйственная и заботливая, умная и наблюдательная. В. Ф. Вяземская вспоминала, что в доме Пушкиных хозяйством и детьми занималась Александрина. Александрина с пониманием и сочувствием относилась к поэту. Пушкин делился с ней планами и намерениями. Это подтверждает, например, ее письмо к брату Дмитрию в конце июля 1836 года, в котором имеется тщательно зачеркнутая фраза. Ее разобрала И. Ободовская. Александра Николаевна передает брату просьбу Пушкина прислать ему писчей бумаги разных сортов и добавляет: «...не задержи с отправкой, потому что мне кажется, он скоро уедет в деревню...» И. Ободовская полагает, что Пушкин собирался летом 1836 года увезти жену в деревню. Своим планом он поделился со свояченицей, прося сохранить его в тайне — потому она и зачеркнула случайно вырвавшиеся слова. Александрина была одной из двух женщин, которые знали о предстоящей дуэли (вторая — старинная приятельница поэта, дочь хозяйки Тригорского П. А. Осиповой). Обе они молчали, понимая, что обстоятельства сильнее поэта.

Пущенная врагами сплетня превратила добрые отношения Пушкина и свояченицы во влюбленность. Эта сплетня проникла даже в дружественный Пушкину дом Карамзиных. Вот, например, что пишет в среду, 27 января, С. Н. Карамзина брату Андрею о вечере у Екатерины Николаевны Мещерской, на котором присутствовали все участники будущей трагедии: «В воскресенье у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра. Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин (сестра Н. Пушкиной. — Я. Л.) направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен. И если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем, все это



очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отворачивает его от дома Пушкиных)».

Эти строки пишутся в тот самый день — 27 января, когда на Черной речке трагически завершались дни, месяцы, даже годы страданий поэта. Три дня спустя Софья Николаевна будет сожалеть: «А я-то так легко говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, даже в тот самый час, когда совершилась ужасная ее развязка! Бедный, бедный Пушкин! Сколько должен был он выстрадать за эти три месяца; с тех пор, как получил гнусное анонимное письмо, — причину, по крайней мере наружную, этого великого несчастья».

Со «сплетней», которую вспоминал А. О. Россет, связана еще одна запись Жуковского: «История кровати». Сплетня переживет Пушкина и дойдет до А. П. Араповой — дочери Н. Н. Пушкиной от второго брака с Ланским. В своих воспоминаниях, похожих на страницы бульварного романа, Арапова со вкусом будет порочить Пушкина и тетку. Она расскажет гнусную в своей неправдоподобности историю о том, как шейный крестик Александрины будто бы был найден камердинером, постилавшим кровать Пушкина.

У Жуковского намек на эту сплетню появляется во второй, январской записи, после слов «*Les Révélations d'Altxandrine*»<sup>1</sup>. Не от самой ли Александрины услышал Жуковский «историю кровати»?

А. А. Ахматова предположила, что «сплетни» о Пушкине и Александре распускают Геккерны. Правда, Ахматова причисляет Александрину к врагам Пушкина, называет ее «конфиденткой» Геккернов, а о свидетельстве Россета не упоминает.

«Разоблачения Александрины» относятся уже ко времени после свадьбы Дантеса. Как же развивались события после 9 ноября? Вернемся к заметкам Жуковского. После даты «9 ноября» и «разоблачений Геккерна» он записывает: «Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания».

Геккерны добивались свидания с Пушкиным — об этом мы знаем не только из записи Жуковского, но и из писем к нему «старого» Геккерна. Они требовали, чтобы Пушкин согласился встретиться с ними и объяснил причину вызова. Но на предло-

<sup>1</sup> Разоблачения Александрины (фр.).

жение Жуковского поэт ответил отказом. 10 ноября в заметках Жуковского читаем: «Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания».

Почему Пушкин решительно не хотел встречаться с Геккернами и не хотел вдаваться в какие бы то ни было объяснения?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, в историю дуэли необходимо ввести еще одно лицо — Идалию Полетику. В последние годы жизни Пушкина она была близкой подружкой его жены. В письмах Пушкин несколько раз упоминает (очень дружелюбно) о Полетике. Осенью 1833 года, когда он был в Болдине, Полетика передавала ему через Наталью Николаевну поцелуй. Поэт отвечал шутливо: «Полетике скажи, что за ее поцелуем явлюсь лично, а что де на почте не принимают». Переданный поэту поцелуй уже тогда был притворством. Современники и биографы Пушкина отмечали, что Полетика ненавидела Пушкина и сохранила это чувство до самой своей смерти. Уже в старости она возмущалась, что Пушкину хотят поставить памятник в Одессе, и собиралась поехать и плюнуть на памятник. После дуэли она была полностью на стороне Дантеса. В письмах к Дантесу и к его жене в 1837—1839 годах она горячо сочувствует убийце поэта и злорадствует, что не оправдались надежды на посмертное издание сочинений Пушкина.

Муж Идалии Полетики был приятелем Дантеса по полку. 2 ноября 1836 года Полетика пригласила Наталью Николаевну к себе. Жили Полетики в Кавалергардских казармах. Когда Пушкина приехала, вместо хозяйки дома в комнатах ее встретил Дантес. Дантес клялся в любви и грозил застрелиться у нее на глазах. Неожиданный приход маленькой дочки Идалии прекратил эту сцену. Подстроенная встреча показывает, что Полетика еще до дуэли была недругом Пушкина и его жены. Причины такого отношения к своей «подруге» и ее мужу мы не знаем, — возможно, светские успехи жены поэта не давали покоя побочной дочери графа Г. А. Строганова.

О том, что было за несколько дней до встречи Н. Н. Пушкиной с Дантесом, известно со слов Александра Карамзина: «Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он (Дантес. — Я. Л.) умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить мезтью; два дня спустя появились анонимные письма». Угрозы Геккерна, подстроенное свидание, анонимные письма выстраиваются в звенья одной цепи.



*Идалия Полетика*

П. Ф. СОКОЛОВ. 1820-е годы

Об оскорбительных предложениях Геккерна и свидании у Полетики Пушкин узнал от жены 4 ноября, когда пришли анонимные письма. «Эти письма, — писал потом Вяземский, — привели к объяснению супругов Пушкиных между собой и заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерна: она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть».

После угроз посланника и свидания у Полетики Пушкин понял, что репутация его жены зависит теперь от Геккернов. Местью «отвергнутого» Дантеса могла быть огласка — первым шагом на этом пути и стал анонимный пасквиль. Этим можно объяснить твердую уверенность поэта в том, что пасквиль исходил от Геккернов. Своими подозрениями Пушкин не поделился даже с Жуковским (реакцией на вопросы и уговоры Жуковского были только «его слезы»). Сказав о подозрениях, нужно было бы изложить и основания, на которых они возникли, а о свидании у Полетики Пушкин говорить не хотел.

Событиями 10 ноября (отказом Пушкина от свидания с Геккернами) заканчивается первая серия заметок Жуковского.

Следующая группа записей начинается так:

«После того как я отказался.

Присылка за мною Е.<катерины> И.<вановны>. Что Пушк.<ин> сказал Александрине.

Мое посещение Геккерна.

Его требование письма.

Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве.

Свидание Пушкину с Геккерном у Екатерины Ивановны.

Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство.

Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина».

Эти записи расшифровываются легко. Жуковский передал Геккернам отказ Пушкина от встречи и переговоров с ними. Тогда вступила в действие Е. И. Загряжская. Женильба Дантеса, казалось, могла разрубить все узлы — предотвратить дуэль, остановить светских сплетниц, избавить от позора младшую племянницу, устроить судьбу старшей. Пушкин относился к Загряжской с уважением и мог согласиться на ее просьбу о встрече с Геккернами.



Что Пушкин «сказал Александрине», мы не знаем; скорее всего, что он не верит искренности Дантеса и считает его предложение Екатерине лживой уловкой труса. Позднее о том, что свадьба не состоится, он говорил С. Н. Карамзиной и В. А. Соллогубу. Накануне свадьбы, 9 января, С. Н. Карамзина, как всегда сообщая брату подробности светской жизни, писала: «...завтра, в воскресенье состоится эта удивительная свадьба <...>. Пушкин проиграет несколько пари, потому что он, изволите видеть, бился об заклад, что эта свадьба — один обман и никогда не состоится».

Настоящим теткой своей жены Пушкин противиться не стал. 14 ноября состоялось его свидание с Геккерном в Зимнем дворце у Е. И. Загряжской. Очевидно, тут, в присутствии Загряжской и Жуковского, Геккерн еще раз подтвердил предложение Дантеса Е. Н. Гончаровой. Пушкин пошел на уступки: согласился взять свой вызов обратно.

Можно было думать, что выход найден и цель многодневных усилий Жуковского, Загряжской, Геккерна была достигнута. Но тут выступил со своими претензиями Дантес. Он потребовал от Пушкина письменного мотивированного отказа от вызова. Свои требования он изложил в письме, которое заканчивалось словами: «...прежде чем закончить это дело, необходимо, чтобы объяснения как одной, так и другой стороны были таковы, чтобы мы впоследствии могли уважать друг друга».

Пушкин относиться с уважением к Дантесу не желал, а письмо последнего, надевшего личину благородного человека, снова привело его в «бешенство». Он согласился написать письмо, но только такое, в котором отказ от вызова был бы мотивирован сватовством. Переговоры зашли в тупик.

Срок двухнедельной отсрочки, которую Пушкин дал Геккерну, истекал 16 ноября. Письменного отказа от дуэли Дантес не получил. Ему не оставалось ничего другого, как послать к Пушкину своего секунданта — атташе французского посольства д'Аршиака.

Об этом этапе дуэльной истории мы знаем со слов секунданта Пушкина В. А. Соллогуба. Предоставим слово ему: «У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына (здесь Соллогуб ошибается: речь идет о 16 ноября — дне рождения Е. А. Карамзиной. — Я. Л.). Я сидел за обедом подле

Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой:

— Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь.

Потом он продолжал шутить и разговаривать как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений».

Вечером 16 ноября состоялся раут у Фикельмон в австрийском посольстве. В записках Жуковского читаем: «Записка Н. Н. ко мне и мой совет. Это было на рауте Фикельмона».

О чем писала Наталья Николаевна Жуковскому — неизвестно. Просила повлиять на мужа? В чем? Может быть, ее просьба касалась сестры? Именно в эти дни Пушкин убеждал друзей, что «эта свадьба — один обман». Наталья Николаевна любила сестру и, конечно, не хотела, чтобы о ее замужестве судачили в свете.

17 ноября состоялась встреча секундантов. «С замирающим сердцем, — вспоминает Соллогуб, — отправился я к д'Аршиаку (во французское посольство. — Я. Л.). Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он сам всю ночь не спал: что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских».

Чтобы закончить дело без дуэли и скандала, секунданты поступились интересами Дантеса. От Пушкина попросили только «засвидетельствовать словесно», что он не приписывает браку Дантеса «расчетам, недостойным благородного человека». Пушкин ответил не «словесно», а письмом. «...Прошу теперь господ свидетелей этого дела, — писал он, — соблаговолить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека».

Как видим, на компромисс Пушкин не пошел. За текстом письма угадывается намек на связь между дуэлью и сватовством Дантеса. Больше того, Пушкин, который до последнего дня не верил, что дело дойдет до свадьбы, своим письмом отрезал ему путь к отступлению. Слова о скорой женитьбе были теперь



как бы засвидетельствованы документом. Письмо Пушкина секунданты Дантесу не показали. Д'Аршиак сказал ему: «Этого достаточно» — и «поздравил его женихом». В тот же день, вечером, на балу у С. В. Салтыкова было объявлено о помолвке, а 10 января состоялась и свадьба.

После того как помолвка Дантеса стала достоянием гласности, Пушкин считал, что ему он отплатил сполна: сделал посмешищем в глазах света, вынудил жениться на «ручке от метлы», как назвал Е. Н. Гончарову один из современников.

Оставался «старик» Геккерн. Вяземский писал, что «как только были получены анонимные письма, Пушкин заподозрил в сочинении их старого Геккерна и умер с этой уверенностью». 21 ноября Пушкин решил нанести удар тому, кого считал своим главным противником и оскорбителем. Позвав в тот день своего секунданта Соллогуба в кабинет, он запер двери и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте...» «Тут он, — пишет Соллогуб, — прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику».

События 21-го числа и ближайших двух дней, пожалуй, самые неясные во всей истории дуэли. Тем же днем, 21 ноября, датировано еще одно письмо Пушкина — к Бенкендорфу. «Граф! Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить Вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе...» — так начиналось письмо. Дальше следовал рассказ об анонимном пасквиле.

Это письмо Бенкендорфу обнаружено сравнительно недавно в архиве секретаря Бенкендорфа (и поклонника Пушкина) П. И. Миллера. Из пометы на автографе стало очевидным, что письмо это не было отправлено Пушкиным по назначению и попало в руки Бенкендорфа только после смерти поэта — 11 февраля. Не было отправлено и письмо Геккерну. Пушкин хранил его до 25 января, т. е. до того дня, когда он решил: быть поединку. Новое, донельзя оскорбительное письмо к голландскому посланнику писалось 25 января на основе ноябрьских черновиков.

Итак, мы знаем, что 21 ноября Пушкин написал два письма и оба письма остались неотправленными. Как связывались в сознании поэта эти письма? Казалось бы, каждое из них опровергает другое и отсылка этих двух писем одновременно психо-



логически невероятна. Оскорбительное письмо Геккерну вело к дуэли, письмо Бенкендорфу должно было ее остановить. Предположение, что Пушкин, оскорбляя Геккерна, т. е. провоцируя дуэль, предпринимал шаги к тому, чтобы дуэль не состоялась, — невозможно. В письме Бенкендорфу Пушкин прямо обвинял посланника в составлении анонимных писем. «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, — писал он, — и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательство того, что утверждаю». Пушкин не требовал «правосудия», но мог надеяться, что правительство обратит внимание на то, «что недавно произошло» в его «семействе», и поступит, как сочтет нужным. А оно могло счесть нужным разобратся в истории с пасквилем и не только выразить свое неудовольствие посланнику, но и принять меры к удалению его из Петербурга. Наверное, мысль об этом мелькала в сознании Пушкина, когда он был готов заявить правительству, что аккредитованный посланник Нидерландского королевства — мерзавец, занимающийся составлением подметных писем (да еще писем, в которых содержатся намеки на двух императоров — покойного и ныне царствующего).

Мог ли Пушкин надеяться, что обвинение, не подтвержденное конкретными доводами, будет принято? Когда писал письмо, очевидно, думал, что царю достаточно его слова; написав письмо и обдумав его еще раз — в этом усомнился.

Поэтому позволим себе предположить, что письмо к Геккерну было написано (или закончено) только тогда, когда отпала мысль об отправке письма Бенкендорфу. Подтверждение этого мы находим в словах самого Пушкина. В ноябрьском письме к Геккерну есть фраза, которая сразу же была вычеркнута Пушкиным: «Быть может, вы желаете знать, что помешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах нашего двора и двора вашего». Истолковать ее можно только так: мог «обесчестить» (написал письмо Бенкендорфу), но не стал (не отослал письма).

Эта вычеркнутая фраза не оставляет сомнения, что Пушкин имел два плана мести, что он колебался, какой из путей выбрать, и, наконец, отказавшись от обращения к правительству (т. е. хотел «обесчестить» Геккерна в глазах дворов российского и голландского), решил нанести ему оскорбление, которое можно было смыть только кровью.



Почему же письмо Геккерну не было отправлено? Вернемся к рассказу Соллогуба о дне 21 ноября, когда Пушкин, сказав: «Теперь мне старичка подавайте», прочел ему это письмо. Соллогуб пишет: «Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день кн. Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма». В. Ф. Одоевский жил в Машковом переулке, в нескольких минутах ходьбы от Пушкина. Жуковский, конечно, сразу же, не откладывая на завтра, поспешил к Пушкину. Еще раз он выступил в роли миротворца — результатом его посещения и было их, по-видимому общее с Пушкиным, решение — просить аудиенции у царя.

Через два дня, 23 ноября, в Аничковом дворце Николай I «принимал камер-юнкера Пушкина».

При российском императорском дворе велись так называемые камер-фурьерские журналы. Камер-фурьеры заносили в специальные книги события «внешней» жизни царя — кого царь принимал, кто представлялся, куда ездил, кто был на обеде, кто был на придворных балах. 23 ноября камер-фурьер беспристрастным языком перечисляет, чем был занят император с 6 часов утра. После перечня многочисленных деловых посещений записывает: «10 минут 2-го часа его величество одни в санях выезд имели прогуливаться по городу и возвратился в 3 часа во дворец». Деловой день кончился, дело шло к обеду, но после приведенных строк сразу же видим запись: «По возвращении его величество принимал генерал-адъютанта Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина».

Запись об аудиенции Пушкина была найдена в 1928 году П. Е. Щеголевым. Все, о чем писал поэт Бенкендорфу, он мог изложить Николаю с глазу на глаз. «Царю известно все мое дело», — сказал Пушкин Е. Н. Вревской накануне дуэли. До нас дошло несколько свидетельств Вяземского и одно Е. Н. Карамзиной о разговоре Пушкина с царем. Они знали, что Пушкин дал царю обещание «больше не драться ни под каким предлогом», но не знали, когда и при каких обстоятельствах обещание было дано (Карамзина пишет: «После истории со своей первой дуэлью»), да и о разговоре с царем узнали уже после дуэли, когда Пушкин «просил прощения» за несдержанное слово. Можно не сомневаться, что разговор происходил 23 ноября, когда

Пушкин пришел во дворец, чтобы говорить с царем о пасквиле. Правда, об авторстве Геккерна он все же не упомянул.

Итак, была аудиенция, был разговор Пушкина с царем, и в результате этого разговора Пушкин не стал посылать Геккерну приготовленное письмо. Однако пунктуальный Жуковский в своих заметках все эти события опускает. Высказывалось мнение, что об аудиенции во дворце и об обещании, которое Пушкин дал царю, Геккерны знали, что об этом могли рассказать Дантесу либо Александр Карамзин, либо Екатерина Гончарова. Заметки Жуковского убеждают нас, что свидание с царем держалось в строжайшей тайне. Жуковский не сказал о нем секунданту Пушкина Соллогубу, который предупредил его об опасности, больше того, он не доверил тайну свидания даже своим заметкам. Неудивительно, что об аудиенции и об обстоятельствах, при которых Пушкин дал царю слово, не упоминает никто из современников. Они просто об этом не знали, и, если бы не обнаруженная Щеголевым запись в камер-фурьерском журнале, не знали бы о свидании поэта с царем и мы.

Что хотел скрыть Жуковский от тех, кому могли попасть в руки его записи? Наиболее вероятный ответ: ту роль, которую играл император в дуэльной истории. Царь знал об опасности, грозящей поэту, и не уберег его. Взяв с Пушкина слово, Николай, очевидно, в свою очередь дал поэту какие-то обещания или заверения. Может быть, приструнить наглого кавалергарда, может быть, найти улики против составителя пасквиля, может быть, выразить свое недовольство дипломату. Когда в январе Жуковский вернулся к своим записям, было ясно, что своего обещания царь не сдержал.

Почему же Пушкин нарушил слово, данное царю, т. е. совершил поступок, за который можно было поплатиться и в случае благополучного для него исхода дуэли? Некоторые биографы Пушкина предполагали, что полученный 4 ноября анонимный пасквиль не был единственным, что анонимные письма и потом преследовали Пушкина и что в январе он получил письмо, сообщавшее о свидании Н. Н. Пушкиной с Дантесом у Полетики. До середины 80-х годов нашего столетия дата свидания еще не была установлена. Этот повод отпадает. Свидание состоялось (как убедительно доказала С. Л. Абрамович) 2 ноября, и уже через два дня Пушкин получил пасквиль. Да и были ли еще анонимные письма?



В качестве доказательства того, что такие письма были, приводилось военно-судное дело о дуэли Пушкина с Дантесом. В числе заданных Дантесу вопросов был такой: «Кто писал в ноябре и после того к г. Пушкину письма от неизвестных и кто виновник оных?» Скорее всего, аудитор Маслов, составлявший вопросные пункты, знал, что анонимное письмо было получено в ноябре, знал, что писем было несколько, но не разобрался в том, что это были идентичные письма, отправленные в один день, потому и спрашивал о письмах, полученных «после». Следов январских писем мы не находим ни в переписке, ни в воспоминаниях лиц из ближайшего окружения Пушкина. Не упоминает о каких-либо письмах (кроме пасквиля) и Жуковский в своих заметках — это позволяет сказать, что их не было.

Между тем петербургская светская и литературная жизнь шла своим чередом. Восстановить некоторые эпизоды из жизни Пушкина помогают все те же письма Карамзиных. 6 ноября Александр Карамзин пишет брату: «Завтра опять я иду, если это тебя интересует, на завтрак к госпоже Пушкиной, что совершаю каждую субботу, сопровождая его кучей любезностей». Можно представить себе, как трудно было жене поэта и ее сестрам в то время, когда над их домом нависла угроза дуэли, поддерживать светскую беседу даже с таким близким другом, как Карамзин.

27 ноября состоялось торжественное открытие (после перестройки) Большого театра. В тот день давали «Жизнь за царя» Глинки. На представлении присутствовали двор, дипломатический корпус и все государственные сановники. Софья Николаевна Карамзина пишет, что смогла достать билеты в ложу второго яруса только благодаря тому, что была в театре с племянницей Бенкендорфа, «доброй госпожой Шевич».

В спектакле участвовали лучшие певцы русской оперы: О. А. Петров, М. М. Степанова, А. Я. Воробьев. Декорации к постановке писал А. Роллер. Опера Глинки была встречена как большое явление в истории русской культуры. В. Ф. Одоевский писал в «Северной пчеле»: «С оперою Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе, — новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период — период русской музыки. Такой подвиг, скажем, положи руку на сердце, есть дело не только таланта, но гения». 13 декабря на обеде по поводу первого представления оперы Пушкин, Жуковский, Вяземский,



В. Ф. Одоевский

Г. Д. МЕТРЕЙТЕР, с оригинала К. А. ГОРБУНОВА.  
1840-е годы

Виельгорский, Одоевский приветствовали композитора «Канонном в честь М. И. Глинки».

В самом начале декабря жена поэта была в Аничковом, танцевала мазурку с Александром Карамзиным, — об этом мы узнаем из письма С. Н. Карамзиной, а 28 декабря С. Н. Карамзина и Натали Пушкина присутствовали на балу у Салтыковых. С. Н. Карамзина пишет, что она «веселилась там больше, чем при дворе». В перерыве между танцами она уговаривала Натали заставить Пушкина «отказаться от нелепого решения» не принимать у себя чету Дантесов, убеждая ее, что это «вновь приведет в движение все языки города». О Пушкине в письмах не упоминается, — очевидно, его на этих балах не было.

Обратимся снова к заметкам Жуковского. Отмечая последовательно все известные ему факты, предшествовавшие дуэли, он фиксирует не только события, в которых принимал участие сам; недостающие звенья он дополняет, собирая сведения у лиц, стоявших близко к этим событиям.



После эпизода с секундантом Жуковский записывает:  
«После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной.

*Les Révélations d'Alexandrine*<sup>1</sup>.

При тетке ласка с женой; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, *des brusqueries*<sup>2</sup>. Дома же веселость и большое согласие.

История кровати.

*La gaillard tire bien*<sup>3</sup>.

*Vous m'avez porté bonheur*<sup>4</sup>».

Жуковский пишет о двуличии Дантеса по отношению к Н. Н. Пушкиной («мрачность при ней» и «веселость за ее спиной»). Очевидно, заметила это наблюдательная Александрина. Александрина встречалась с новобрачными у тетки и бывала у них в доме. До Александрины дошли, вероятно, и сплетни, связывающие ее имя с Пушкиным, и Жуковский с ее слов записал: «История кровати».

Венчались Дантес и Екатерина Гончарова 10 января, сперва в Исаакиевском соборе, затем по католическому обряду в римско-католической церкви святой Екатерины. Невеста была на четыре года старше своего жениха, но в метрической записи Екатерина Николаевна свой возраст убавила. Вместо 28 лет там было записано 26.

Пушкин на свадьбе не был, а Наталья Николаевна приехала только на обряд венчания и сразу вернулась домой, не оставшись у Геккернов на ужин «согласно воле своего мужа», как свидетельствует Александрина Гончарова. Не была она и на обеде у посаженного отца невесты графа Г. А. Строганова. Уехали после венчания и братья Гончаровы.

Свадьба была малолюдной. Присутствовали только поручители невесты (Иван Николаевич Гончаров и граф Строганов) и жениха (ротмистр Бетанкур и будущий секундант Дантеса д'Аршиак). Не были даже ближайшие друзья Пушкиных, — тетка Е. И. Загряжская не допустила в церковь и сгоравшую от любопытства Софью Николаевну Карамзину, и та в письме к

<sup>1</sup> Разоблачения Александрины (фр.).

<sup>2</sup> Грубости (фр.).

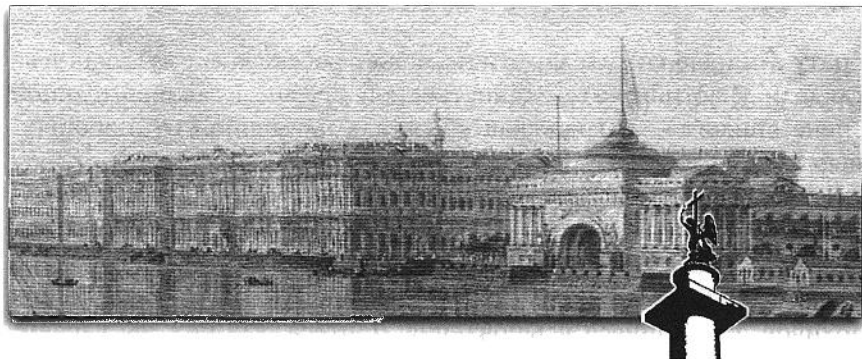
<sup>3</sup> Балагур метит хорошо (фр.).

<sup>4</sup> Вы принесли мне счастье (фр.).

брату Андрею сожалела, что не может рассказать ему, «как выглядели участники этой таинственной драмы в заключительной сцене эпилога». Загряжская уберегала племянниц от любопытных глаз.

После свадьбы Екатерина Гончарова стала именоваться баронессой Геккерн. Но, как выяснилось недавно, в то время она не имела права носить это имя. Нидерландский ученый Франс Суассо опубликовал в 1988 году материалы из нидерландских архивов, касающиеся усыновления Дантеса. Из них мы узнаем, что весной 1836 года Геккерн подал ходатайство королю Нидерландов об усыновлении Дантеса. В усыновлении ему было отказано. По голландским законам «отцу» должно быть не менее 50 лет («старому» Геккерну было в это время 45). Дантесу могли предоставить нидерландское подданство, считать его нидерландским дворянином и разрешить получить фамилию и герб Геккерна, но при условии, что пользоваться этими правами он сможет только через год, т. е. с 5 мая 1837 г., и после опубликования «полагающегося объявления» в газетах Нидерландов. Однако и получение этих прав через год вскоре оказалось под вопросом. После дуэли с Пушкиным в Нидерландах узнали, что Дантес служил в иностранной армии, не уведомив об этом нидерландское правительство. Главная дворянская палата Нидерландов готова была отказать ему в предоставленных ранее привилегиях. Решение в пользу Дантеса было принято лишь 14 января 1838 года. Любопытна мотивировка этого решения: если бы убийца Пушкина стал именоваться Дантесом, то «могла бы возникнуть большая неразбериха в Регистрах Гражданского состояния». Эта «неразбериха» связывается с предположением, что «госпожа д'Антес произвела на свет одного или, возможно, двоих детей: поскольку ее муж носит имя ван Геккерн, то и дети записаны в Регистрах под фамилией ван Геккерн, если отца лишить фамилии ван Геккерн, то он будет носить фамилию д'Антес, а в подобных Регистрах можно внести изменения не иначе как на основании приговора суда». Следует сказать, что когда убийца Пушкина был выслан из России, то документы ему выдавались на имя Дантеса.





## Версия

**Т**ак, и только так представлялись нам преддвуэльные события до выхода в Нидерландах книги Франса Суассо «Поэт. Дама. Дипломат. Последний год жизни Александра Пушкина». В этой книге неожиданным для нас образом трактуются обстоятельства и факты, связанные с этими событиями, резче, чем это было принято, обозначены характеры и скрытые пружины поведения врагов поэта. Но прежде чем рассказать о гипотезе Суассо, полезно вспомнить два уже давно известных документа.

Первый документ — это письмо Е. И. Загряжской, которое она послала Жуковскому в середине ноября, после того как в Петербург приехал старший брат сестер Гончаровых Дмитрий Николаевич. В заметках Жуковского этот



эпизод обозначен записью: «Сватовство. Приезд братьев». Загряжская писала:

*«Слава Богу, кажется все кончено. Жених и почтенный его Батюшка были у меня с предложением. К большому счастью за четверть часа пред ними из Москвы приехал старшой Гончаров, и он объявил им Родительское согласие, и так все концы в воду. Сегодня жених подает по форме о позволении жениться и завтра от невесты поступает к императрице. Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучения, которые вы претерпели во все сие бурное время, я бы сама пришла к вам, чтоб отблагодарить, но право сил нету.*

*Честь имею быть с истинным почтением и с чувствительною благодарностию по гроб мой.*

*К. Загряжская».*



Д. Н. Гончаров

Неизвестный художник. 1835

Письмо это производит странное впечатление. Несомненно, тетка сестер Гончаровых хорошо относилась к Пушкину, желала благополучия его семье, стремилась отвратить от поэта дуэль и спасти от пересудов любимую племянницу. Вполне естественно, что она благодарит Жуковского за хлопоты, по почему и за кого она просит у него прощения? За жену поэта? Не похоже, — Наталья Николаевна сама рассказывала мужу о гнусном поведении обоих Геккернов, от нее он узнал о свидании с Дантесом на квартире Идалии Полетики, ее рассказ послужил фактической основой «оскорбительного» письма, отосланного поэтом Геккерну 26 января. Пушкин писал: «...вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну <...> вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего сына <...> вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына...»

Увлечение Дантесом было у жены поэта вспышкой, которая скоро погасла, а свидание у Полетики отрезвило ее окончательно. Когда умирающий Пушкин говорил своим друзьям о жене: «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — он говорил то, что думал и во что верил. Не могла не верить в это и Загряжская.

Что значат другие слова Загряжской, следующие сразу за сообщением о родительском благословении для Екатерины, которое привез старший брат, — «и так все концы в воду»? Отношения Натальи Николаевны и Дантеса, какими бы они ни были, — это только один «конец», одна линия семейной драмы. Но была и другая драма, которая тоже разыгрывалась в доме поэта, — драма Екатерины Гончаровой, влюбленной в Дантеса. О влюбленности перезрелой девицы в красавца кавалергарда тоже хорошо знали в свете. И тут необходимо еще раз вспомнить второй документ — письмо Александра Карамзина, который уже в середине марта писал брату Андрею об Екатерине Гончаровой: «Та, которая так долго играла роль посредницы, стала в свою очередь любовницей (Карамзин пишет „amante” — у этого слова только один смысл. — Я. Л.), а затем и супругой». На эти слова долго не обращали внимания. Их можно было отнести за счет запальчивости Карамзина, осознавшего после смерти Пушкина всю глубину потери.

Ясность в отношении Екатерины Гончаровой и Дантеса и

попытался внести Франс Суассо. Он выдвинул предположение, даже не предположение, а свое объяснение событий, происшедших в доме поэта. Он убежден, что в ноябре, когда разворачивались преддуэльные события, Екатерина Николаевна уже была беременна. В конспективных заметках Жуковского этого слова нет, и «откровения», которые сделал Геккерн Жуковскому, трактуются как «любовь» сына к Екатерине. А затем обе стороны сразу же заговорили о свадьбе. Мог ли Александр Карамзин писать о Екатерине Гончаровой как любовнице Дантеса без достаточных оснований? Конечно, нет, — такая клевета была недостойна порядочного человека.

Чем подтверждает свое предположение Ф. Суассо? Он еще раз пересмотрел давно известные документы — письма Екатерины Николаевны и Геккерна к Дантесу от 24 марта 1837 года, переписку сестер Гончаровых с братом Дмитрием, который снабжал их деньгами, нашел в нидерландских архивах неизвестные донесения Геккерна своему министру ван-Суллину, наконец, он побывал на родине Дантеса в Сульце и просмотрел там книгу регистрации новорожденных.

Обращение к этим документам позволило Суассо по-новому взглянуть на события тех дней. 9 ноября 1836 года Екатерина Николаевна сообщает брату, что сестры задолжали женщине, которая делает им корсеты. Из ее письма мы узнаем, что корсеты для Екатерины и Натальи стоили на 25 рублей дороже, чем корсет для Александрины. Обратив на это внимание, Ф. Суассо предположил, что для двух сестер делались специальные корсеты, скрывающие беременность.

24 марта 1837 года Екатерина Николаевна и Геккерн пишут уже высланному из Петербурга Дантесу, что Екатерине было плохо, боялись выкидыша и что, к счастью, все обошлось благополучно. Из точного перевода писем следует, что беременность переступила положенные два с половиной месяца после свадьбы. Но еще раньше, через три недели после свадьбы, Геккерн шлет ван-Суллину донесение, полное озабоченности. Он не знает, какое влияние на его карьеру окажет дуэль его приемного сына и смерть поэта, и объясняет свое особое беспокойство тем, что ему «придется содержать семью, в которой вскоре ожидается прибавление». Франс Суассо полагает, что это донесение отражает реальное положение дел в семействе Геккернов. Не удивительно, что Высший совет дворянства Нидерландов (как ука-



зывалось выше) только 14 января 1838 года решил дать право Дантесу носить фамилию Геккерн, мотивируя это тем, что госпожа Дантес к этому времени имела одного или двух детей, зарегистрированных под этим именем.

Просмотрев книгу актов гражданского состояния в Сульце, Ф. Суассо убедился, что в записях о новорожденных обязательно есть подпись врача, принимавшего роды. У четы Дантесов-Геккернов было четверо детей. Трое младших зарегистрированы по всем правилам — с подписью врача, — и только при регистрации первой дочери Матильды-Евгении этой подписи нет. Дата ее рождения, 19 октября, соответствует правилам благопристойности, но, по замечанию Ф. Суассо, дедушка Матильды-Евгении, родной отец Жоржа Дантеса, Жорж-Конрад Дантес был в Сульце достаточно влиятельным человеком, чтобы чиновник, делающий записи в актах гражданского состояния, поставил там дату, которую ему назвали. Ф. Суассо вычислил, когда Дантес обесчестил барышню Гончарову. Он считает, что это случилось на Каменном острове в последних числах августа, когда амазонки Гончаровы постоянно были окружены кавалергардами.

Если Ф. Суассо прав и в ноябре, когда Пушкин получил анонимное письмо, Екатерина Николаевна действительно ждала ребенка, тогда «открытия» Геккерна Жуковскому предстают совсем в другом свете. И «бешенство» Пушкина, и «его слезы», о которых читаем у Жуковского, и все поведение поэта в домах, где он встречался с Дантесом и которое так шокировало даже близких его друзей — Карамзиных и Вяземского, получают более убедительное объяснение. Дуэль была необходимой и неизбежной.

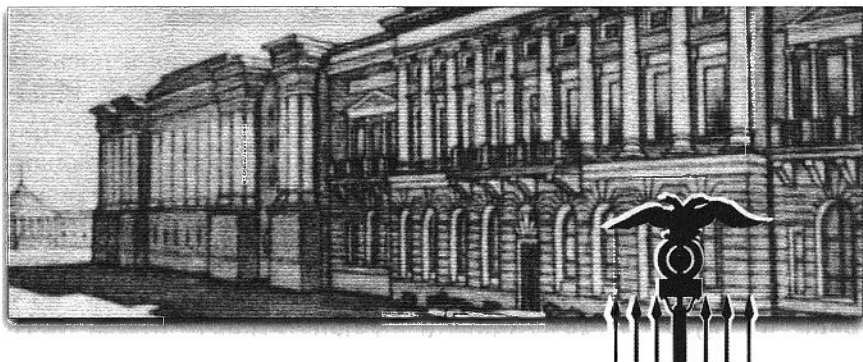
Гипотеза Суассо может дать еще одно объяснение, более убедительное, чем то, которое было предложено в предыдущей главе, одному из значительных эпизодов в истории дуэли. Почему, написав письмо Геккерну в ноябре и прочитав его Соллогубу, Пушкин не решился его отсылать? Может быть, он щадил барышню Гончарову, ее репутацию, боялся, что письмо может вызвать непредсказуемую реакцию Геккернов и помешать свадьбе, не хотел новых сплетен вокруг своего дома и поэтому отослал письмо после свадьбы свояченицы?

Из Петербурга Дантес был выслан 19 марта, а вскоре после него уехал из России и «старый» Геккерн с Екатериной

Николаевной. Екатерина Николаевна после свадьбы в письмах братьям пишет о своем неожиданном-негаданном счастье. Иные ноты проскальзывают в письмах средней сестры, Александрины. Рассказывая брату Дмитрию о своих визитах к Геккернам, она пишет: «Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия, она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни: более спокойна, но, мне кажется, скорее печальна иногда. Она слишком умна, чтобы это показывать, и слишком самолюбива тоже, но у меня, я считаю, взгляд слишком пронизательный, чтобы этого не заметить».

Возможно, что так и было: Екатерина Гончарова выиграла «в отношении приличия», а Пушкин заплатил за это жизнью.





## Дуэль

Следующая группа записей Жуковского относится к самому дню дуэли. Последний преддуэльный эпизод обозначен фразами: «Балагур метит хорошо», «Вы принесли мне счастье». Что они значат?

Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к записи, сделанной после дуэли. Занеся на бумагу все подробности, связанные с возвращением раненого Пушкина домой, Жуковский добавляет: «В понедельник приезд Геккерна. Ссора на лестнице». После этих слов следует запись о получении денег на похороны Пушкина: «Получены деньги из Государств. казначейства 1-го февраля 10 000. Отдал графу Григорию Александровичу Строганову».

Запись о приезде Геккерна к Пушкину в понедельник 25 января заслу-





живает особого внимания. Именно в понедельник 25 января Пушкин написал Геккерну непоправимо оскорбительное письмо. Выказанную Соллогубу угрозу: «Теперь мне старичка подавайте» — он осуществил в этот день после прихода Геккерна. Записав «ссора на лестнице», Жуковский уже знал от В. Ф. Вяземской (они вместе проводили долгие часы после дуэли на квартире умирающего Пушкина), что в тот же понедельник, 25 января, Пушкин на вечере у Вяземских сказал хозяйке дома, глядя на Дантеса: «Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что ожидает его по возвращении домой». Вяземская спросила с тревогой: «Что же именно... вы ему написали?» Пушкин, как вспоминает она, сделал утвердительный знак и прибавил: «Его отцу».

Очевидно, «ссора на лестнице» была последней вспышкой гнева.

Жуковский не объясняет, зачем приезжал Геккерн и что вызвало ссору (в доме все должны были ее слышать — и домашние, и слуги). Геккерн, конечно, просил доложить о себе, но, взбешенный его приходом, поэт сам выбежал на лестницу, чтобы выгнать посетителя вон.

Объяснение этой ссоры мы находим в «оскорбительном» письме Пушкина. Пушкин начинает его словами: «Барон! Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно». Первая часть этого «итога» действий Геккернов кончается «жалкой ролью», которую Пушкин заставил сыграть Дантеса после вызова; вторая — изложение махинаций самого Геккерна. Дальше следует фраза: «Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей». Почему вдруг вырвались эти слова? Письмо делало дуэль неизбежной, при чем же здесь «сношения между семьями»? Когда первый конфликт, в ноябре, был улажен, секундант Дантеса д'Аршиак сказал Пушкину: «...я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем, как с знакомым». — «Напрасно, — воскликнул запальчиво Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может».

Тогда, в ноябре, это могло казаться признаком остаточного раздражения, теперь стало очевидностью. Пушкин порвал все отношения с Геккернами. Ни он сам, ни его жена не принимали их и не бывали в их доме.



Решение Пушкина не иметь ничего общего с Дантесом как бы сохраняло в силе его вызов. Еще одной попыткой сгладить отношения, снять со своего дома оттенок неблагопристойности, заставить общество забыть о событиях, предшествовавших дуэли (в своем доме Геккерны разыгрывали «веселость и большое согласие», как записал Жуковский), и был приход Геккерна к Пушкину.

Слова Пушкина о «сношениях» между семьями не укладываются в контекст оскорбительного письма, но их легко объяснить как ответ на только что состоявшееся обсуждение этого вопроса (если приступ гнева и «ссору на лестнице» можно назвать обсуждением).

Появлению Геккерна предшествовали события, которые Жуковский обозначил французскими фразами о «балагуре» и «счастье». Объяснение этим записям дают некоторые свидетельства современников. Вот отрывок из того самого письма С. Н. Карамзиной, в котором она с горечью вспоминает, как легко судачила о семье поэта в самый день «этого великого несчастья»: «Сказать тебе, что в точности вызвало дуэль теперь, когда женитьба Дантеса, казалось, сделала ее невозможной, — об этом никто ничего не знает. Считают, что на балу у Воронцовых, в прошлую субботу, раздражение Пушкина дошло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом. А эта неосторожная не побоялась встретиться с ним опять в воскресенье у Мецкерских и в понедельник у Вяземских! Уезжая от них, Пушкин сказал тетушке: „Он не знает, что его ожидает дома!“ То было письмо к Геккерну-отцу, оскорбительное сверх всякой меры, он называл его, отца, старой сводней (тот в самом деле исполнял такую роль), а сына — подлецом, трусом, осмелившимся и после своей женитьбы обращаться вновь к госпоже Пушкиной с казарменными речами, с гнусными объяснениями в любви, и грозил, если этого оскорбления будет недостаточно, оскорбить его публично на балу. Тогда Дантес послал к нему некоего господина д'Аршиака, из французского посольства, своего секунданта, чтобы передать ему вызов; это было во вторник утром, а вечером, на балу у графини Разумовской, я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил, он несколько судорожно сжал мне руку, но я не обратила на это внимания».

Слова «казарменные каламбуры» (это выражение из письма Пушкина к Геккерну) раскрываются в воспоминаниях Соллогуба: «Дантес... встречаясь на балах с Натальей Николаевной, подходил к ней и балагурил (здесь то же сравнение: Дантес — балагур, что и у Жуковского. — Я. Л.) с несколько казарменной непринужденностью. Взрыв был неминуем и произошел несомненно от площадного каламбура. На бале у гр. Воронцовой, женатый уже, Дантес спросил Наталью Николаевну, довольна ли она мозольным оператором, присланным ей его женой. — *Le pédicure prétend*, — прибавил он, — *que votre cor est plus beau que de ma femme*»<sup>1</sup>. Каламбур строился на игре французскими словами «cor» — мозоль и «corps» — тело.

Бал у Воронцовых состоялся 23 января. Дантес мстил Пушкину за испытанное унижение и свой «казарменный» комплимент постарался сказать так, чтобы его слышали все окружающие. «Балагур метит хорошо» — похоже на реплику человека, слышавшего этот разговор. Пикантный каламбур, по-видимому, быстро распространился среди присутствующих. Дошел он и до Пушкина. «Вы принесли мне счастье», — очевидно, слова Пушкина, сказанные Дантесу. Его пошлые остроты, казарменный тон отвратили от него жену поэта и потому «принесли счастье» Пушкину.

«Казарменные каламбуры» — вот и все, что сумел узнать Жуковский о причинах отправки «ругательного» письма. О ссоре на лестнице он услышал, как мы видели, позднее, уже тогда, когда Пушкин был ранен.

События дуэли записаны Жуковским со скрупулезной точностью. Вот эта запись: «Встал весело в 8 часов. — После чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. — Потом увидел в окне Данзаса, в дверях вступил радостно. Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут пошел по коридору с пистолетами. — По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешу; вышел на лестницу. — Возвратился, — [принес] велел подать в кабинет большую шубу и [поехал] пошел пешком до извозчика. — Это было ровно в 1 ч. — Возвратился уже темно. В карете. Данзас входит, спрашивает: «Барыня дома — вынесли из кареты

<sup>1</sup> Мозольщик уверяет, что у вас мозоль лучше, чем у моей жены (фр.).

люди. — Камердинер взял его в охапку. Грустно тебе нести меня — попросил.

Жена встретилась в [диванной] передней — дурнота — *p'ent res pas*<sup>1</sup>. Его положили на диван. Горшок. Разделся и все новое белье. Сам велел все; потом лег. У него все был Данзас. Жена вошл<a>, когда он был одет и когда уже послали за Арендтом. — Задлер. — Арендт часу в девятом.

В понедельник приезд [Дантеса с] Геккерн<a> ссора на лестнице».

Запись Жуковского донесла до нас настроение Пушкина в этот трагический день его жизни. Мы узнаем, что он «встал весело», «весело» ходил по комнате, «пел песни», «радостно» встретил Данзаса.

К. Брюллов, который познакомился с Пушкиным еще в мае 1836 года, говорил: «Какой Пушкин счастливый! Так смеется, что словно кишки видны». Пушкин, действительно, был счастливым мужем, отцом, был весел с друзьями. Совсем другие эпитеты сопровождают упоминания о Пушкине в письмах С. Н. Карамзиной через несколько месяцев. Вот как описывает она встречу с Дантесом у Мещерских: «Третьего дня он (имеется в виду Дантес, который только что оправился от болезни. — Я. Л.) вновь появился у Мещерских, сильно похудевший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, быть может, очень несчастен. На другой день он пришел снова, на этот раз со своей нареченной и, что еще хуже, с Пушкиным; снова начались кривляния ярости и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими отрывистыми словами и время от времени демоническим хохотом. Ах, смею тебя уверить, это было ужасно смешно».

Пушкин и его жена попали в ловко расставленную западню. Движущие силы интриги были скрыты от посторонних глаз. В свете видели только отдельные сцены драмы, фиксировали настроение поэта. Свет был шокирован открытым проявлением эмоций.

Может быть, однажды у Пушкина мелькнула надежда вы-

<sup>1</sup> Не входите (фр.).



путаться из ловушки — 23 ноября, когда он дал слово императору не драться ни под каким предлогом. Он мог надеяться, что царь возьмет под защиту его честь и честь его жены. Мало ли возможностей было у императора? Пасквиль, сочиненный посланником, задевал и его, императора всея Руси. И Николай I действительно расправился с Дантесом и Геккерном, но уже после дуэли. Правда, у императора была и личная неприязнь к «старому» Геккерну.

Данзас утверждал, что полиция знала о дуэли, но «жандармы были посланы, как он слышал, в Екатерингоф будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна происходить там, а она была за Черной речкой, около Комендантской дачи». Версия о посылке жандармов отрицается пушкиноведами. Однако воспоминания Данзаса отличаются точностью. Человек обязательный, с четким представлением о чести и честности, он не стал бы выдумывать небывицы. Если он говорит «слышал», можно полагать, что он слышал историю о жандармах от человека, которому мог доверять, и не стал бы отдавать в печать заведомую выдумку. И все-таки прямых доказательств, что Бенкендорф знал о дуэли, у нас нет, и версия, которую мы можем предложить, держится на весьма зыбких основаниях.

В. Ф. Вяземская рассказывала П. И. Бартеневу, что «накануне дуэли, вечером, Пушкин явился на короткое время» к ней и сказал, что «положение стало невыносимо и что он послал Геккерну вторичный вызов». Далее Бартенев так передает сообщение Вяземской: «Вечер длился долго. Княгиня Вяземская умоляла Василия Перовского и графа М. Ю. Виельгорского дожидаться князя и вместе обсудить, какие приняты меры. Но князь вернулся очень поздно». Здесь несомненная путаница. В письме, написанном сразу после смерти Пушкина, Вяземская сообщает, что узнала об отправлении письма Геккерну не 26, а 25 января. Трудно предположить, что Пушкин еще раз заходил к ней, чтобы сообщить об этом. Но разговор с Виельгорским и Перовским мог происходить накануне дуэли, когда князя не было дома. В этот день (26-го) и могла возникнуть идея как-нибудь повлиять на события. Мы знаем, например, об активных действиях Виельгорского после 4 ноября, когда он, получив анонимный пасквиль, не отнес его Пушкину (как сделали Хитрово и Соллогуб), а передал в III Отделение. Не желая причинить лишнюю боль поэту, он постарался принять меры,



*В. А. Перовский*

В. ГАУ. 1841

чтобы полиция могла найти оскорбителей. Стремление предотвратить дуэль с помощью III Отделения противоречило принятым нормам поведения, и имя человека, который, может быть, предпринял эту отчаянную попытку спасти Пушкина, вряд ли когда-нибудь откроется. Остается только верить тому, что друг Пушкина «слышал» о действиях Бенкендорфа.

Перед дуэлью поэт почувствовал, что может освободиться от мучительных мыслей последних месяцев. Рядом с ним в тот день был его лицейский друг Данзас. Выбор Данзаса в секунданты подтверждает решимость Пушкина драться во что бы то ни стало; Данзас не был светским человеком, не принадлежал к пушкинскому кругу и поэтому меньше, чем кто-либо другой, мог сделать для предотвращения дуэли. Вот как сам Данзас объяснял свое согласие быть секундантом Пушкина (в рапорте, поданном в военно-судную комиссию): «После всего, что я услышал у г. д'Аршиака из слов Пушкина, хотя вызов был со стороны г. Геккерна, я не мог не почитать избравшего

меня в свидетели тяжко оскорбленным в том, что человек ценит дороже всего в мире: в чести жены и его собственной; оставить его в сем положении показалось мне невозможным, я решился принять на себя обязанности секунданта».

Когда послал Пушкин за Данзасом? Мы знаем, что накануне, на балу у графини Разумовской, он обратился с просьбой быть его секундантом к Артуру Медженису, состоявшему при английском посольстве. Н. М. Смирнов вспоминал, что Пушкин уважал Меджениса за «честный нрав». В два часа ночи Медженис, после разговора с д'Аршиаком, прислал Пушкину с нарочным свой решительный отказ. Так что за Данзасом Пушкин мог послать только рано утром в день дуэли. Примечательная деталь: о том, что в этот день до часу Пушкин не выходил из дому, мы знаем только из заметок Жуковского. Сам Данзас и все мемуаристы утверждают, что встреча с Данзасом была «случайной», на улице. Поэт будто бы, увидев Данзаса, посадил его в свои сани и попросил поехать с ним во французское



К. К. Данзас

Неизвестный художник. 1836 (?)

посольство, чтобы присутствовать при «одном разговоре». Свидетельства о случайной встрече — несомненно, результат сговора близких поэту людей. Цель этого сговора — смягчить вину Данзаса перед судом, так как по закону секунданты при «зачахтии драк должны были приятельски искать помирить ссорящихся и ежели того не могут учинить, то немедленно по караулам послать и о таком деле объявить».

В 12 часу утра в тот день у Пушкина успел побывать еще библиограф Ф. Ф. Цветаев, который «говорил с ним о новом издании его сочинений». «Пушкин был весел», — вспоминает Цветаев.

Подробности дуэли известны со слов единственного свидетеля со стороны Пушкина — Данзаса. В конспективных заметках Жуковского отмечено только, когда Пушкин вышел из дому и когда вернулся.

Вместе с Данзасом Пушкин поехал во французское посольство к д'Аршиаку. Представив д'Аршиаку своего секунданта, поэт вернулся домой. Данзас остался, чтобы выработать условия дуэли. Вот как пишет он об этих условиях: «Драться Пушкин с Дантесом должен был в тот же день 27 января в 5-м часу пополудни. Место поединка было назначено секундантами за Черной речкой возле Комендантской дачи. Оружием были выбраны пистолеты. Стреляться соперники должны были на расстоянии двадцати шагов, с тем чтобы каждый мог сделать пять шагов и подойти к барьеру: никому не было дано преимущества первого выстрела; каждый должен был сделать один выстрел, когда ему угодно, но в случае промаха с обеих сторон дело должно было начаться снова на тех же условиях. Личных объяснений между противниками никаких допущено не было; но в случае надобности за них должны были объясняться секунданты».

С этой бумагой Данзас вернулся к Пушкину. Условясь сойтись с ним в кондитерской Вольфа и Беранже (Невский пр., 18), Данзас поехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые, как пишет Данзас, «были уже выбраны Пушкиным». Около четырех часов Данзас был в кондитерской Вольфа, где Пушкин уже ждал его. Через Троицкий мост они поехали на место дуэли. По дороге встретили Наталью Николаевну — она возвращалась домой после катания с гор. Но жена поэта была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону.



Встретилась им и молоденькая графиня А. К. Воронцова-Дашкова. Она видела и Дантеса, направляющегося в одну сторону с Пушкиным. Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастье. Вспоминая об этом, один из современников Пушкина — М. Н. Логинов — пишет: «Вот новое доказательство, до какой степени в петербургском обществе предвидели ужасную катастрофу: при первом признаке ее приближения уже можно было догадываться о том, что произойдет».

На Неве Пушкин шутливо спросил Данзаса: «Не в крепость ли ты везешь меня?». «Нет, — ответил Данзас, — через крепость на Черную речку самая близкая дорога».

Ехали немногим более получаса. Впереди виднелись другие сани с Дантесом и д'Аршиаком. Данзас вспоминал, что, «выйдя из саней и сговорясь с д'Аршиаком», он «отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое саженьях в полутора от Комендантской дачи: более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрыть от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило».

День выдался ясный, морозный. Закутанный в медвежью шубу, Пушкин ждал, пока секунданты утопчут снег и приготовят место дуэли. Секунданты отмерили тропинку, своими шинелями обозначили барьеры, один от другого в десяти шагах. Каждого из противников поставили в пяти шагах от своего барьера. Подали им пистолеты. Данзас, махнув шапкой, сделал знак сходитьсь. Пушкин первый подошел к барьеру и начал наводить пистолет. Пушкин был отличный стрелок, но Дантес успел выстрелить долей секунды раньше...

Пушкин упал на шинель Данзаса и остался недвижим. При падении его пистолет увяз в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. Секунданты бросились к нему. Сделал несколько шагов в его сторону и Дантес. После нескольких секунд неподвижности Пушкин приподнялся до половины на левую руку и сказал: «Attendez, je me sens deforce pour tirer mon coup»<sup>1</sup>. Дантес вернулся на свое место, стал боком и прикрыл грудь правой рукой. Данзас подал Пушкину новый пистолет. Опершись левой рукой о землю, Пушкин выстрелил. Увидя падающего Дантеса, он подбросил вверх пистолет и крикнул «Bravo!»

<sup>1</sup> Подождите, у меня хватит сил на выстрел (фр.).



Перемена пистолета послужила предметом особого разбирательства в военно-судной комиссии, рассматривавшей обстоятельства дуэли. Д'Аршиак считал, что Данзас не имел права менять пистолет и в описание поединка, которое он вручил Вяземскому, внес такие строки: «Так как оружие, бывшее у Пушкина в руке, оказалось покрытым снегом, то он взял другое. Я мог бы сделать возражение, но знак, данный мне бароном Жоржем Геккереном, мне в этом воспрепятствовал». Данзас горячо протестовал против заявления д'Аршиака. «Я не могу оставить без возражения заявление д'Аршиака, будто бы он имел право оспаривать обмен пистолета и был удержан в том знаком со стороны г. Геккерена. Обмен пистолета не мог подавать повода во время поединка ни к какому спору. По условию, каждый из противников имел право выстрелить, пистолеты были с пистонами, следовательно, осечки быть не могло; снег, забившийся в дуло пистолета А. С., усилил бы только удар выстрела, а не отвратил бы его; никакого знака ни со стороны г. д'Аршиака, ни со стороны г. Геккерена подано не было. Что до меня касается, я почитаю оскорбительным для памяти Пушкина предположение, будто он стрелял в противника своего с преимуществами, на которые не имел права. Еще раз повторяю, что никакого сомнения против правильности обмена пистолета сказано не было; если б оно могло возродиться, то г. д'Аршиак обязан бы был объявить возражение свое и не останавливаться знаком, будто от г. Геккерена поданным; к тому же сей последний не иначе мог бы узнать намерение г. д'Аршиака, как тогда, когда бы и оно было выражено словами; но он их не произнес. Я отдаю полную справедливость бодрости духа, показанной во время поединка г. Геккереном, — но решительно опровергаю, чтобы он произвольно подвергнулся опасности, которую бы он мог от себя устранить. Не от него зависело не уклониться от удара своего противника, после того, как свой нанес». Данзас писал свой ответ д'Аршиаку с уверенностью в своей правоте — как боевой офицер он знал возможности пистолетов и пуль.

Дантесу повезло. Пуля, пробив руку, натолкнулась на пуговицу его сюртука и рикошетировала. Эта удачливость противника поэта стала питательной средой для создания в советском литературоведении легенды, согласно которой на Дантесе во время дуэли была кольчуга или еще какое-то защитное приспособление. Об этой легенде следует сказать несколько слов. Она



прямо связана с биографией Пушкина, потому что уводит внимание от истинных причин гибели поэта и способствует неисторическому взгляду на исторические события и личности.

В каждую эпоху подлецы имеют свой, свойственный этой эпохе, исторический характер и свои стимулы поведения. Подлец в пушкинскую эпоху мог насмерть забить крепостного, обесчестить замужнюю даму или девицу (иногда даже идя на риск возмездия), но он не мог, отправляясь на поединок, надеть защитное приспособление — даже в случае легкого ранения оно было бы обнаружено, а это неизбежно привело бы к остракизму: ни один порядочный человек не подал бы ему руки, он был бы отрешен от общества.

После выстрела Пушкин снова упал и несколько раз впадал в полуобморочное состояние. П. А. Вяземский записал позднее (вероятно со слов Данзаса или д'Аршиака): «Когда оба противника лежали каждый на своем месте, Пушкин спросил д'Аршиака:

— Est-il tue?

— Non, mais il est blessé au bras et à la poitrine.

— Ses singulier: j'avais cru que cela m'aurait plaisir de le tuer, mais je sens que non.

Д'Аршиак хотел сказать несколько мировых слов, но Пушкин не дал ему времени продолжать.

— Au reste, c'est égal; si nous rétablissons tous les deux, ce sera à recommencer»<sup>1</sup>.

Кровь из раны Пушкина сильно лилась. Чтобы поднять его и донести до саней, секунданты позвали извозчиков и вместе с ними разобрали забор, который мешал саням подъехать ближе к раненому. Поэта подняли и положили в сани. У Комендантской дачи стояла удобная карета, присланная на место дуэли Геккерном. Раненный легко Дантес и д'Аршиак предложили Данзасу переложить в нее Пушкина. Данзас принял это предложение, но решительно отверг другое — скрыть его участие в дуэли (дуэли в России были запрещены и ему грозил суд). По дороге

<sup>1</sup> — Он убит?

— Нет, но ранен в руку и грудь.

— Странно, я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет (фр.).

— Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем (фр.).

домой Пушкин был весел и, преодолевая боль, старался шутить. Мучившие поэта боли заставили его вспомнить о дуэли их общего знакомого, офицера лейб-гвардии Московского полка Щербачева с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот. Жалуясь на боль, Пушкин сказал Данзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев».

Дальше все было так, как записал Жуковский. В 6 часов вечера карета подъехала к дому на Мойке. У подъезда Пушкин попросил Данзаса выйти вперед и прислать слуг, чтобы вынесли его из кареты и, если жена дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасная. Данзас через столовую, в которой уже был накрыт стол к обеду, и гостиную прошел без доклада в кабинет жены Пушкина. Увидев Данзаса, Наталья Николаевна догадалась о случившемся и бросилась в переднюю. В это время камердинер уже вносил Пушкина в дом. «Грустно тебе нести меня?» — спросил Пушкин.

Поэта внесли в кабинет и положили на диван. Пошли его последние, предсмертные часы.

Пытался ли Данзас спасти Пушкина? В. А. Нащокина рассказывала потом (со слов Данзаса), что по дороге на Черную речку он ронял пули, надеясь, что кто-нибудь увидит их и догадается, куда и зачем едут сани с Пушкиным и Дантесом. И. И. Пущин писал И. В. Малиновскому из Сибири 14 июля 1840 года: «Последняя могила Пушкина! Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная история <...>, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта — товарища, достояние России...» Хочется верить, что какие-то действия предпринимал Данзас не только по дороге к Черной речке, но и на месте дуэли. На этой вере основан рассказ одного из авторов книги «Тайны гибели Пушкина и Лермонтова» Д. А. Алексева. Он убежден, что для Данзаса был только один способ облегчить последствия дуэли — ослабить губительное действие пули и «окончить поединок первым легким ранением». Этот способ состоял в том, чтобы уменьшить заряд пороха пистолетов. Автор приводит эпизод из повести А. Марлинского «Испытание», где один из секундантов, «желая сохранить жизнь поединщикам», уверяет, что на шести шагах «...лучше уменьшить заряд по малости расстояния». Однако документальных данных, подтверждающих догадку Алексева,

нет. Непоправимое случилось. Пушкин был тяжело ранен. И с таким ранением тогдашняя медицина справиться не могла.

И, наконец, четвертая группа записей Жуковского:  
«Спасский. О жене и Грече.

Арендт.

Просит прощения.

Уехали.

Страдание ночью.

Возвращение Арендта.

Фельдъегерь.

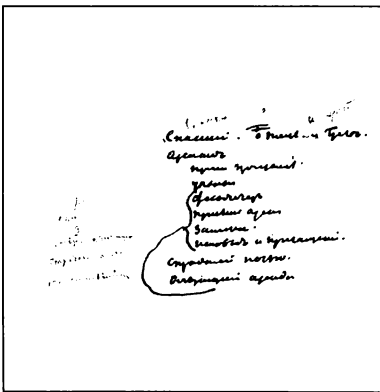
Прибытие Арендта.

Записка.

Исповедь и причащение».

В первый же день своего ранения Пушкин уже знал, что умирает, знал, что нужно привести в порядок дела, что у него есть еще несколько дней (или часов), чтобы позаботиться о жене и детях. Жуковский записал: «Спасский. О жене и Грече». Это были первые распоряжения Пушкина. «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, — сказал поэт доктору Спасскому, — не скрывайте от нее, в чем дело; вы ее хорошо знаете; она должна все знать». Пушкин понимал, что «злые языки города» будут судачить о его жене. Ее сочтут виновницей дуэли, ее репутация будет обсуждаться, но у нее уже не будет защитника. Если дать ей надежду, что он останется жить, то ее успокоенность сочтут за равнодушие.

Поэтому первые его слова Спасскому были о жене. Он не забыл выразить соболезнование Н. И. Гречу — 25 января умер сына Греча Николай, а в день дуэли состоялись похороны. Успел Пушкин распорядиться и своими бумагами: кое-какие из них попросил Данзаса сжечь, «продиктовал ему все долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем». Просил прощения у царя за то, что не выполнил обещание, данное ему (на аудиенции 23 ноября). Только



Автограф В. А. Жуковского

Конспективные заметки.

Запись 4-я

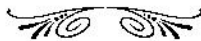
*Н. Ф. Арендт*

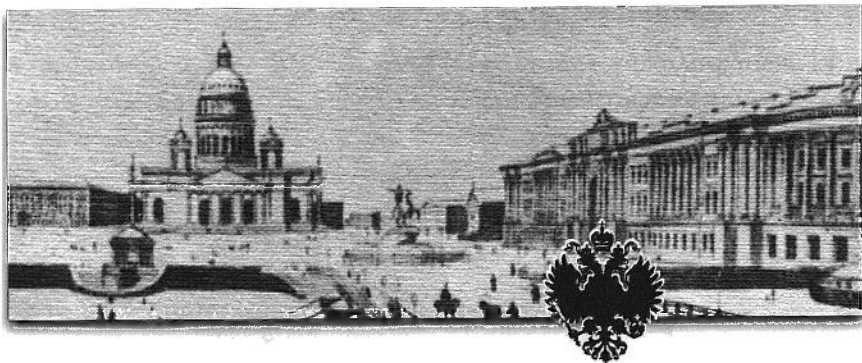
Неизвестный художник

двумя неопределенными словами «просит прощения» и обмолвился Жуковский об этой аудиенции в своих конспективных заметках.

Хорошо известны слова Николая I, сказанные Жуковскому: «Пушкина мы насилу заставили умереть как христианина». Между тем свидетельства современников о последних днях поэта, казалось бы, не дают повода царю считать себя приобщенным к тому, что было естественным для умирающего человека, — исповедь и причащение.

Жуковский со слов доктора Спасского пишет, что «в самый день дуэли» у Пушкина «спросили, желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром». Спасский рассказывает, что уже после этого к Пушкину приехал лейб-медик Арендт с запиской от царя.





## Записки от царя

**П**ривезя записку от царя, Арендт должен был только прочитать ее Пушкину и тотчас вернуть. Оставить записку монарха в руках подданного значило бы сделать из нее «рескрипт», то есть оказать такую «высочайшую милость», которой Пушкин, в глазах Николая I, был недостоин. Текст записки сохранился только в памяти друзей Пушкина. Николай писал: «Если Бог не велит нам уже увидеться на этом свете, то прими мое прощение и совет умереть по-христиански и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на мое попечение». Решение исповедаться было уже принято, и записка царя, может быть, только ускорила обряд. Говоря, что Пушкина

«насилу заставили умереть как христианина», Николай I создавал легенду о Пушкине-безбожнике, что в устах монарха было равнозначно бунтовществу.

И все же записка от царя должна была успокоить Пушкина. Постоянно мучивший его вопрос перед каждой попыткой выйти в отставку «чем нам жить будет?» теперь уже касался только его жены и детей. «Нам» в сознании поэта менялось на «им». Он знал, что оставляет своей семье только долги. Поэтому на прочитанную ему записку он ответил искренней благодарностью. Но что именно сказал Пушкин, какие слова он просил передать государю, мы знаем только со слов Жуковского в его письме к С. Л. Пушкину. Молва современников дополнила эпизод с запиской не существующими подробностями, изменяя и расцвечивая в устной передаче свидетельства о милостивых строках Николая, преобразая подчас этот эпизод в переписку между царем и поэтом. Так, например, А. Ф. Воейков писал А. Я. Стороженко, что записка царя была его ответом на письмо Пушкина, написанное сразу после ранения.

Эпизод с запиской и благодарственные слова Пушкина советское литературоведение сочло своим долгом «разоблачать». Особенно непримиримо относился к Жуковскому П. Е. Щеголев, историк души Пушкина, доказывая, что слова благодарности сочинены Жуковским и что друзья поэта создавали миф о примирении поэта и государя. Следует сказать, что в чем-то Щеголев был прав. Слова Пушкина Жуковский приводит не только в письме к отцу поэта, но и повторяет их в статье «Последние минуты Пушкина», напечатанной в пятом (посмертном) томе «Современника». В ней Пушкин произносит длинную фразу, которая именно потому, что она длинная, кажется фальшивой. Вот эта фраза: «Скажи государю, что мне жаль умереть; был бы весь его. Скажи, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я ему желаю счастья в его сыне, что я желаю счастья его в счастье России». Поскольку, по цензурным соображениям, эпизод с запиской в статье убран, то Пушкин произносит эти слова в момент прощания с друзьями, т. е. когда умирающий прощается со спутниками своей жизни.

Что же мы видим в письме, отправленном отцу поэта? Там Пушкин обращается к царю со словами благодарности дважды и, соответственно, длинная фраза делится на две. Первый раз — когда Арендт привез записку от царя с обещанием взять

на себя заботу о семье поэта. На вопрос Жуковского, что передать царю, Пушкин говорит: «Скажи ему, что мне жаль умереть; был бы весь его». Второй раз — после того как Жуковский, побывав во дворце, возвращается к Пушкину. Царь просит передать поэту следующее: «Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен: они мои». В ответ на эти слова Пушкин и говорит: «Вот как я утешен! Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю счастья <его> в счастье России».

Первая фраза подтверждается запиской доктора Спасского. Конечно, нас могут шокировать слова «был бы весь его», но вспомним, что слова эти произносятся в самый экстремальный момент жизни человека, когда тот знает, что умирает, и одновременно в тот момент, когда он сознает, что с него снята главная земная забота — забота об оставшейся семье. То, что вторая фраза, по-видимому, сочинена Жуковским, Щеголев отметил правильно. У других мемуаристов ее нет. Почему она появилась в письме и в статье Жуковского? Была ли она вызвана стремлением Жуковского создать легенду о благонамеренном христианине Пушкине, полностью преданном своему монарху, как считает Щеголев, или же была вызвана какими-то неизбежными обстоятельствами? Нам представляется справедливым второе предположение.

29 января, вечером, Жуковский (тогда еще он не думал о письме, которое потом напишет отцу поэта и которое затем появится в «Современнике») представил Николаю I проект записки о милостях семье Пушкина. Туда он и вписал приведенную фразу: заботясь о семье поэта, он как бы выполнял волю Пушкина. Это была плата за благополучие семьи покойного. Фраза эта появилась в следующем контексте: после пожеланий, касающихся материальных дел семьи и издания сочинений Пушкина в пользу его детей, Жуковский пишет: «К вышесказанному осмеливаюсь прибавить личную просьбу. Вы, государь, уже даровали мне высочайшее счастье быть через вас успокоителем последних минут Карамзина. Мною же передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу с каким-то судорожным движением (и что я вчера забыл передать в <ашему> в <еличе-



ству>): как я утешен! Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастья его в сыне, что я желаю счастья <его> в счастии России. Итак, позвольте мне, государь, и в настоящем случае быть изъяснителем вашей монаршей воли и написать ту бумагу, которая должна будет ее выразить для благодарного Отечества и Европы». Дальше шли снова денежные просьбы («Прибавлю еще одно: в доме Пушкина нашлось всего навсего триста рублей <...> не благоволите ли что-нибудь пожаловать на первые домашние нужды?») и просьба не судить строго Данзаса.

Итак, помимо денежных просьб, Жуковский напоминает царю о «бумаге», которую он составил после смерти Карамзина. Назначение пенсии Карамзину сопровождалось специальным царским рескриптом, в котором утверждалось национальное и государственное значение деятельности историографа. Составить и опубликовать аналогичный указ о Пушкине царь отказался. Широко известен его ответ Жуковскому, который приводит А. И. Тургенев в письме к А. И. Нефедьевой: «Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и для семейства его, и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобою: это — в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской <...> а Карамзин умирал как ангел». Так Николай I выразил нежелание сообщать своим «милостям» семье Пушкина значение государственного акта и придал им характер личного благодеяния. Благочестивости Пушкина царь не верил. Надо думать, не забыл он и эпизод с «Гавриилиадой», разыгравшийся в 1828 году. Пушкин для него был автором «кощунственной» поэмы.

Уловка Жуковского убедить царя, что он «забыл» передать ему пушкинские слова, не удалась. Однако написанные Жуковским однажды слова неизбежно должны были войти и в следующие документы — в публикацию в «Современнике» и в письмо, не предназначенное для печати.

Сама по себе эта составленная Жуковским фраза весьма характерна — отличается большим тактом и полна глубокого достоинства. Слова царя (в записке и еще раз переданные Пушкину через Жуковского) и слова Пушкина расположены в одной смысловой плоскости. Царь обещает поэту позаботиться о его семье, поэт отвечает тем же — желает счастья царю в его сыне.



Но поэт — частное лицо, и его дети — это только его дети. Император же — «отец» не только своего сына, но и всех своих подданных. Ответ Пушкина, как его составил Жуковский, не просто полон достоинства, но и согласуется с бытующим в России этикетом.

Эту же этикетную формулу (царь — наш отец, а подданные — его дети) мы находим и в письмах самого Пушкина, адресованных Бенкендорфу, но писавшихся для царя. Пушкин не раз пишет об «отеческой» доброте государя. Вот, например, отрывок из одного его письма 1834 года к Бенкендорфу (письмо связано с прошением об отставке): «Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое <...> могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доньше был более моим благодетелем, нежели государем. Буду ждать решения участи моей, но ничто не изменит чувства глубокой преданности моей к царю и сыновней благодарности за прежние милости».

Царь недоволен поступком поэта, и поэт спешит засвидетельствовать свое сыновнее отношение к монарху. Письмо Жуковского — отражение такой же ситуации: царь недоволен Пушкиным (теперь уже мертвым), и Жуковский заверяет царя в сыновних чувствах Пушкина и напоминает царю о его отеческих если не чувствах, то обязанностях. То есть и Пушкин в свое время, и Жуковский теперь в письме, рассчитанном уже на широкий круг читателей (насколько можно говорить о широком круге читателей в пушкинское время), действуют в соответствии с бытующим в самодержавной России порядком.

Акцент, поставленный Жуковским на религиозных чувствах Пушкина, и адресованные царю слова, которые он был вынужден приписать Пушкину, заслонили для исследователей весь смысл письма Жуковского, все то, ради чего оно было написано и напечатано.

В атмосфере журнальной травли, которая сопутствовала Пушкину последние годы, в атмосфере слухов, которые в конечном счете привели поэта к гибели, письмо Жуковского к С. Л. Пушкину в «Современнике» было единственной чистой нотой, которую могла слышать читающая публика. Журналы твердили, что Пушкин как писатель кончился. Жуковский называет его национальным гением. «В одну минуту, — пишет он, — погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, свет-

лая надеждами. Россия лишилась своего национального поэта <...> У кого из русских с сей смертию не оторвалось что-то родное...»

Письмо Жуковского содержит и первые в печати обличения светского общества, равнодушного к гибели великого поэта. «Там, где он бывал ежедневно, ничто не переменялось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте, а он пропал, и навсегда — непостижимо», — заключает Жуковский. В письме впервые прозвучали слова о мировом значении Пушкина: «Пушкин по своему гению был собственностью не одной России, но и целой Европы».

Совершенно очевидно, что первая часть письма — характеристика Пушкина как национального гения — не могла появиться в печати без второй, где следовало сказать, что гений этот был человеком глубоко религиозным и преданным своему монарху.

Следует сказать, что свое обещание позаботиться о жене и детях поэта Николай I выполнил. 30 января он передал Жуковскому следующую записку о «милостях» семье Пушкина:

«1. Заплатить долги.

2. Заложенное имение отца (Болдино. — Я. Л.) очистить от долга.

3. Вдове пенсия и дочери (то есть дочерям. — Я. Л.) по замужеству.

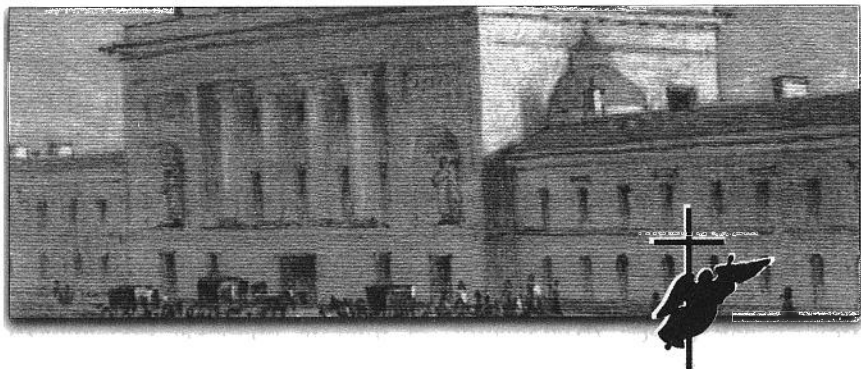
4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого до вступления на службу.

5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей.

6. Единовременно 10 т. (тысяч. — Я. Л.)».

Умирающий Пушкин сделал все возможное, чтобы обеспечить будущее своей семьи. И Жуковский, несомненно, помог ему в этом.





## После смерти

**Д**вадцать девятого января по старому стилю в 2 часа 45 минут дня Пушкина не стало. Осознавая трагизм и величие последних минут жизни гения, А. Тургенев запечатлел их в этот трагический день в написанном тут же в квартире поэта письме московскому почтдиректору А. Я. Булгакову.

Вот оно, это первое письменное свидетельство о смерти Пушкина:

«3-й час пополудни. Четверг. <...> Пушкину хуже. Грудь поднимается. Оконечности тела холодеют; но он в памяти.

3 часа. За десять минут Пушкина — не стало. Он не страдал, а желал скорой смерти.— Жуковский, гр<аф> Вельгурский, Даль, Спасский, княгиня Вяземская и я — мы стояли у канапе и



Пушкин в гробу

А. А. КОЗЛОВ. 1837 (?)

видели — последний вздох его. Доктор Андреевский закрыл ему глаза.

За минуту прошлась к нему жена; ее не впустили. — Теперь она увидела его умершего. Приехал Арндт; за ней ухаживают. Она рыдает, рвется, но плачет. Жуковский послал за художником снять с него маску. <...> Мы говорим вслух — и этот шум ужасен для слуха, ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали.

Он умирал тихо, тихо...»

Известие о смерти Пушкина буквально потрясло Россию. В Петербурге «более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умирительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума», — свидетельствует Жуковский. В смелом и резком письме к Бенкендорфу он



объяснял небывалый для России взрыв общественного возмущения в связи с гибелью Пушкина тем, что поэт «умирает, убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый на службу с отличием; этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще и убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от Гостиного двора до петербургских салонов». Жуковский полностью разделял эти настроения, считая, что «жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут удивиться, что общее чувство при таком трагическом происшествии вспыхнуло так сильно».

Отпевание было назначено на 1 февраля в 11 часов в Исаакиевском соборе, помещавшемся тогда в церкви Адмиралтейства (нынешний Исаакиевский собор еще только строился). Так значилось в приглашении, разосланном Н. Н. Пушкиной друзьям и знакомым. Однако III Отделение, опасаясь беспорядков, приняло энергичные меры. Одной из них было распоряжение о перемене места отпевания и о переносе тела тайком, ночью, накануне дня, указанного в пригласительных билетах, в маленькую Конюшенную церковь. Жуковский так писал об этом Бенкендорфу: «...назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какою-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на которой собралось не менее десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви». В какой обстановке происходило отпевание в Конюшенной церкви, сообщила брату С. Н. Карамзина: «Конюшенная церковь не велика, и туда впускали только тех, у кого были билеты, т. е. почти исключительно высшее общество и дипломатический корпус, явившийся в полном составе. (Один из дипломатов сказал даже: «Лишь здесь мы впервые узнали, что значил Пушкин для России. До этого мы встречали его, были с ним знакомы, но никто из вас, — он обращался к одной даме, — не сказал нам, что он — ваша народная гордость».) Вся площадь была запружена огромной толпой, которая устремилась в церковь, едва только кончилось богослужение и открыли двери; и ссорились, давили друг друга, чтобы нести гроб в подвал, где

он должен был оставаться, пока его не повезут в деревню. Один очень хорошо одетый молодой человек умолял Пьера (Мещерского. — Я. Л.) позволить ему хотя бы прикоснуться рукой к гробу, тогда Пьер уступил ему свое место, и тот со слезами его благодарил».

Такое стечение народа вызвало тревогу у правительства. На 2 февраля, когда тело Пушкина было в церкви (3 февраля еще раз служили панихиду), назначили парад войск. 60 тысяч кавалеристов и пехотинцев со всеми обозами были вызваны на площадь к Зимнему дворцу. В приказах по кавалергардскому и лейб-гвардии конному полкам был указан порядок прохождения войск и обозов, причем конечным пунктом для обозов была указана Конюшенная улица; здесь они должны были остановиться. Проход к церкви был, таким образом, закрыт.

В ночь на 4 февраля А. И. Тургенев увез гроб с телом Пушкина в Святогорский монастырь.

Периодическая печать почти не откликнулась на смерть Пушкина. Лишь немногие петербургские и московские газеты поместили краткие сообщения о его кончине. И только в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду», которые издавал А. А. Краевский, был напечатан некролог Пушкина, написанный В. Ф. Одоевским. Этот некролог хорошо известен. Он начинается метафорой: «Солнце нашей поэзии закатилось» — и дальше: «Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща». Это сообщение о смерти поэта вызвало цензурную бурю. Председатель Цензурного комитета М. А. Дондуков-Корсаков сделал выговор А. А. Краевскому и сообщил ему о недовольстве министра просвещения С. С. Уварова. Уваров нашел в некрологе неуместные выражения. Что же это за выражения? Одоевский, называя Пушкина «наша радость, наша народная слава», писал, что «всякое русское сердце будет растерзано» при известии о смерти Пушкина. Но Уварова прежде всего возмутила метафора «Пушкин — солнце». «Но что за выражение! Солнце поэзии! Помилуйте, за что такая честь?» — повторял Дондуков-Корсаков слова министра.

Почему именно сравнение с солнцем было слишком большой честью для поэта? Уваров был человеком образованным, он, несомненно, знал, что эта поэтическая формула не была изобретена Одоевским, а продолжала некоторую традицию, но только применительно к царствующим особам. Когда умерла



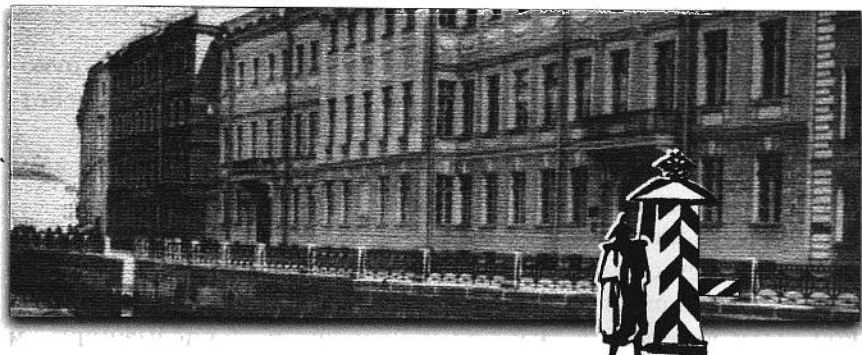
Екатерина II, А. С. Шишков восклицал: «Закатилось солнце российское. Екатерина Великая телом в земле, душою в небесах». Эта метафора употреблялась еще в Древней Руси. Впервые она была применена, когда скончался Александр Невский. Карамзин в «Истории государства Российского», пересказывая слова летописца, писал следующее: «Когда в 1263 году умер Александр Невский, митрополит киевский Кирилл, поведав о кончине великого князя <...> в собрании духовенства воскликнул: „Солнце отечества закатилось”. Никто не понял сей речи. Митрополит долго безмолвствовал, залился слезами и сказал: „Не стало Александра!” Все оцепенели от ужаса, ибо Невский казался необходимым для государства и по летам своим мог бы жить еще долгое время».

Мысль, которая высказана в заключительной части этого отрывка, проходит и через пушкинский некролог — скончался человек, необходимый для России и который по летам своим еще долго мог служить ей. Начало некролога было как бы калькой известного отрывка из «Истории...» Карамзина. Теперь становятся объяснимыми и другие слова, которые пришлось выслушать в тот день Краевскому: «Пушкин скончался в середине своего великого поприща! Разве Пушкин был полководец, военачальник, государственный муж, министр?» К ряду достойных сравнения с солнцем Уваров присоединил министров. По-видимому, он не исключал, что метафора «деятель — солнце» в его некрологе будет звучать вполне уместно.

Необыкновенная точность метафоры, употребленной Одоевским, проверена двумя веками. Имя Пушкина действительно, как солнце, осветило в русской истории огромное пространство.







## Посмертный обыск

**М**езя несколько дней после того как газета Краевского напечатала некролог Пушкина, на квартире поэта уже шел посмертный обыск.

Рассказывая в письме к С. А. Пушкину о последних днях жизни и о смерти поэта, Жуковский писал: «Спустя 3/4 часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось взглянуться в прекрасное лицо его) тело вынесли в большую горницу; а я, исполняя повеление Государя Императора, запечатал кабинет своею печатью». «Повеление императора» было отдано заблаговременно, в 10 часов утра 28 января, когда Пушкин был еще жив. Старшему другу поэта поручалось разобрать бумаги покойного. Очевидно, по просьбе



царя Жуковский изложил правила, которыми он полагал руководствоваться при этом. В перечне его предполагаемых действий были следующие пункты:

«1. Бумаги, кои по своему содержанию могут быть во вред памяти Пушкина, сжечь.

2. Письма от посторонних лиц, к нему писанные, возвратить тем, кои к нему их писали.

3. Оставшиеся сочинения как самого Пушкина, так и те, кои были ему доставлены для помещения в «Современник», и другие такого же рода бумаги, сохранить.

4. Бумаги, взятые из государственного архива, и другие казенные, возвратить по принадлежности».

Не только живой, но и мертвый Пушкин, как представлялось правительству, мог быть опасен. Император подозревал, что в его бумагах могут оказаться вещи антиправительственные. Поэтому и было поручено Жуковскому опечатать кабинет сразу же после выноса тела, чтобы никто ничего не мог оттуда взять. Агенты III Отделения следили за действиями друзей поэта. Некое «доверенное лицо» Бенкендорфа доложило ему, что Жуковский вынес из кабинета и положил в свою шляпу три пакета бумаг. Жуковскому пришлось давать объяснения по этому поводу: «В гостиной, — не без язвительности писал он шефу жандармов, — точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять, жаль только, что неизвестное мне доверенное лицо не подумало само не объясниться со мной лично, что конечно не в его роли, то хотя для себя узнать какие-нибудь подробности, а поспешило так жадно убедиться в похищении и обрадовалось случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность насчет моей чести и своей совести. Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене, которые она сама вызвалась дать мне прочитать...»

Мы видим, что на первое место в перечне своих действий Жуковский выделил бумаги, которые могут быть истолкованы «во вред памяти Пушкина». Очевидно, в наставлениях, которые царь давал Жуковскому, бумаги предосудительные оговаривались особо и Жуковский дал обещание их сжечь, полагая, что степень предосудительности будет определять он сам.

Николай I сперва одобрил правила Жуковского, но вскоре (не без вмешательства Бенкендорфа) они были изменены.



*Л. В. Дубельт, беседующий со своим  
подчиненным*

П. А. КАРАТЫГИН. 1830-е годы

«Предосудительные бумаги» следовало сжечь, но только после того, как с ними познакомится Бенкендорф, письма «посторонних лиц» также должны быть прочитаны Бенкендорфом перед их возвращением и только письма вдовы поэта разрешалось отдать ей «без подробного оных прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка». Кроме того царь, также изменив свое первоначальное намерение, назначил разбирать бумаги Пушкина кроме Жуковского еще начальника корпуса жандармов генерал-майора Л. В. Дубельта, причем предлагалось разбирать бумаги в III Отделении, в кабинете Бенкендорфа.

Вот как объясняет сам Бенкендорф необходимость изменить первоначально одобренный императором порядок: «Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойнику в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения



правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы». Бенкендорф не скрывал, что приведение в порядок бумаг Пушкина (а именно так понимал свою миссию Жуковский) преследует цель политическую.

Жуковский, почувствовав недоверие императора, был глубоко оскорблен и даже хотел отказаться от участия в этом посмертном обыске, где ему отводилась роль понятого, но личная обида отступила перед чувством долга по отношению к покойному. Жуковский дал свое согласие, выговорив только одно условие — бумаги должны были рассматриваться не в III Отделении, а в его квартире. Условие Жуковского было принято, и после этого бумаги, книги, рабочие тетради Пушкина были уложены в два сундука и перевезены на квартиру Жуковского в Зимний дворец.

«Нужно отдать справедливость Дубельту, — пишет знаток рукописей Пушкина М. А. Цявловский. — Занятиям его велся „журнал“, документ исключительной важности в истории рукописей Пушкина». Записи в «журнал» велись каждый день работы, каждый день материалы, бывшие в руках Жуковского и Дубельта, нумеровались (сперва это были списки, которые давали общий обзор материалов, находящихся в кабинете поэта, потом перечни пронумерованных рукописей). Бумаги были приблизительно разделены «по предметам»: документы, относящиеся к историческим занятиям Пушкина, «письма разных частных лиц», «домашние счета», «деловые бумаги», «казенные бумаги», «чужие манускрипты для „Современника“», «письма, принадлежавшие г-же Пушкиной», «различные стихотворения и прозаические сочинения Пушкина и других лиц», «разные черновые рукописи и изорванные бумаги Пушкина». Были также просмотрены 18 рабочих тетрадей Пушкина и тетрадь с дневником 1833—1835 годов. Все листы в тетрадях были пронумерованы красными, как мы теперь говорим, «жандармскими» чернилами — это позволяет видеть, все ли листы в тетрадях дошли до нашего времени. Отдельные листы «разных черновых и изорванных бумаг Пушкина» были благоразумно сшиты в тетради.

Жандармы складывали отдельные листы, прошивали их посередине, в месте прошива листы сгибались — получалась тетрадь, в которой каждый из листов пушкинских рукописей делился пополам, так что первый лист «жандармской тетради» и

последний ее лист были частями одного пушкинского автографа. Листы нумеровались, как и в рабочих тетрадах Пушкина, красными чернилами, но нумеровали жандармы не пушкинские автографы, а листы сшитых ими тетрадей, поэтому один и тот же лист получал два «жандармских» номера — в первой половине тетради и во второй. То, что с трудом поддавалось сшиванию, было разложено в «пакеты» и тоже перенумеровано. Всего было «пересмотрено и перешнуровано» 18 тетрадей (теперь мы называем их «жандармскими тетрадями») и уложены бумаги в 9 пакетов.

Конечно же, бумаги складывались в сундуки и вынимались из них аккуратно, и порядок, в котором они находились в кабинете Пушкина, до некоторой степени сохранился. Это подтверждает и наблюдение Цявловского: «Сшивка, — пишет он, — производилась механически: листы, исписывавшиеся Пушкиным один за другим, вкладывались один в другой и сшивались».

В 1939 году «жандармские тетради» по инициативе М. А. Цявловского были расшиты и каждый автограф помещен в отдельную папку. При этом предварительно с каждой расшиваемой тетради делался точный макет. Эти макеты позволяют восстановить порядок, в котором не только брались в руки и сшивались бумаги Пушкина, но и в каком порядке они лежали в его кабинете. Сложенные листы иногда помогают создать представление о некоторых незавершенных замыслах Пушкина. Так, например, в одной из тетрадей рядом подшиты материалы, которые Пушкин мог использовать в задуманных им записках своей жизни. Как это ни парадоксально, но меры политического сыска сослужили добрую службу исследователям Пушкина и дали нам точные данные об автографах, которые находились в квартире поэта в момент его смерти, и возможность проследить их дальнейшую судьбу.

Немало тяжелых минут пришлось пережить Жуковскому во время разбора бумаг. Сохранился черновик его письма к царю, написанный под впечатлением происходящего. Исполняя волю монарха, он должен был читать все адресованные Пушкину письма. Врожденное чувство порядочности противилось этому, и чтение чужих писем Жуковский предоставил Дубельту. «Но все было мне, — писал он императору, уже выполнив его поручение, — прискорбно, так сказать, присутствием своим принимать участие в нарушении семейственной тайны; передо мною



раскрывались письма моих знакомых; я мог бояться, что писанное в разное время, в разные лета, в разных расположениях духа людьми, еще существующими, в своей совокупности произвело впечатление совершенно ложное на счет их — к счастью этого не случилось». Императора, наверное, удивила такая щепетильность. Перлюстрация писем была для него делом обычным. Услужливые чиновники почтового ведомства передавали ему письма, содержание которых, по их мнению, должно было быть известно царю. Когда одно из писем Пушкина к жене было перлюстрировано и поэт узнал об этом от Жуковского, он записал в дневнике: «...какая глубокая безнравственность в привычках нашего Правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене, и приносит их читать Царю (человеку благовоспитанному и честному) и Царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге достойной Видока и Булгарина» (запись 10 мая 1834 года).

Письмо Жуковского к Николаю I подводит итог проделанной вместе с жандармами работы. Просмотр бумаг начался 7 февраля и закончился 15 марта. Со времени начала «посмертного обыска» прошло всего несколько дней и многое из жизненных обстоятельств Пушкина Жуковскому еще было неизвестно. 20 февраля, как свидетельствует «журнал», который вел Дубельт, через руки Жуковского прошли письма Бенкендорфа к Пушкину. Эти письма заставили его по-новому взглянуть на всю жизнь Пушкина — ему открылось все унижение, которое испытывал поднадзорный поэт: мелочная опека, придирки, выговоры, нравоучения. Жуковский понял сущность жизненной трагедии Пушкина, осознал, как «отеческие заботы» царя отравляли его жизнь. После этого он и начал писать свое письмо шефу жандармов. Это удивительный документ — по гражданскому пафосу, по человеческой отваге.

Приведем выписку из этого письма, из той его части, которая касается надзора над Пушкиным: «Вы на своем месте не могли следовать за тем, что делается внутри души его. Но подумайте сами, каково было бы вам, когда бы вы в зрелых летах были обременены такою сетью, видели каждый шаг ваш, истолкованный предубеждением, не имели возможности произвольно переменить место без навлечения на себя подозрения или укора. В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Да какое же это пре-

ступление? Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запретов?»

Эта цитата не нуждается в комментариях. Обвинения, высказанные в письме к шефу жандармов, задевали, несомненно, и Николая I. Так смело говорили с царем только декабристы. Как обращение к царю понимали это письмо и друзья Жуковского. В дневнике А. И. Тургенева 8 марта 1837 года записано: «Жуковский читал нам свое письмо к Бенкендорфу о поведении с ним государя и жандармства, и он закатал Бенкендорфу, что Пушкин погиб оттого, что его не пустили ни в чужие края, ни в деревню, где бы ни он, ни жена его не встретили Дантеса. Советовал ему не посылать этого письма в этом виде».

Последовал ли Жуковский совету Тургенева? Исследователь дуэли Пушкина П. Е. Щеголев считал, что «вероятно пожалуй» последовал. При этом он ссылается на архив III Отделения. «И 1917 год, — пишет он, — открывший нам несколько самых секретных документов в истории дуэли, не открыл никаких следов этой записки Жуковского в архивах III Отделения». На экземпляре книги Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», хранящемся в Пушкинском Доме, к этому месту, рукой заведующего Рукописным отделом Н. В. Измайлова, сделано следующее примечание: «Естественно: Бенкендорфу выгоднее было не оставлять его (письмо. — Я. Л.) в делах III Отделения, где его могли прочитать чиновники».

Мы полностью согласны с мнением Н. В. Измайлова. Это мнение подтверждается и конспективными заметками Жуковского. В конце февраля — начале марта он записал: «Я читал мое письмо тоже и на днях». Несомненно, речь идет о письме к Бенкендорфу. Это подтверждает приведенная запись в дневнике Тургенева. Слова «тоже» и «на днях» свидетельствуют, что письмо читалось не один раз, а несколько. И если даже оно и не было отослано, то содержание его могло быть известно в III Отделении. В дни после смерти Пушкина правительство не спускало глаз с его друзей.

Письмо к Бенкендорфу свидетельствует о прозрении Жуковского. Его конспективные заметки заканчиваются словами: «Только в семье своей убежище»; эти слова могут быть поняты как горестное воспоминание о Пушкине (у самого Жуковского семьи не было) и как сознание своей неправоты. Спасая

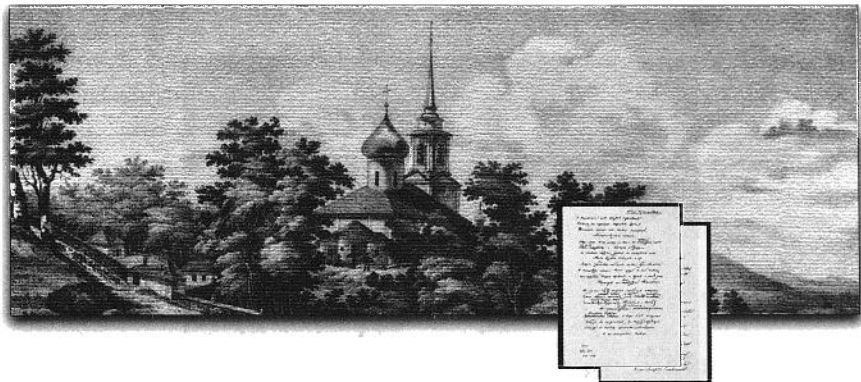


Пушкина от царской опалы, Жуковский в 1834 году уговаривал его взять обратно прошение об отставке — теперь он понял, что это было ошибкой. Надежным убежищем для поэта могла быть только семья, покой, «обитель дальная трудов и чистых нег».

Поняв это, Жуковский не стал молчать, а написал шефу жандармов письмо, которое академик А. Н. Веселовский считал «свидетельством того, что Жуковский был способен на гражданский подвиг».

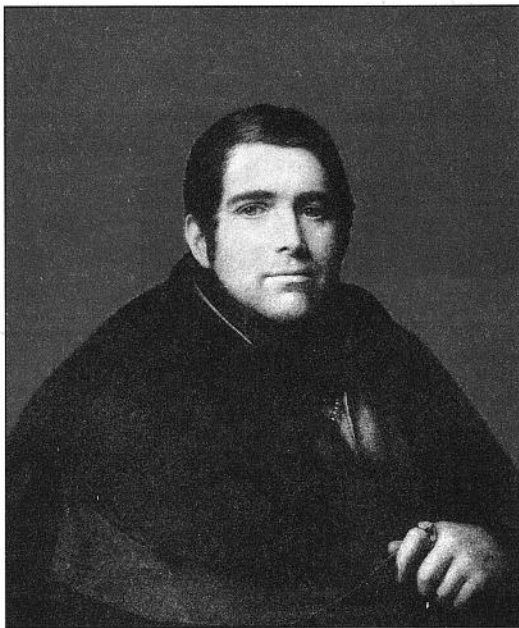






## Свидетели последних дней

**М**ена свидетелей последних дней Пушкина хорошо известны, об их самоотверженной помощи поэту и его родным рассказывается на страницах нашей книги. Это ближайшие из его друзей; собраты-литераторы, стремившиеся чем-то скрасить последние часы и минуты жизни поэта; доктора, лечившие Пушкина и понимавшие, что он умирает. Но есть среди них и главные свидетели, участники драмы, разыгравшейся в доме поэта, на долю которых выпала не только нелегкая миссия быть с ним до последнего вздоха, но и осознать, что гибель величайшего из поэтов России не должна оставаться тайною ни для его современников, ни для будущих поколений русских людей.



П. А. Плетнев

А. В. ТЫРАНОВ. 1836

Широкая публика во всех уголках и концах страны желала знать подробности смерти Пушкина. Лишенная возможности прочитать о случившемся в печати, она жадно впитывала слухи и кривотолки о дуэли, стремясь получить более достоверную информацию из первых рук — от очевидцев и свидетелей последних дней поэта.

Помощник редактора петербургского «Журнала министерства народного просвещения» Я. М. Неверов писал еще 28 января москвичу С. П. Шевыреву, знавшему и любившему Пушкина: «Наш поэт, наш бедный Пушкин борется со смертью и, может быть, в эту минуту более не существует. Вчера он имел жестокую дуэль со своим свояком Дантесом — и ранен смертельно пулею в левый бок. Причины этого страшного приключения еще неизвестны, но по всему видно, что то была оскорбленная честь супруга». Завершает свой рассказ Неверов многозначительной репликой: «Рассказываю факт и умолчу о толках, разнесшихся по городу». Великая княгиня Елена Павловна

(супруга брата Николая I, великого князя Михаила Павловича), известная в петербургских культурных кругах своей любовью к литературе и искусству, писала Жуковскому в тот же день: «Я подавлена этим ужасным событием, отнимающим у России прекрасное дарование, а у его друзей такого выдающегося человека». Иначе оценивает произошедшее воспитатель великого князя Константина Николаевича (сына императора) Ф. П. Литке, отметив в одном из своих писем, что Пушкин «производит смуту и после смерти».

Власти были раздражены открытым выражением общественного возмущения. В откровенном письме к И. Ф. Паскевичу-Эриванскому Николай I писал 4 февраля 1837 года: «...здесь все тихо, одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит ежедневным глупым толкам. Он умирает от раны за дерзость и глупую картель, им же писанную, но слава Богу, умер христианином». Стремясь попасть императору в тон, Паскевич отвечает: «Жаль Пушкина как литератора в то время, как талант его созрел, — но человек он был дурной».

Светское общество также раскололось на два лагеря — за Пушкина и за Дантеса, и нередко линия раздела проходила внутри одной семьи. Враги поэта, омрачавшие его жизнь в последние годы, распространяли версию о якобы имевшем место агрессивном поведении Пушкина, приведшем к дуэли, и о благородстве Дантеса, вынужденного лишь защищаться.

«Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке, — вспоминает М. Ю. Лермонтов, имя которого вскоре станет широко известным всей России. — Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей. <...> Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей». Лермонтов имел в виду высшую петербургскую знать, затравившую Пушкина. Возмущение и негодование Лермонтов выразил в стихотворении «Смерть поэта». О безнадежном



положении Пушкина он узнал непосредственно от Арендта. Знаменитый лейб-медик посещал в эти дни и захворавшего Лермонтова. Уже 28 января 1837 года появляются отдельные наброски, а в первые дни февраля списки «Смерти поэта» разошлись по Петербургу, и даже Николай I вскоре получил анонимно посланный список, озаглавленный — «Воззвание к революции». За эти стихи Лермонтов поплатился ссылкой на Кавказ и через четыре года повторил трагическую судьбу Пушкина.

Через А. Краевского «Смерть поэта» довольно скоро стала известна и петербургским друзьям Пушкина — Жуковскому, Вяземскому, А. Тургеневу. А затем списки появились в Москве, Пскове, Тригорском, и вся грамотная Россия познакомилась с этим замечательным стихотворением. Не остались в стороне от выражения общих национальных чувств и другие поэты, современники Пушкина. На гибель своего признанного главы откликнулись и близкие друзья (Жуковский, Баратынский, Ф. Глинка), и молодые, набирающие силы поэты (Ф. Тютчев, А. Кольцов, П. Ершов, Е. Ростопчина), и множество других, менее известных авторов. Все вместе они оплакивали трагическую утрату величайшего из поэтов, совершили по нему поэтическую тризну. Так возник этот удивительный по многообразию голосов и силе чувств поэтический реквием, главная партия в котором принадлежала все же именно Лермонтову. Он глубже и полнее всех выразил не только владевшие всеми чувства, но и осмыслил причины гибели поэта. В написанных новых 16 строчках (уже вслед за разлетевшимися по Петербургу первыми 56-ю) Лермонтов прямо назвал истинных виновников разгравшейся трагедии:

*А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов...*

В сложной и напряженной обстановке, вызванной реакцией различных общественных кругов на смерть Пушкина, друзья поэта, и в первую очередь Жуковский, видели свою задачу в защите его памяти от клеветы и фальсификаций.

Пока А. Тургенев следовал за телом Пушкина к месту его «последнего жилища», в Петербурге события шли своим чередом. Власти производили «посмертный обыск», друзья поэта хлопотали по различным делам, приостановленным в связи со смертью Пушкина. Необходимо было также срочно известить о

произошедшем отца поэта, С. А. Пушкина, живущего в Москве, тем более что к началу февраля трагическая весть достигла и Москвы. 3 февраля московский почтдиректор А. Я. Булгаков, друживший с петербургскими друзьями поэта и хорошо знавший его отца, писал дочери О. А. Долгоруковой: «Несчастный отец поэта ни о чем не подозревает. Третьего дня я встретил его идущего пешком; мы побеседовали с минутку, и мне было так тяжело видеть этого несчастного спокойным и не подозревающим несчастья его ожидающего». Медлить было нельзя, и друзья Пушкина решили вместо нескольких соболезнующих писем послать Сергею Львовичу одно, составленное общими усилиями, описание последних дней Пушкина и обстоятельств его дуэли с Дантесом. Работа над этим письмом была поручена Жуковскому, который был старинным приятелем С. А. Пушкина еще с давних московских лет и поддерживал дружеские отношения с ним на протяжении нескольких десятилетий. Не последнюю роль в этом выборе сыграло и то, что Жуковский был великолепным стилистом и настоящим мастером эпистолярного жанра.

При работе над письмом Жуковский широко использовал свои дневниковые записи («Конспективные заметки»), дополняя и уточняя их свидетельствами других очевидцев. Недаром П. А. Вяземский называл коллективно создаваемое письмо «реляцией наших очных ставок». Жуковский стремился не упустить ни одной подробности последних дней Пушкина. Он составил для себя список лиц, сведениями которых собирался воспользоваться в работе над письмом, включив в этот список чету Вяземских, Ю. Виельгорского, членов семейства Карамзинных, Плетнева и, конечно же, Данзаса. Лечивших Пушкина врачей он попросил дать свидетельские показания в письменной форме — и записками докторов Шольца, Спасского и Даля Жуковский широко пользовался в работе над письмом. Он дорожил этими подлинными свидетельствами трагической гибели поэта и стремился сохранить их для будущих поколений русских людей. Материалы, собранные в процессе этой работы, Жуковский заключил в большой конверт, озаглавив его «Бумаги, относящиеся к описанию смерти Пушкина, его дуэли и обстоятельств погребения». Эта коллекция документов послужила основой книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», в которой они были впервые опубликованы. Ныне эти материалы хранятся в Пушкинском Доме Российской Академии наук.



В составленный Жуковским список не попал отсутствовавший в эти дни в Петербурге Александр Тургенев, но и его воспоминаниями, как мы сможем убедиться позднее, автор письма также воспользовался.

К середине февраля работа над письмом к С. Л. Пушкину была закончена. Подлинник письма (т. е. текст, писанный рукою Жуковского) надлежало отправить в Москву. Для дальнейшей работы над ним было необходимо снять с него несколько копий, что и было сделано. На них Жуковский поставил дату окончания работы над письмом — 15 февраля. Однако оно не было сразу же отправлено в Москву: что-то задержало Жуковского. Какое-то время потребовалось для снятия копий, однако главная причина задержки была в другом. Дело в том, что в ближайšie к этой дате дни Жуковский получил письмо от отца Пушкина, которое до нас не дошло. Зато в сравнительно недавнее время стала известной ответная записка Жуковского, приложенная к еще не отправленному адресату письму от 15 февраля. О ней (как о неизвестном ранее фрагменте этого письма) сообщил коллекционер и библиофил А. Я. Полонский в своей заметке, опубликованной в газете «Советская культура» (от 26 ноября 1988 года). Он приобрел у парижского антиквара старинную тетрадку с копиями дуэльных материалов, включающую письмо Жуковского к С. Л. Пушкину о смерти его сына, с неизвестным в печати фрагментом (или небольшой запиской), копией записки Николая I «О милостях семье Пушкина» и планом последней квартиры Пушкина на Мойке, который имеет некоторые отличия от оригинала плана, начерченного самим Жуковским и сохранившимся в его коллекции дуэльных материалов. План предназначался для Сергея Львовича, чтобы он мог наглядно себе представить, как выглядела квартира Пушкина, в особенности его кабинет, к моменту постигнувшей поэта кончины. В наши дни этот ценнейший документальный источник положен в основу всех экспозиций Музея-квартиры А. С. Пушкина (наб. Мойки, 12). Остается все же неясным, был ли план Жуковского отослан им в Москву вместе с письмом отцу поэта или же Жуковский оставил его у себя. Почему план, выполненный Жуковским, сохранился в его личном архиве и таким образом оказался в Пушкинском Доме Российской Академии наук? К сожалению, утрата подлинника письма Жуковского к С. Л. Пушкину (впрочем, весьма бережно относив-

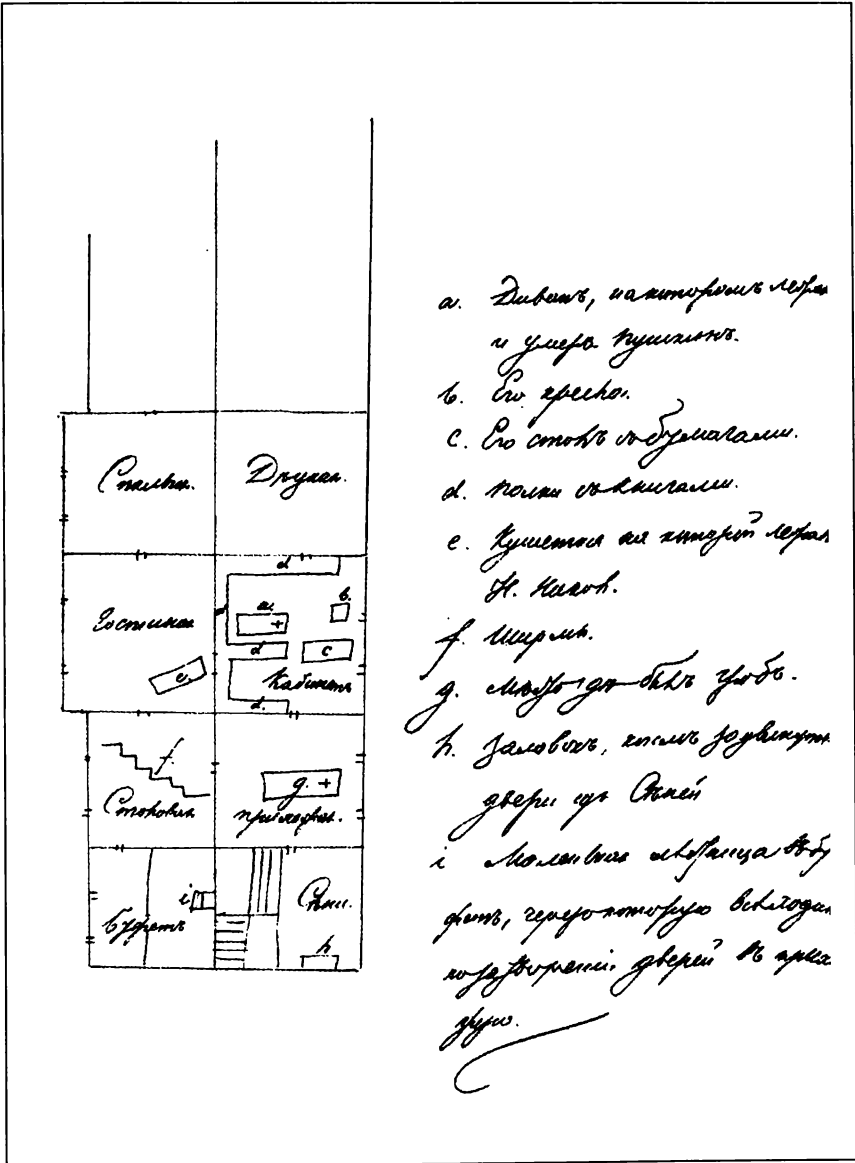




шегося к реликвиям такого рода) не позволяет дать точный ответ на этот вопрос. Представляется, однако, что «парижская находка» А. Я. Полонского дает возможность высказать ряд предположений. Видимо, Жуковский отправил отцу поэта (сильно запоздав с отсылкой ему своего описания кончины Пушкина) несколько дуэльных документов: письмо (с сопровождающей его запиской), план (вычерченный более тщательно, нежели оставшийся у него и ставший его рабочим экземпляром) и копию записки Николая I «О милостях семье Пушкина». Отправляя эти материалы, Жуковский обратился к своему старинному приятелю А. Я. Булгакову со следующей запиской: «Вот тебе, милый Александр, письмо, которое передай от меня Сергею Львовичу». Рассчитывая на крайнее любопытство московского почтдиректора, Жуковский добавляет: «Можешь его после вытребовать и прочитать в нем описание последних минут Пушкина». Булгаков, конечно же, «вытребовал» посланные Жуковским Сергею Львовичу материалы, снял с них копии и, что называется, «пустил» в Москве по рукам. Скорее всего, старинная тетрадка с дуэльными документами восходит именно к этому источнику. Не исключено также, что Булгаков не вернул С. Л. Пушкину оригиналы этих документов, или же они были утрачены после смерти самого Сергея Львовича.

О чем же писал Жуковский в коротенькой дружеской записке, приложенной к подробному описанию дуэли и смерти Пушкина: «Прости, мой бедный Сергей Львович! Я не думал, что мне придется хоронить его, быть опекуном его сирот и издателем его сочинений, оставшихся посмерти. Лучше когда бы он мог оказать эту последнюю услугу мне. Теперь я занимаюсь разбором его бумаг. „Современник“ на нынешний год будет выдан в его пользу (надеюсь, что Баратынский, Языков, Хомяков, Шевырев помогут нам его наполнить: скажи им об этом от меня). На сочинения немедленно откроем подписку». Как видим, Жуковский довольно обстоятельно информирует отца поэта о своих практических шагах по сохранению и изданию творческого наследия Пушкина и о продолжении силами ближайших друзей его литературных начинаний. Далее речь идет о делах, непосредственно связанных с Сергеем Львовичем: «Тебя прошу прислать мне хронологическое известие о его жизни: просто одни даты. Прилагаю список с собственноручной записки государя, которой оригинал, написанный карандашом, хранится у ме-





План последней квартиры Пушкина  
(копия из собрания А. Я. Полонского)



ня; я получил ее от него лично на другой день смерти Пушкина». Записка эта также дошла до нас (в оригинале) в составе дуэльной коллекции Жуковского. Она свидетельствует о том, что дружеские усилия уже принесли свои первые плоды: император выполнил свое обещание умирающему поэту позаботиться о будущем его близких. И сделал это Николай I по настоянию Жуковского как ответ на его подробнейшее письмо о бедственном положении осиротевшего семейства.

Наступило время предать широкой огласке подробности трагической кончины Пушкина. Жуковский задумал использовать для этого возможности журнальной публикации в пушкинском «Современнике», на издание которого он сумел добиться разрешения. Поэтому Жуковский просит Сергея Львовича «ничего не печатать» из полученного им письма. «Если позволят, — пишет он, — я выписку из него напечатаю в „Современнике“». Под «выпиской» Жуковский имел в виду сокращенный и обработанный для печати текст письма, который действительно появился в журнале под выразительным названием «Последние минуты Пушкина». Однако процесс превращения письма в журнальную статью оказался нелегким.

Прежде всего пришлось полностью изъять весь дуэльный эпизод. Сделано это было по цензурным соображениям. Этот «мотив умолчания, — замечает П. Е. Щеголев, — кажется особенно странным». И вот почему: «Если статью Жуковского прочтет человек, не слышавший, что Пушкин дрался на дуэли и был ранен, он никогда не узнает и не поймет, отчего же помер Пушкин и зачем ему было нужно прощение государя». Но современники Пушкина знали, разумеется, истинную причину смерти своего поэта. На это и рассчитывал автор статьи. Подготовленный к печати текст должен был пройти и «высочайшую цензуру». Николай I внимательно прочитал статью и пожелал, как сообщает Жуковский С. С. Уварову, «многое выбросить» из нее. Этим «многим» оказались те фрагменты статьи, в которых всячески акцентировалась мысль о благодарности Пушкина монарху и помощи последнего умирающему поэту. Николай I не хотел представлять перед своими подданными покровителем мятежного и не слишком ладившего с властями поэта. Получив замечания царя, Жуковский снова принялся за работу, которую не без горькой иронии называл «операцией». Уварову он сообщил, что представит в Цензурный комитет «статью в обоих видах»,

т. е. в полном — до ее цензурования царем и в кратком, с сокращениями, сделанными по желанию императора. При этом Жуковский надеялся, что воля Николая I, закрепленная в последнем варианте статьи, сделает невозможным дальнейшее вмешательство цензуры в ее текст.

Тем временем из своего скорбного путешествия вернулся А. Тургенев, и как это следует из его дневниковой записи, он ознакомился с письмом Жуковского к Сергею Львовичу о смерти Пушкина 18 февраля. Назвав это письмо «прекрасным», А. Тургенев обратил внимание на полное отсутствие в тексте своих свидетельских показаний и даже простого упоминания своего имени. Жуковский дал ему одну из копий письма и предложил внести необходимые уточнения. Копия эта с тремя поправками А. Тургенева, сделанными на полях документа, сохранилась и находится ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве. Жуковский учел эти поправки и ввел их в текст журнальной статьи, обратив особое внимание на третью помету: «Государь назначил Тургенева как старшего друга <...> привезти гроб и предать тело земле в Святых Горах. Мне с жандармом ехать за телом». Николаем I было отдано распоряжение осуществить эту поездку «за казенный счет». От этого А. Тургенев резко отказался: «Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной». Вяземский предложил ему свой возок, но Тургенев решил сам нанять кибитку и почтальона. В ночь с 3 на 4 февраля с Конюшенной площади Петербурга он выехал в Святые горы. Траурная процессия была очень скромной. «Я с почтальоном в кибитке позади тела; жандармский капитан впереди оно», — стремясь быть предельно беспристрастным, описывает ее Тургенев, добавляя еще один трогательный эпизод: «Дядька покойного желал также проводить останки своего доброго барина к последнему его жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери; он стал на дрогах, кои везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы». Подробное описание этой драматической поездки Тургенев дал в своих многочисленных письмах московским друзьям и родным (А. Я. Булгакову, А. И. Нефедьевой), а также находившемуся в эмиграции брату Н. И. Тургеневу. По просьбе Жуковского А. Тургенев дополнил рассказ о смерти Пушкина описанием его похорон в Святых Горах Псковской губернии. 5 марта 1837 года он отметил в своем дневнике, что написал



«добавление к письму Жуковского о Пушкине и послал его Жуковскому».

Добавление это оказалось последним и очень важным свидетельским показанием очевидца похорон Пушкина, и Жуковский поместил его в качестве особого приложения к своей статье в «Современнике». Вот его полный текст, который дает последний, трагический и возвышенный штрих к общей картине ухода из жизни великого поэта:

«За телом следовал А. И. Тургенев. Пушкин не раз говорил жене, что желает быть похоронен в Святогорском Успенском монастыре, где недавно положили его мать. Этот монастырь находится Псковской губернии в Опочковском уезде, в 4-х верстах от селца Михайловского, где Пушкин провел несколько лет поэтической жизни своей. 4-го числа в девятом часу вечера тело привезли в Псков, откуда оно, по надлежащем распоряжении со стороны губернского начальства, в ту же ночь на 5-е февраля было отправлено через город Остров в Святогорский монастырь, куда привезли его к 7-ми часам вечера. Мертвый мчался к своему последнему жилищу мимо своего опустевшего сельского домика, мимо трех любимых сосен, им недавно воспетых. Тело поставили на Святой горе в Соборной Успенской церкви и отслужили с вечера панихиду. Всю ночь рыли могилу подле той, где покоится его мать. На другой день, на рассвете, по совершении божественной Литургии, в последний раз отслужили панихиду, и гроб был опущен в могилу, в присутствии Тургенева и крестьян Пушкина, пришедших из селца Михайловского отдать последний долг доброму своему помещику. Чудно показалось предстоящим изречение из Библии, сопровождавшее горсть земли, брошенной на Пушкина: „Земля еси”».

Статьей Жуковского «Последние минуты Пушкина» открывался первый номер «Современника» за 1837 год, который был посвящен памяти издателя журнала. Автор адресовал ее не только «бедному, дряхлому отцу» поэта, но и всем русским людям. Тексту письма было предпослано небольшое вступление, которое начиналось следующими словами: «Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревавший в опытах жизни, размышлением и наукою, готовился действовать полною силою — потеря невозвратная и ничем не вознаградимая». Жуковский хотел, чтобы читатели журнала вспомнили Пушкина,

## ПОСЛѢДНІЯ МИНУТЫ ПУШКИНА.

Россія потеряла Пушкина въ ту минуту когда гений его, созрѣвшій въ опытахъ жизни, размышленіемъ и наукою, готовился дѣйствовать полною силою — потеря невозвратная и ничѣмъ не вознаграждаемая. Что бы онъ написалъ, еслибы судьба такъ незапно не сорвала его со славной, едва начатой имъ дороги? Въ бумагахъ, послѣ него оставшихся, найдено много начатаго, весьма мало конченнаго; съ благоговѣйною любовію къ его памяти мы сохранимъ все, что можно будетъ сохранить изъ сихъ драгоценныхъ остатковъ; и они въ свое время будутъ изданы въ свѣтъ (\*). Здѣсь сообща-

---

(\*) Вскорѣ за полнымъ изданіемъ сочиненій, уже извѣстныхъ публикѣ и теперь издаваемыхъ въ шести частяхъ по подпискѣ. Если напечатать все найденное въ рукописяхъ Пушкина, то конечно составитъ два хорошихъ тома, или и пять, если присоединить къ литературнымъ отрывкамъ всѣ матеріалы, приготовленные для Исторіи Петра Великаго. *Ж. Современн.* 1837, № 1.

*В. А. Жуковский. Последние минуты Пушкина*  
Начало статьи в журнале «Современник» (№ 1 за 1837 год)



живого, полного сил: «Еще по привычке продолжаешь искать его <...> еще будто раздается его живой, ребячески веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменялось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте, а он пропал, и навсегда — непостижимо».

Непостижимым остается это и для нас, нынешних его соотечественников. С этим чувством входим мы в дом на набережной Мойки, 12, где прошли последние месяцы жизни Пушкина. В кабинет — это святилище его творчества, восстановленный в полном соответствии с планом Жуковского, когда-то приходили друзья-литераторы, журналисты, издатели, почитатели его поэзии. Здесь творилась великая русская литература!

Но рядом — в гостиной, столовой и детской — текла обычная будничная жизнь, во многом похожая на быт любой дворянской семьи тех лет. Здесь подрастали маленькие дети. Они шумели, бегали, играли и, вероятно, мешали работать. Пушкин пытался отгородиться от них, закрыв наглухо двери в детскую и гостиную. Работал, творил рано утром или же поздно ночью, когда шумный дом затихал... На равных правах с детством и творчеством царил здесь и женский мир с его особым укладом, милыми, суетными заботами о предстоящем бале, с примеркой нарядов, рукодельем, со своими радостями и огорчениями. Мир этот не был вовсе чуждым поэту, он им не тяготился, хотя нередко и иронизировал над ним. В этом мире жила горячо любимая поэтом красавица-жена. Ее жизнь в чем-то оказалась и его судьбой, и он мирился с этим, хотя и надеялся со временем уговорить жену перебраться в «обитель дальнюю трудов и чистых нег».

Мечта поэта не сбылась, и мы вступаем в дом скорби, ибо, уже входя в широкий, светлый вестибюль, знаем: Пушкин здесь умер. Здесь навеки замолчала его муза, здесь внезапно остановилась та громадная, непрерывная творческая работа, которая отразилась в сотнях страниц его рукописей и рабочих тетрадей, исписанных то торопливым, неразборчивым, то красивым, почти каллиграфическим почерком. Здесь прервались на полуслове его замыслы, и мы так и не сможем до конца прочитать «Египетские ночи», «Сцены из рыцарских времен», «Русский Пелам» и многое другое, а главное — никогда не узнаем, какие еще замыслы таились в творческом сознании великого поэта,

о чем думал он, еще не до конца различая сквозь магический кристалл воображения контуры образов...

Прекрасное, одухотворенное лицо поэта смотрит на нас с портрета в гостиной его последнего дома. И мы снова и снова вглядываемся в величественный, обращенный к вечности его лик. Мы проникаемся болью за выпавшие на его долю беды и одновременно радуемся возможности прикоснуться к многогранному миру его творчества — здесь, в Петербурге, в доме на набережной Мойки, 12, где закончилась земная жизнь Пушкина и началось его бессмертие.





## ИСТОЧНИКИ

Все цитаты из произведений Пушкина даются по изданию: *Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 томах. М.—Л., 1937—1949. Справочный том (Т. XVII). М.—Л., 1959.*

В книге использованы архивные материалы из архивохранилищ Санкт-Петербурга: ИРЛИ (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, РНБ (Российская национальная библиотека), РГИА (Российский государственный исторический архив) и Москвы: РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства).

Пушкин. Письма: В 3 т. М.—Л., 1926—1935.

Пушкин. Письма последних лет. Л., 1965.

Пушкин. Письма к Е. М. Хитрово. Л., 1927.

*Вересаев В. В.* Пушкин в жизни: В 2 т. М., 1936.

*Жизнь Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники:* В 2 т. М., 1987.

Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.—Л., 1985.

Пушкин в письмах Карамзиных. 1936—1837. М.—Л., 1960.

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. Л., 1925.

Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. М., 1990.

Пушкин в неизданной переписке современников//Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 134—139.

Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины 19 века. Л., 1985.

*Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1991.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. 2-е изд. Л., 1989.
- Абрамович С. Л. Пушкин. Последний год. М., 1991.
- Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984.
- Анциферов Н. П. «Непостижимый город...» Л., 1991.
- Аллер С. Руководство к отысканию жилищ по С.-Петербургу. СПб., 1824.
- Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977.
- Бартенев П. И. Род и детство Пушкина // Отечественные записки. — 1858. — № 11.
- Блудова А. Д. Воспоминания // Русский архив. — 1889. — № 1.
- Валицкая А. П. Орест Кипренский в Петербурге. Л., 1981.
- Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978.
- Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972.
- Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. I—II. М., 1928.
- Гиллельсон М. И. Пушкинский «Современник» // Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию. М., 1987.
- Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. Л., 1983.
- Гордин Я. А. Гибель Пушкина. Хроника. Год 1831-й — год 1836-й // Гордин Я. А. Три повести. Л., 1983.
- Грановская Н. И. «Род Пушкиных мятежный». СПб., 1992.
- Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей. Сочинение Павла Свиньина. Ч. 1—6. СПб., 1816—1828.
- Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина. СПб., 1996.
- Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 4 т. М.— Л., 1959—1960.
- Зажурило В. К., Кузьмина Л. И., Назарова Г. И. «Люблю тебя, Петра творенье»: Пушкинские места Ленинграда. Л., 1989.
- Иезуитова Р. В. Жуковский и его время. Л., 1989.
- Иезуитова Р. В. Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину о смерти поэта: (К истории текста) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XII, XIII. Л., 1989.



- Иезуитова Р. В.* «Прости, мой бедный Сергей Львович»: По материалам архива А. Я. Полонского//Наше наследие.— 1990.— № 4.— С. 40—42.
- Иезуитова Р. В.* Пушкин и «Дневник 1834 года» Жуковского//Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978. С. 219—248.
- Иезуитова Р. В.* Эволюция образа Пушкина в русской поэзии XIX века//Пушкин. Исследования и материалы. Т. V. Л., 1967. С. 113—139.
- Кибальник С. А.* Поэт и его город//«Полночных стран краса и диво». Л., 1987.
- Королева Н. В.* Декабристы и театр. Л., 1975.
- Краснобородько Т. И.* О русском аналоге пушкинского «Современника»//Пушкин. Исследования и материалы. Т. XII. Л., 1986.
- Краснобородько Т. И.* Тема «литература и власть» на страницах второго тома пушкинского «Современника»//Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л., 1989.
- Левкович Я. Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988.
- Левкович Я. Л.* «Гоноропуло» или «Губернатор»?//Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26. СПб., 1995. С. 212—215.
- Левкович Я. Л.* Заметки Жуковского о гибели Пушкина//Временник Пушкинской комиссии. Л., 1974.
- Левкович Я. Л.* Жуковский и последняя дуэль Пушкина//Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л., 1989. С. 146—157.
- Лотман Ю. М.* Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1984.
- Матвеевский Б.* Прообраз карлы Черномора//Пушкинский праздник, 1989, 22 мая — 7 июня.
- Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В.* Пушкин: Родословная роспись. Л., 1932.
- Ободовская И., Дементьев М.* Вокруг Пушкина. М., 1975.
- Ободовская И., Дементьев М.* После смерти Пушкина: Известные и неизвестные письма. М., 1980.
- Петрунина Н.* Вокруг «Истории Пугачева»//Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л., 1969.
- Пиксанов Н. К.* Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник»//Пушкин и его современники. Вып. V. СПб., 1907.
- Пушкинский Петербург: Сб. статей. Л., 1949.

- Руденская М., Руденская С.* Они учились вместе с Пушкиным. Л., 1976.
- Рыскин Е. И.* Журнал А. С. Пушкина «Современник». 1836—1837. М., 1967.
- Смирнов-Сокольский Н. П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
- Старк В. П.* «Он живет у дяди на Мойке» // Санкт-Петербургские ведомости. — 1992. — 12 дек.
- Старк В. П.* Новые пушкинские адреса в Петербурге // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26. СПб., 1995. С. 168—184.
- Старк В. П.* Стихотворение Пушкина «Отцы пустынноики и жены непорочны» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л., 1982.
- Телетова Н. К.* Забытые родственные связи Пушкина. Л., 1981.
- Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневники (1825—1826). М.—Л., 1964.
- Фокин Н. Н.* О памятных местах пушкинского Петербурга // Пушкин и его время. Вып. 1. Л., 1962.
- Фомин А. А.* Новые материалы для биографии Пушкина: (Из Тургеневского архива) // Пушкин и его современники. Вып. VI. СПб., 1908. С. 46—97.
- Цявловская Т. Г.* Рисунки Пушкина. М., 1980.
- Цявловская Т. Г.* «Храни меня, мой талисман» // Прометей. Т. X. М., 1974. С. 12—83.
- Цявловский М. А.* Статьи о Пушкине. М., 1962.
- Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1988.
- Чернов А. Ю.* Этот скорбный остров Гоноропуло. М., 1989.
- Чистова И. С.* Пушкин в салоне Авдотьи Голицыной // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л., 1989.
- Чистова И. С.* «Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта Лермонтова» // Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987. С. 467—475.
- Широкий В. Ф.* Пушкин в Петербурге. Л., 1937.
- Шубин В. Ф.* Литературный Петербург пушкинской эпохи // Дома у Пушкина. СПб., 1994. С. 100—111.
- Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. 4-е изд. М., 1987.
- Эйдельман Н. Я.* Десять автографов из архива П. И. Миллера //



Записки Отдела рукописей. Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина.  
Вып. 33. М., 1972.

Эйдельман Н. Я. В одном классе//Знание — сила.— 1976.—  
№ 9.— С. 34—38.

Эйдельман Н. Я. Нидерландские материалы о дуэли и смерти  
Пушкина//Записки Отдела рукописей. Гос. б-ка СССР им.  
В. И. Ленина. Вып. 35. М., 1977.

Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1994.

*Suasso Fr.* Poet, dame, diplomat. Het laaste joar von Alexandre Poesjkin.  
Leiden, 1988.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i> . . . . .	5
«Бояр старинных я потомок» . . . . .	11
Родовое гнездо Ганнибалов . . . . .	16
«Видел я трех царей...» . . . . .	26
«Меня везут в Петербург...» . . . . .	35
Лицейское чудо . . . . .	51
Будни и праздники . . . . .	62
«В Коломну, к Покрову» . . . . .	92
«Арзамас» . . . . .	101
«Волностью дыша» . . . . .	111
«Снова тучи надо мною» . . . . .	150
«Я вас любил...» . . . . .	192
«В тревоге пестрой» . . . . .	208
Царское Село . . . . .	226
Литературные начинания . . . . .	244
«Красуйся, град Петров» . . . . .	253
Русский Данжо . . . . .	260
«История Пугачева». Дела семейные . . . . .	270
Неудавшаяся отставка . . . . .	278
Снова Петербург . . . . .	291
Уваров и Дондуков . . . . .	295
Рухнувшие надежды . . . . .	304
Отчаяние . . . . .	312
Три несостоявшиеся дуэли . . . . .	319
«Современник» . . . . .	327
Каменный остров . . . . .	349
19 октября 1836 года . . . . .	366

---

Анонимные письма . . . . .	371
Версия . . . . .	392
Дуэль . . . . .	398
Записки от царя . . . . .	414
После смерти . . . . .	420
Посмертный обыск . . . . .	425
Свидетели последних дней . . . . .	433
<i>Источники</i> . . . . .	448
<i>Список использованной литературы</i> . . . . .	449



*Научно-популярное издание*

**Иезуитова Раиса Владимировна,  
Левкович Янина Леоновна**

## **ПУШКИН И ПЕТЕРБУРГ**

*Страницы жизни поэта*

Ответственный за выпуск *Д. К. Рапопорт*

Редактор *А. М. Березина*

Художественный редактор *В. А. Андреева*

Оформление обложки *В. С. Мыслицкого*

Технический редактор *О. Е. Иванова*

Корректор *Р. Г. Запесоцкая*

Верстка *Е. Л. Яшенковой*

Лицензия № 071099 от 9.11.94, Подписано в печать 3.06.99.  
Печать офсетная. Формат 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура «Академическая».  
Уч.-изд. л. 29 + вкл. 1 уч.-изд. л. Усл. печ. л. 28,5 + вкл. 1 печ. л.

Тираж 1000 экз. Зак. 139.

Издательство «Специальная Литература»  
198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29

Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Бионт».  
199026, С.-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86



**Иезуитова Р. В., Левкович Я. Л.**

ИЗО

Пушкин и Петербург: Страницы жизни поэта.— СПб.: Специальная Литература, 1999.— 454 с.: ил.

ISBN 5-263-00046-4

Пушкин провел в городе на Неве в общей сложности около 16 лет. Во множестве книг и статей раскрываются широта и многообразие тех жизненных впечатлений, которыми Петербург наделял Пушкина, которые сформировали его личность и помогли его творческому развитию. И все же нельзя сказать, что петербургская биография поэта изучена полностью. За последние годы появилось немало публикаций о нем. Но время высвечивает в Пушкине все новые и новые грани.

В книге ведущего и старшего научных сотрудников Пушкинского Дома Р. В. Иезуитовой и Я. Л. Левкович широко используются новейшие научные открытия и документальные находки (в том числе и самих авторов книги), приводятся и некоторые пушкиноведческие гипотезы, помогающие разобраться в сложных ситуациях общественно-литературной жизни Петербурга пушкинской поры.

Адресована учащимся старших классов общеобразовательных учреждений, студентам вузов, преподавателям литературы, а также всем, кто интересуется биографией и творчеством А. С. Пушкина.

**УДК 929 882.0**

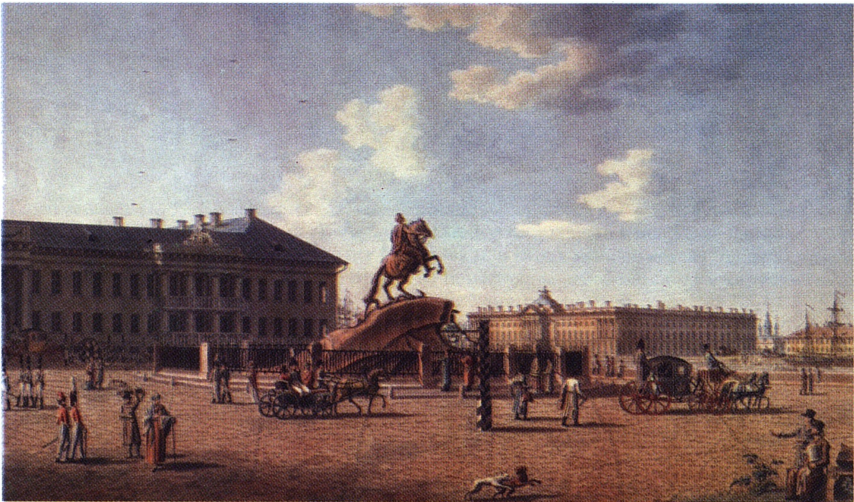




*А. С. Пушкин*  
О. А. КИПРЕНСКИЙ. 1827



*Стрелка Васильевского острова*  
Неизвестный художник. 1820-е годы

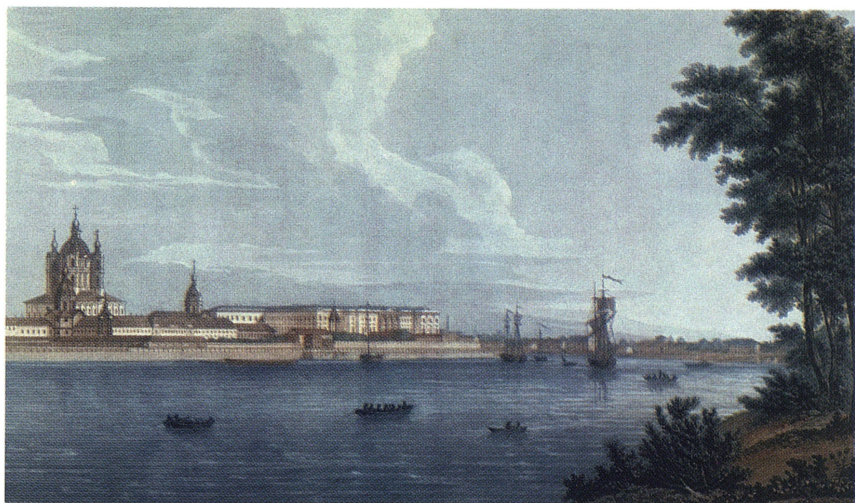


*Петровская площадь. Памятник Петру I*  
Б. ПАТЕРСЕН. 1806



*Михайловский замок*

Б. ПАТЕРСЕН. 1810-е годы



*Смольный монастырь*

М.-Ф. ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ. 1813



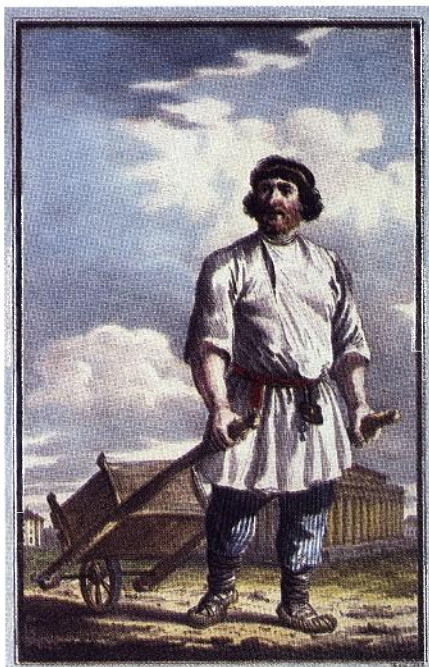
*Нева у Летнего сада*  
М.-Ф. ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ. 1813



*Фонтанка у Летнего сада*  
М.-Ф. ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ. 1813



*Александр I*  
Д. доу. 1823



*Подмастерье каменщиков*  
АЛЕКСАНДРОВ. 1823



*Мужики, нюхающие табак*  
АЛЕКСАНДРОВ. 1823



*Мясник*

АЛЕКСАНДРОВ. 1823



*Торговец рыбой*

К. КОЛЬМАН. 1823



*Царское Село. Концертный зал*

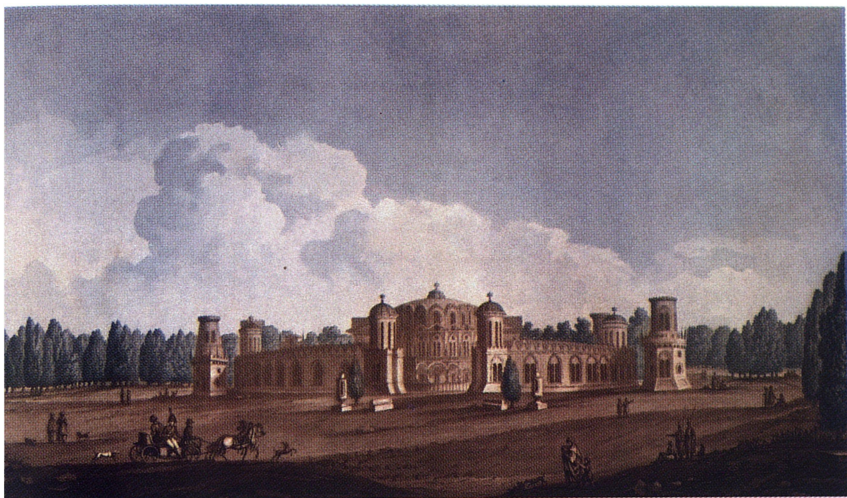
В. П. ЛАНГЕР. 1820



*Царское Село Башня Руина*

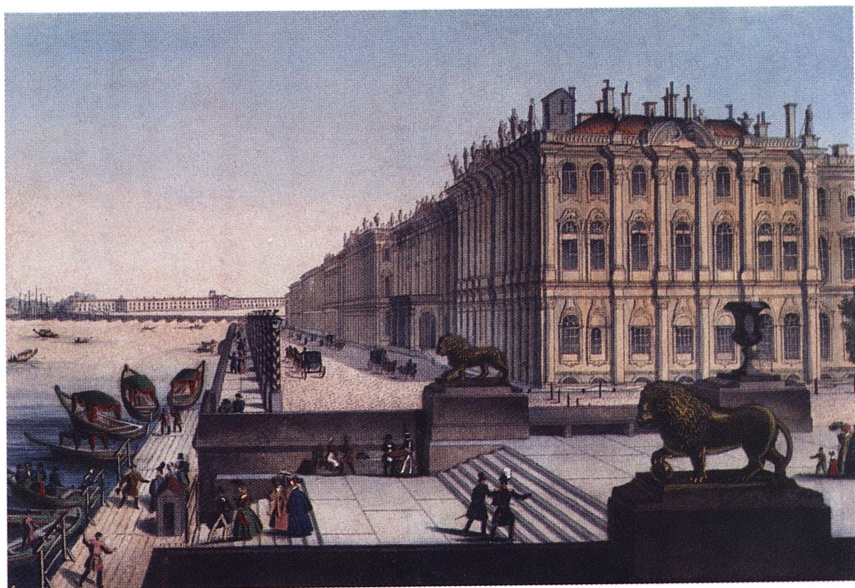
В. П. ЛАНГЕР. 1820





*Москва. Петровский замок*

М.-Ф. ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ. 1813



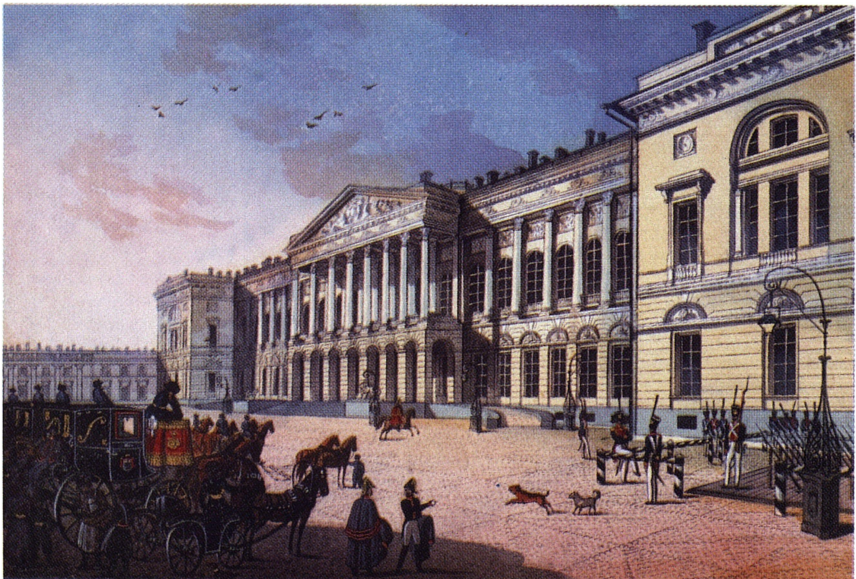
*Набережная у Зимнего дворца*

Неизвестный художник. 1830-е годы



*Петербургский бал*

Перерисовка из альбома гр. БОБРИНСКОЙ. 1830-е годы



*Михайловский дворец*

Неизвестный художник. 1830-е годы



*Императрица Александра Федоровна*

РОБЕРТСОН



*Великая княгиня  
Елена Павловна*

Миниатюра.  
А. Ф. ЛАГРЕНЕ. 1820-е годы



*В. А. Жуковский*

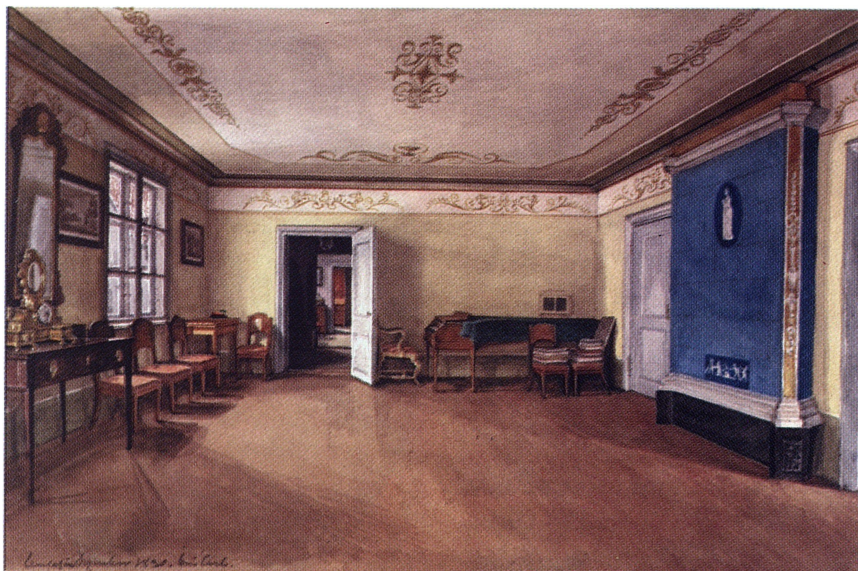
П. Ф. СОКОЛОВ. 1820-е годы



*А. П. Керн*  
Миниатюра.  
Неизвестный художник



*Н. К. Загряжская*  
П. Ф. СОКОЛОВ. 1820-е годы



*Интерьер в помещицком доме*  
Г. РЕЙТЕРН. 1830-е годы



*Гостиная в доме Олениных в Приютине*  
Ф. Г. СОЛНЦЕВ. 1834



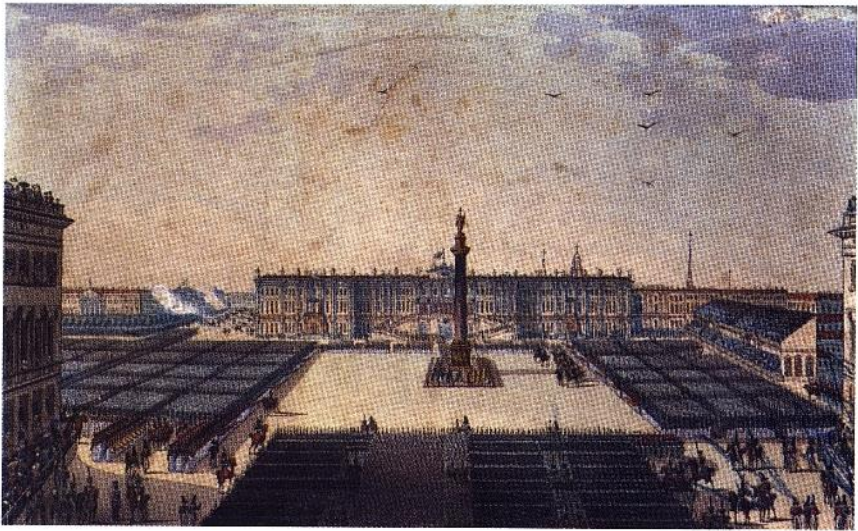
*Канцелярия графа А. Х. Бенкендорфа*

Неизвестный художник. 1820-е годы



*Строгановский дворец*

Неизвестный художник. 1820-е годы



*Открытие Александровской колонны*  
Неизвестный художник с оригинала РАЕВА. 1830-е годы



*Петропавловская крепость*  
М.-Ф. ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ. 1813